

# ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

Я и прочее



# ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

Я и прочее

Циклы •

Рассказы •

Повести •

Роман



Москва  
«Художественная  
литература»

1990

ББК 84Р7  
П96

Иллюстрации на обложке художника  
Е. ТРОФИМОВОЙ

Оформление художника  
Ю. БОЯРСКОГО

П  $\frac{4702010206-377}{028(01)-90}$  без объявл.

ISBN 5-280-01830-9

- © Предисловие. Пьецух В. А., 1990 г.
- © Произведения, отмеченные в содержании \*, 1990 г.
- © Иллюстрации. Трофимова Е. А., 1990 г.

---

*Я — родился 18 ноября 1946 года в Москве, вернее, на ее северо-восточной окраине, в селе Черкизове, что за Преображенской заставой, в деревянном двухэтажном мещанском доме, который до восемнадцатого года принадлежал моей прабабке Марфе Ильиничне Ульяновой. По женской линии мои предки суть выходцы из крестьян Дмитровского уезда Московской губернии, а по отцовской — выходцы из галицезских крестьян украинско-польского происхождения, откуда, собственно, и диковинная фамилия: насколько мне известно, Пьецух по-польски это почти ругательство и обозначает бездельника, не слезающего с печи. Таким образом, происхождения я самого демократического, тем более что матушка моя, урожденная Черкасова, всю свою жизнь проработала на заводе, а отец был кадровый офицер.*

*Детство мое следует отнести к разряду так называемых безоблачных. В школе учился я безобразно, но малый был тихий и среди учителей имел больше товарищей, нежели недоброжелателей, так что школу я с грехом пополам закончил, хотя аккуратно каждую весну директор Иван Сергеевич пугал меня исключением. Но в Ленинском педагогическом институте я учился прилично, несмотря даже на то, что начиная с третьего курса, когда я женился в первый и последний раз на Наталье Владимировне Киселевой и у нас вскоре родился сын, мне пришлось постоянно работать по вечерам то полотером, то грузчиком на заводе, то монтировщиком декораций...*

*В долитературный период жизни я преимущественно учил детей всемирной и отечественной истории и так любил это дело, что, может быть, учительствовал бы и по сей день, кабы меня не выгнали из школы за то, что*

я начал заниматься литературой; время было глухое, буйствовал диссидент, все опасались идеологических диверсий, и меня от греха подальше попросили оставить школу, по всей видимости, рассудив: «А черт его знает, что он там пишет, может, он что-то идеологически невыдержанное пишет». Я с полгода кобенился, но администрация устроила мне прямо-таки невыносимую жизнь, и я вынужден был уйти.

Вот что удивительно: впервые я взялся за перо с намерением написать книгу в восьмилетнем, кажется, возрасте, как только научился писать по-русски, но в юности и в первой молодости я мечтал о карьере чиновника из разряда, так сказать, с о в и н в с е р а в н о ч т о. Серьезным образом я ударился в сочинительство, когда мне было уже под тридцать. Первое время я сочинял почти исключительно по ночам, потому что почти все дневное время, равно как и субботы с воскресеньями, отбирала у меня школа. Впрочем, это была веселая и деятельная пора.

Вообще особой беды я никогда не знал: я не был бездомным, не голодал, не холодал, меня не преследовали органы, не обижала цензура и с самого начала мне помогали старшие товарищи по перу. Четыре года спустя после того, как я написал свой первый рассказ, я уже напечатался в периодике, а еще шесть лет спустя у меня вышла первая книга, а еще шесть лет спустя меня приняли в профессионалы. То есть я всегда чувствовал себя баловнем судьбы в той, конечно, мере, в какой это возможно у нас в России, и, оглядываясь сейчас на прожитые сорок три года, я всегда изумляюсь, какие славные это были годы.

В. Пьецух

# ЦИКЛЫ

---

# Я и прочее

## Я И МОРЕ

В конце сентября я устал от жизни. Меня до того утомила жизнь, и особенно такие ее составные, как пьяные рожи, вечная толкучка в метро, нехватка товаров первой необходимости, очереди, ссоры с женой, вызовы в школу по поводу безобразного поведения сына на переменах, неоплатные долги, отставка, полученная от секретной подруги, обострение язвы двенадцатиперстной кишки, заношенные туфли, хулиганствующие молодчики, отвратительное качество продуктов питания и, наконец, кладбищенский вид Москвы, что я про себя решил: или я кончаю жизнь самоубийством, или я еду куда-нибудь отдыхать.

По трезвому размышлению я пришел к выводу, что особых причин для самоубийства у меня нет. Тогда я выклянчил у начальства десять дней отпуска за свой счет и отправился на черноморское побережье. Это еще у меня сестра работает в системе железнодорожного транспорта, а то хрен бы я уехал дальше ружейно-пряничной нашей Тулы, за которой недействительны местные поезда.

Километрах в пятидесяти под Одессой и примерно в десяти километрах от ближайшего человеческого жилья я снял у рыбаков крошечный летний домик. Точнее, это была хижинка, где рыбаки укрывались от непогоды, с одним небольшим окошком, сплошь загаженным мухами, дверью, обитой клетчатой столовой клеенкой, тремя железными койками и почему-то портретом Кирова на стене. Я с рыбаками вперед расплатился водкой, припасенной еще с Москвы, поскольку, как я и предполагал, деньги тут не в цене, и зажил отшельником — я и море.

Никогда бы не подумал, что одиночество так воспитывает человека, и даже не воспитывает, а превращает,

и даже не превращает, а это я правильного глагола не отыщу. Похоже на то, что одиночество способно воротить нашего брата в некое его истинное, органическое состояние, как душевнобольного возвращает в действительность инсулин. Начать с того, что на другой день моего отшельничества я уже ходил голый, ну положительно в чем мать родила, и прекрасно себя чувствовал, точно сроду не знал одежды.

По утрам я просыпался чуть свет, весь переполненный подсолненным кислородом, ставил кипятить воду для чая на допотопную печку, которую повсюду вожу с собой, выходил из своей хижинки в голом виде и садился верхом на перевернутую шаланду. Солнце тогда висело над морем низко и было задорного, розово-оранжевого цвета, как угли, тлеющие в ночи. А море казалось сомнамбуличным, вроде только что проснувшегося человека, и, фигурально говоря, еле задевало прибрежный песок краем своих одежд. Кругом не было ни души; что вправо посмотришь, что влево посмотришь, — везде бесконечный, приплюснутый, степной берег, обозначенный серо-желтым песком, темно-пестрой полоской гальки вперемешку с ракушками, пенными изгибами прибоя, едва приметного в это время, и грязно-зеленым массивом моря; единственно чайки, большие, как курицы, сторожко разгуливали по песку и вопросительно поглядывали в мою сторону, словно прикидывая, до какой степени меня следует опасаться. Про что я думал об эту пору... — да, в общем-то, не про что; мой мозг еще как следует не проснулся, и просто что-то неуклюжее, но приятное как бы шевелилось под волосами.

Рыбацкий чайник был со свистком и, услыша его призыв, я брел назад к хижине, предвкушая тайную прелесть чаепития в одиночку. Чайник буйно кипел, наполняя помещение пахучим и душным паром, и Киров, точно сквозь пороховые клубы, глядел со стены орлом. Я засыпал пару щепоток заварки в неказистую кружку с крышкой, предварительно обдав ее кипятком, и хижинка моментально наполнялась неевропейскими ароматами, среди которых, кажется, главенствовал зверобой. Дав настояться чаю, я вновь выходил на воздух и присаживался у крашеного столба, на котором по-мушиному стрекотал флюгерок с пропеллером: я смотрел в сторону Босфора, смаковал свой чай и жевал печатный московский пряник. Тем временем солнце



уже начинало жечь, чайки кружили над берегом в рас-суждении, чем бы им поживиться, прибой наладился сам собой, то есть безо всякого участия ветра, и шумел с какими-то неодоушевленными промежутками, как авто-матическая дверь, которая то открывалась, то закры-валась. Про что я думал об эту пору...— об эту пору я скорее чувствовал, а не думал. А чувствовал я всеми возможностями души, вероятно, то же, что бог-Саваоф до начала жизни, именно бесконечное, всемирное оди-ночество, от которого мне было печально, величаво и озорно. Я живо представлял себе Саваофа, сидящего на берегу океана примерно в той позе, в какой Николай Ге написал Христа,— он сидит и с тоскою всемогуще-ства придумывает, чем бы таким населить океанскую питательную среду. И вот уже полезли из вод показаться создателю разные каракатицы, одна другой гаже, не-сообразней, которых я вдруг увидел настолько явствен-но, что весь передернулся от гадливости, хотя это были и отдаленные мои предки. Вот ведь какие силы вооб-ражения способно пробудить полное одиночество, когда сзади — степь, впереди — море, в небе — солнце, на земле...— да, собственно, ты один на земле и есть, и отсюда такое чувство, будто ты уж совсем один, как бог-Саваоф до начала жизни.

Покончив с утренним чаем, я прочувствованно вы-куривал сигарету, наблюдая за тем, как струился, клу-бился и растворялся табачный дым, а затем шел до самого обеда купаться и загорать. Лежище я себе устраивал поблизости от шаланды: расстилал на песке толстую солдатскую шинель с ворсом, которую обнару-жил под одной из трех моих коек, поверх нее стелил матерчатое одеяло, клал в головах рубашку от двух-соткилограммовой немецкой бомбы и накрывал ее ва-фельным полотенцем; по левую руку я помещал сига-реты со спичками, по правую помещал подшивку жур-налов «Наука и жизнь» за 1973 год — и как подко-шенный падал наземь. Солнце, фигурально выражаясь, принимало меня в свои пышащие объятия, крепко на-гретый воздух обтекал мое тело волнами, легкие до от-каза заполнялись газообразным йодом, песок, точно поджаренный на сковороде, пахнул юрскими отложе-ниями, чайки скандалили в вышине,— и тут весь я впадал в состояние тупой неги, практически неизвест-ной современному человеку. То ли я временно выбывал из своей человеческой должности, то ли, напротив,

дерзновенно воспарял духом, достигая какой-то природной сути, — уж, право, не знаю, что это было, — но было это положительно хорошо. Про что я думал об эту пору... — в том-то все и дело что состояние мое было выше мысли.

Купаться же я купался совсем немного: ну, раза три от силы я залезал в яхонтовую пучину, почему-то именно в эти минуты остро стыдась за свой бледный, резко континентальный зад, нырял в набегавший вал, цеплялся на дне за камень и озирался: я видел позлащенные сумерки оливкового оттенка, чистейший песок, как бы живые водоросли и камни, в которых чувствовалась своего рода архитектура, — и тогда я начинал ощущать себя той самой первобытной каракатицей, что была моим отдаленным предком, но вот какое дело: это ощущение меня нисколько не оскорбляло. А то я ложился спиной на воду, отдав половину тела морской стихии, другую же половину — солнцу и атмосфере, и тогда уже меня посещало, так сказать, земноводное ощущение. Таким образом, я бессознательно разыгрывал эволюцию и затрудняюсь определить, что меня подвигло на это странное баловство; к тому же из воды я выбирался обычно на четвереньках.

Между тем приспевала пора обеда; часов около трех, когда уже солнце тавром припекало кожу, а в шуме моря появлялось что-то осоловелое, томное, сводящее глаза, как оскомины сводит скулы, я поднимался со своего лежбища и возвращался в хижинку готовить себе обед. Я кипятил воду в большой кастрюле, потом засыпал в нее концентрат вермишелевого супа, добавлял парочку помидор, каковые затем растирал в алюминиевом дуршлагае, клал в варево небольшую лавровую веточку, пригоршню толченого перца, луковицу и примерно в половине четвертого уже сидел подле крашеного столба, держа на коленях деревянную чашу с супом, в правой руке деревянную же ложку, а в левой — порядочный ломоть хлеба; я хлебал, обжигаясь, пахучий суп и глядел на море, которое в эту пору заметно меняло свою окраску в сторону синевы.

После обеда я по российскому обыкновению отправлялся спать. Я ложился на койку, стоявшую у окна, брал в руки «Записки о Шерлоке Холмсе», но строчки немедленно начинали переплетаться в фигуры, голову наполняли самовольные образы, тело впадало в состояние невесомости, вообще наступала сладостная истома,

и я нечувствительно засыпал. Днем мне, как правило, снились гадости: то я кого-нибудь обижаю, то меня кто-нибудь обижает.

Просыпался я что-то в шестом часу. По пробуждении я еще минут десять нежился в своей койке, как делывал когда-то в далеком-далеком детстве, а затем снова устраивал чайную церемонию, но действовал отнюдь не автоматически, но сознательно, что ли, проникновенно. Попив чайку с печатным московским пряником, я отправлялся покурить на опрокинутую шаланду. Солнце к тому времени уже висело довольно низко над линией горизонта и припекало скорее вежливо, деликатно, чайки угомонились, точно за день устали от мельтешения, море же было грязно-синего цвета и катило свои валы, как будто выполняло некую ответственную работу. Про что я думал об эту пору...— ну, во-первых, об эту пору только-только проклевывалась во мне мысль; я смотрел на пенящуюся волну, которая набегала на берег с таким шипением, словно тот, как утюг, раскалился под солнечными лучами, и, например, думал о том, что древний скиф, шатавшийся в этих местах несколько тысячелетий тому назад, был несколько не счастливей меня, если, конечно, понимать счастье как духовное равновесие, а духовное равновесие как продукт организованного ума, и я, в свою очередь, отнюдь не счастливей скифа; и даже если понимать счастье как простую способность ощущать себя во времени и в пространстве, и даже если его как хочешь, так и понимай, то все равно козе ясно, что скиф был несколько не счастливей меня, а я ни на гран не счастливей скифа. Но тогда зачем все эти тысячелетия, наполненные страданием и борьбой? Вот я выпукло, колоритно вижу этого самого скифа, который едет на мелкой лохматой лошади, которая с сырым звуком ступает копытами по песку, который песок прошел сквозь тысячелетия в своем первоизданном виде,— ну зачем ему Великая Октябрьская революция? Зачем ему фондовая биржа, кибернетика, V съезд советских кинематографистов, если и при царе Мидасе существовали те же возможности для личного счастья в ракурсе, положим, понимания себя как мелкого божества? Или же, фигурально выражаясь, печень почувствуешь только тогда, когда она заболит, и древний скиф был не чувствительнее бульдога, и непременно потребовалась пара тысячелетий, наполненных страданием и борьбой, чтобы

какая-то праздная мысль, не имеющая касательства к потребностям организма, явилась голозадому москвичу, замученному так называемым реальным социализмом? Хорошо, коли так, ибо разумно есть, точнее, доступно разуму нормального человека. А коли не так, коли от начала века на земле бытовали дикие скифы и, с другой стороны, голозадые чудачки, которые мусолили посторонние свои мысли? Нет уж, пусть будет так, пускай это дело будет выглядеть так, будто именно на безобразиях вскормила природа человеческого века, как вскармливают младенца на рыбьем жире.

Когда мне надоедало сидеть верхом на опрокинутой шаланде и умствовать в адрес скифа, я отправлялся бродить вдоль кромки прибоя, которая образовывала зигзагообразный перпендикуляр к линии горизонта. Направо посмотришь: степь, с песчаными проплетинами, островками дикой конопли, редко поросшая чуть ли не верблюжьей колючкой; налево посмотришь: море, которое никогда не наскучит сухопутной особе, с его тревожными, тяжелыми цветами и той волнующей далью, над какую не властен глаз, — а впереди по курсу: то дощечка какая-нибудь, почерневшая до каменноугольного состояния, то медуза, стекленеющая на границе двух стихий, тверди земной и моря, то какая-нибудь металлическая финтифлюшка, возбуждающая исторические фантазии, то дохлый белужонок, мумифицировавшийся сам собой; плюс ко всему этому такой изощренный запах, как будто ты попал в какой-нибудь несоветский, сказочный магазин. Про что я думал об эту пору... — а вот про что: если так все идти и идти вдоль границы двух стихий, тверди земной и моря, то можно обойти по кругу восточное полушарие; идешь — и вот тебе Анатолия, за нею родина христианства, пуническая земля, атлантический берег Африки, далее пределы Индийского океана, пышные побережья Юго-Восточной Азии, наши самоедские берега, занявшие полмира, фьорды Скандинавии, земли, омываемые североатлантическими водами, Гибралтар, Лазурный берег, Константинополь и — здравствуйте, я ваша тетья — снова хижинка под Одессой!.. Сделаешь это полукругосветное путешествие, сядешь подле крашеного столба и вымолвишь: ну и что? В том-то все и дело, что — ничего. И не такова ли крошечная наша жизнь: бредем себе в аллегорическом смысле от хижинки под Одессой до хижинки под Одессой бог весть чего ради, встречаем

на пути множество пакостей и чудес, боремся и страдаем, но, главное, думаем, будто все заключается в заколдованном этом круге, а того не знаем, что в нем почти ничего нет, или вовсе ничего нет, а что все в нас самих, и французская Ривьера, и самоедские берега, что, может быть, достаточно всю жизнь просидеть у крашеного столба, чтобы уйти в мир иной счастливым и заслуженным человеком. Во всяком случае, если на другой или третий день полного одиночества и общения исключительно со стихиями глубоко сухопутная особа способна почувствовать себя самоценной величиной, то ее уже трудно обездолить и утратить превходящими обстоятельствами, вроде физического существования подле крашеного столба.

Одолев только самую ничтожную часть полукругосветного путешествия, я возвращался к хижинке и разогревал на ужин остатки супа. Затем я сидел подле крашеного столба, и, поскольку природные запахи к тому времени отчего-то разряжались, теряли свою изначальную густоту, меня обволакивал вермишельно-томатно-лавровый дух как личная атмосфера. Обеды от ужина я обыкновенно относил чайкам, и если ненароком подьедал все до последней крохи, то чайки собирались беспокойной группой возле немецкой бомбы — всегда почему-то возле немецкой бомбы — и недовольно поглядывали на меня, как бы делая нагоняй: дескать, ты, парень, совсем распоясался, совершенно ты потерял чувство ответственности за все сущее на земле.

Сразу после ужина наступало самое утонченное, так сказать, время в смысле раздумий и ощущений, время, в которое чувство одиночества до крайности обострялось и нечто торжественно-грустное, поселившееся во мне, начинало прямой диалог с природой... или с абсолютным духом... или бог его знает с чем. К тому сроку солнце уже погружалось в сизую дымку, скрадывавшую линию горизонта, и посылало из-за нее какое-то соблазнительное свечение. На небе, еще просветленном в западной стороне, но явно чреватом ночью, наливалась первая, крошечная звезда, звезда вечерняя, похожая на отдаленную бриллиантовую слезу, которая, казалось, вот-вот соскользнет и капнет. Море было покойным до такой степени, что походило на безбрежное блюдо студня, и только самым своим краешком полизывало песок, как засыпающий ребенок полизует свои губы.

Чайки, видимо, уже спали, безветрие было полное и, если бы не пара степных сверчков, дробно пищавших по сторонам, можно было бы утверждать, что вокруг установилась вселенская тишина. В эту-то пору я и начинал прямой диалог с природой, или с абсолютным духом, или бог его знает с чем. Допустим, мое торжественно-грустное изрекает такой вопрос, впоследствии оказавшийся позаимствованным у классика: «Господи, отчего между людьми наблюдается злой беспорядок и разные неустройства?! Ведь ты погляди, какой повсюду баланс в природе, чего же мы-то все больше боремся да страдаем?!» А в ответ — ответ: «Да потому, что вы, едрена корень, круглые дураки!» Разъяснение это мне представлялось, конечно, фундаментальным, но оставляло неясным один момент: зачем же тогда в первый день воссиял нам свет, если все равно мы круглые дураки? На это недоразумение такой следовал комментарий, я бы сказал, текстуальный, то есть мне казалось, точно кто-то у меня над ухом читает текст:

«— Чего ты? — спросил Георгий, грозно выглядывая на него из-под очков.

— Ничего-с. Свет создал господь бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день?

Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал. «А вот откуда!» — крикнул он и неистово ударил ученика по щеке».

Я так это понял: всевышний мой собеседник окольным манером возжелал меня надоумить — зачем вопрошать, если уготовано наслаждаться.

Постепенно вечер сгущался до консистенции сумерек, сумерки выливались приметно в ночь, и прямо над головой проступала звездная россыпь под названием Млечный Путь, который указывал какое-то безусловно спасительное направление. Ночь окружала меня как нечто не понятийное, а вещественное, материальное, сложное, даже одушевленное, — казалось, будто бы сонм черных ангелов расправил надо мною бархатные крыла. Одноглазая луна смотрела в упор и представлялась невидящим оком ночи, звезды были похожи на светящихся паразитов, а море — на огромную чешуйчатую ступню. Ночь — существо непостижимой организации, вот что, фигурально выражаясь, предупредительно обнимало меня изо дня в день около девяти

часов пополудни. Про что я думал об эту пору...— купно говоря, про то, что это все, видимо, неспроста. Раз природа с утра до вечера только и делает, что ублажает органы моих чувств и тешит меня живыми картинами сказочной постановки,— причем именно меня-то и тешит, поскольку чайки со сверчками вряд ли ими в состоянии наслаждаться,— то, значит, я есть не только излюбленное чадо природы и объект ее попечения, но, пожалуй, нечто такое представляю собой по отношению к мирозданию, что цесаревич Александр по отношению к воспитателю Жуковскому, собственно говоря, господствующий объект. Из этого соображения вот что главным образом вытекало: в прежней жизни я не ценил себя по достоинству, в прежней жизни я грубо, не по назначению употреблял драгоценность, как это пристало разве что амазонскому дикарю, которому дай в руки компас, а он начнет им колоть орехи, или будет носить в ухе вместо серьги, или станет пробовать на язык. Интересно, что в минуты продолжительных этих мыслей я слышал собственное дыхание.

В десятом часу я отправлялся спать. Я запирал дверь хижинки изнутри черенком лопаты, медленно раздевался, потом зажигал свечу, притороченную бечевочкой к спинке соседней койки, и забирался под одеяло. В это время мне бывало немного не по себе, как-то бывало не по-хорошему выжидательно, начеку и мнилось, что вот-вот кто-нибудь заглянет снаружи в мое окошко. Да еще приборой в эту пору начинал свою грозную механическую работу, крысы скреблись под полом, свет от свечи шел ветхозаветный, да еще читал я жутковатое сочинение Конан Дойля: «Весной 1894 года весь Лондон был крайне заинтересован, а высший свет потрясен убийством юного графа Рональда Адэра, совершенным при самых необычайных и загадочных обстоятельствах. В свое время широкая публика познакомилась с отдельными деталями этого преступления, которые выяснились в ходе полицейского дознания; но дело было настолько серьезно, что большую часть подробностей пришлось утаить...» — боже, какая чушь! Отложив в сторону книгу, я заглядывался на прямоугольник ночного неба, видимый сквозь загаженное окошко, и тут во мне как бы самостоятельно возникала чудодейственная мелодия, похожая на «Лучинушку» или на «Саратовские страдания», которая вгоняла меня в возвышенную тоску. Про что я думал об эту пору...—

про то, какое это странное счастье — жить в нашей стране, среди нашего неприкаянного народа; странное потому, что вроде бы какое же это счастье, а счастье потому, что это и называется счастье — такая жизнь, когда сначала тебя преследует мысль о самоубийстве, а потом ты поселяешься в хижинке под Одессой и мало того, что как рукой снимает самоубийственное, еще тебе и приходят на ум разные соблазнительные идеи; ну можно ли себе представить английского маклера, который вдруг плюнул бы на все и поселился бы в конуре где-нибудь под Уэртингом, да чтобы при этом ему на ум являлись бы соблазнительные идеи?! Нет, конечно, и горя у нас хватает, но ведь что есть горе, как не язык, которым вынужден обходиться бог при общении с человеком...

Я думал также про то, что, помимо жизни в обыденном понимании этого слова, существует еще и, так сказать, внутренняя жизнь, жизнь в себе, у которой есть ряд любопытнейших показателей. Во-первых, сдается мне, внутренняя жизнь — это то, что в принципе отличает человека от всего сущего на земле. Во-вторых, как показала практика, это просто-напросто замечательная жизнь, и уже потому хотя бы, что если в ней и бывает горе, то горе какого-то утонченного, приемлемого накала, из тех, которые окрыляют. В-третьих, не исключено, что жизнь в себе — это как раз зерно, а жизнь вовне — это как раз скорлупка. Одним словом, просто удивительно, до чего можно додуматься, если однажды прийти в себя, если немного пожить отшельником — я и море. После этого вспомнишь о пьяных рожах, вечной толкучке в метро, нехватке товаров первой необходимости, очередях, ссорах с женой... — боже, какие мелочи!

Главным результатом моего отшельничества было то, что я теперь полдня просиживаю в уборной, — только тут я, собственно, и живу.

## Я И ПОТУСТОРОННЕЕ

Потустороннее разное бывает: столоверчение, вещие сны, пришельцы, галлюцинации, встречи с прекрасным, привидения под видом сантехников, домовые, а также некоторые, казалось бы, ординарные явления нашей жизни, вроде повсеместной продажи хозяйственного



мыла или гуманистически настроенного милиционера,— это все будет потустороннее. Оно-то меня и окружает с тех самых пор, как я переключился с так называемой общественно полезной деятельности на лично полезную деятельность, так сказать.

Именно 24 ноября прошлого года я ни с того ни с сего начал изучать древние языки. Что меня подтолкнуло к этому занятию — не скажу, а просто-напросто в один прескверный осенний день я ни с того ни с сего уселся за женин письменный стол и открыл учебник арамейского языка. С той поры я — плюс к арамейскому — освоил халдейский, финикийский, латинский, греческий и санскрит. Но в жизненном смысле это все так, между прочим, постольку-поскольку, то есть поскольку одновременно с древними языками меня обуряло потустороннее, которое преследует меня чуть ли не ежечасно, как сумасшедших преследуют их фальшивые представления. С женой мы, конечно, в глубокой ссоре, потому что фактически я на ее иждивение перешел, да еще я начал основательно попивать, благо на что на что, а на пьянку у нас деньги всегда найдутся,— вот и все наличные перемены, случившиеся в моей жизни, как только я впал в древние языки: ссора с женой, пьянка, потустороннее; или пьянка, потустороннее, ссора с женой; или потустороннее, ссора с женой и пьянка.

Нет, все же во главу угла я бы поставил потустороннее. Что удивительно: что, оказывается, кругом это самое потустороннее, как приглядишься внимательным оком к жизни, так становится ясно, что в ней очень много потустороннего, уж даже и чересчур. То вещи сны, то пришельцы, то галлюцинации, то встречи с прекрасным, то привидения под видом сантехников — ну и прочее в этом роде, всего так сразу и не припомнишь.

Проследим для примера вчерашний день...

Проснулся я с таким чувством, с каким люди обыкновенно выходят из кинотеатра, в котором им показали западное кино,— исполненный образами притягательно-неземными, хотя я всего-навсего видел во сне жену, нагадавшую мне белую горячку по какой-то огромной книге. Я поблагодарил PROVIDЕНИЕ, что мне опять не приснился инженер Розенпуд, который прежде жил в нашей квартире, повесился в пятьдесят первом году и теперь обитает в качестве домового в стенном шкафу,

потом я оделся, выпил граненый стаканчик кофе и сел за женин письменный стол перевести для практики отрывок из Махабхараты. Это дело что-то не задалось, то есть отнюдь не «что-то» не задалось, а потому что я мучился со вчерашнего и по-хорошему полагалось бы похмелиться. Я нашарил в бельевом ящике два рубля с мелочью и отправился в гастроном.

Вернувшись домой с аврской, в которой покоилась пара пива и два куска хозяйственного мыла, полагавшегося в нагрузку, чему я, впрочем, не удивился, ибо у нас человека трудно чем-нибудь удивить, я, во-первых, нашел дверь квартиры открытой настежь, а во-вторых, я застал на кухне странное существо — одноглазое, взлохмаченное, полуодетое, да еще у него под носом росла огромная бородавка. Сначала это существо вражески на меня посмотрело, но потом перевело взгляд на авоську с пивом, как-то обмякло, добродушно произнесло:

— А вот это очень кстати...— и вытащило из кармана несусветную открывалку. Делать было нечего, пришлось с ним делиться, что меня основательно огорчило, поскольку моя утренняя норма — это именно пара пива; больше можно, но меньше — нет. Мы выпили пиво, и я спросил:

— А что вы тут, собственно, делаете?

— Изучаю быт,— почему-то с обидой ответило существо.— Небогато вы живете, товарищи земляне, прямо скажем, голь вы перекатная, больно на вас смотреть.

— Тоже марсианин какой нашелся...— заметил я.

— На Марсе органической жизни нет, то есть никакой жизни нет из-за отсутствия кислорода.

— Это мы уже слышали.

— А я убедился экспериментально. В этот раз я летел мимо Марса и мимоходом взял пробу тамошней атмосферы. Вообще планета бедная, захудалая, вроде вашей квартиры, поживиться практически нечем, ну нечем практически поживиться, такая, понимаете, беднота!

— Я не понял: вы что, инопланетянин?

— Ну! — ответило существо и как-то осоловело.

— Не свистите. При нашей фантастической жизни нам только пришельцев недоставало...

— Это хозяин — барин: хотите верьте, хотите нет. И вообще некогда мне с вами; беру будильник и ухожу.

Будильник я беру, так сказать, в этнографическом смысле, как эмблему вашей крошечной бедности — вы не против?

— Берите,— ответил я и пожал плечами.

Пришелец положил будильник в карман своих брюк, не по-нашему сделал ручкой, накуксился и ушел.

Оставшись один, я было вернулся к отрывку из Махабхараты, но, как говорится, не тут-то было: в прихожей раздались продолжительных два звонка — это явился Свиридов, мой сосед по этажу, старший сержант милиции. Он выставил на кухонный стол целых две бутылки «Золотого кольца» и молвил:

— Давай зальем горе — я вчера бандита какого-то застрелил.

— Это безусловно повод,— с неопределенным выражением сказал я, поскольку я был не в состоянии сразу определить: убийство бандита — это благодеяние или пакость...

— Еще какой! — горячо согласился со мной Свиридов.— Он ведь хоть и сволочь человек, но все-таки человек. А я его из Макарова-пистолета вот взял так прямо и застрелил! То есть не так прямо — он на меня с заточкой полез, гадюка, ну, я его на месте и положил: был человек, а стал кучей мяса и требухи. Он меня теперь, собака, замучает, душу вынет, лишит покоя на вечные времена.

— Это, разумеется, неприятно,— опять же с неопределенным выражением сказал я, откупорил бутылку водки и разлил ее по граненым стаканчикам, из которых я и кофе, и водку, и все, что ни пьется, предпочитаю употреблять.

— Неприятно — не то слово! Поверишь ли: такое у меня чувство, будто кончилась моя жизнь! Ты понимаешь: убил бандита, и на этом кончилась моя жизнь! И его кончилась — это практически, и моя кончилась — это уже фигурально, хотя, черт его знает, может быть, она тоже кончилась практически, а не это... не фигурально. Из чего я делаю такой вывод: убить человека — значит себя убить, даже в первую очередь себя, потому что убиенный про свою смерть ничего не знает.

— Самое интересное,— сказал я,— что похожую мысль сто с лишним лет тому назад высказал Достоевский. Помните, в «Преступлении и наказании»: «Может быть, я не старуху убил, может быть, я себя убил»? Однако давайте выпьем.

Мы чокнулись, выпили водку и сладко перевели дух.

— Достоевского я, честно говоря, не читал, — сознался Свиридов, — и по-граждански это, конечно, стыдно. Но чувствуется, что мужик он был пронизательный, с головой. Или он сам кого-нибудь убивал.

— Биографы Достоевского об этом умалчивают, но по всему видно, что в основе его гигантской литературы лежит какое-то страшное... и даже не так страшное, как стыдное преступление. Я вот только не понимаю, отчего столь неистово верующий человек, каким был Федор Михайлович, не успокоился на той простейшей, я бы сказал, всетранквилизирующей идее, которая доступна любой богомольной бабке: возможно, что там, или, скажем, *нигде*, убиенному гораздо лучше, чем среди нас! Так вот я и говорю: может быть, вашему бандюге за гробом лучше?

«Вот она — встреча с прекрасным! — между тем думал я, излагая Свиридову этот текст. — Два заурядных типа, измученных социал-российским способом бытия, сидят на кухне, водочку попивают и говорят — нет, чтобы о повсеместной продаже хозяйственного мыла, — а ты им на разделку обязательно Достоевского подавай!»

— Может быть, и лучше, — сказал Свиридов, — только ведь этого не проверишь.

— Ну почему же не проверишь, а спиритизм на что?

И я кратко разъяснил Свиридову ту область спиритизма, которую называют столоверчением. Он положительно загорелся идеей встречи со своей жертвой посредством обыкновеннейшего стола, что мудрено было ожидать от представителя такой материалистической профессии, как страж общественного порядка. В общем, устроили мы сеанс; мы, наверное, битый час вызывали дух убиенного уголовника, уж и другую бутылку ополовинили, но он настырно не отзывался. И вдруг — звонит телефон. Я поднимаю трубку и слышу такой, сакраментальнейший из вопросов:

— Сантехника вызывали?

Никакого сантехника я, сколько помню, не вызывал, и мне стало ясно как божий день, что это откликнулся-таки свиридовский уголовник. Я ответил духу, что жду его не дождусь, и с грозно-торжественным видом объявил моему собутыльнику — дескать, с минуты на минуту его жертва прибудет к нам. Ну никак я не предполагал, что, столкнувшись с потусторонним лицом к лицу, милицио-

нер Свиридов сдрейфит и улизнет, но он именно сдрейфил и улизнул. Вот и надейся после этого на милицию.

Привидение под личиной сантехника явилось и вправду довольно скоро. Оно было с места в карьер прильнуло на кухне к крану, но я сказал:

— Не надо наводить тень на плетень; мы тоже не лыком шиты. Лучше присаживайтесь и примите-ка стаканчик водки, если, конечно, у вас там пьют.

— У нас везде пьют,— сказало привидение и присело.

Мы приняли дозу, и я продолжил:

— Я тут поспорил с виновником, так сказать, вашего потустороннего бытия, что там вам лучше, чем среди нас. Как вы можете про... ком...ментировать это предположение?

— Я его так могу прокомментировать,— ответствовал лжесантехник: — там хорошо, где нас нет.

— Так нас и за колючей проволокой нет, а ведь там не лучше.

— Лучше. Это я вам по опыту говорю. Целый день на воздухе, кормежка три раза в сутки, какой-никакой порядок.

— Простите: как вас, собственно, называть?

— Вергилий моя фамилия.

— Так-таки и Вергилий?

— Так-таки и Вергилий.

— Значит, ошибочка вышла, что-то я не так нареди...— момент: на-ме-диу-ми-фи-ци-ро-вал.

— Это я без понятия.

— Зато я вас прекрасно понял. Раз вы Вергилий, то позвольте воспользоваться случаем и попросить вас об одолжении: проведите в загробный мир... Я, конечно, не Данте, но адом тоже остро интересуюсь.

— Ада нет.

— А что есть?

— Да вот я даже не знаю, как это дело следует обозвать. Есть, знаете ли, такое перевернутое существование, как типографский набор в отличие от печати. Впрочем, сами все увидите — так пошли?

Я сказал:

— Пошли...

И в то же мгновение картина резко переменилась: вдруг потемнело и страшно похолодало, потом постепенно стало светлеть, теплеть и в конце концов меня окутала влажная, благоуханная и словно подслащенная атмосфера, которой, наверное, можно было питаться, как мо-

локом. Ничего вещественного я кругом не заметил — просто было светло и душно. Вергилий мой тоже как-то развоплотился, точнее сказать, он стал ослепительно ярким пятном околической конфигурации, некоторым образом тенью наоборот, и я его только по голосу узнавал. Потом я увидел множество таких же антитеней, спующих туда-сюда, и справился у Вергилия:

— Это кто же такие будут?

— А души,— сказал Вергилий.

— Ага! Стало быть, мы в раю.

— Рая тоже нет. Есть, повторяю, такое перевернутое существование, вроде типографского набора в отличие от печати, которого в конце земного пути достаивается всякий человек, если только он человек.

— Хорошо, а мерзавцы где?

— Я думаю, они умирают, то есть исчезают бесповоротно и навсегда.

— Стало быть, одни праведники у вас...

— Ну почему — разные типы есть. Да вот возьмем хотя бы его,— и мой Вергилий указал на одну из душ, задумчиво проплывавшую мимо нас: — он, бес такой, при жизни карикатуры на генетику рисовал.

Душа встрепенулась и подскочила.

— Товарищ! — обратилась она ко мне.— Позвольте оправдаться!..

— Ну, оправдывайтесь,— сказал я.

— Главная причина, что я был скромного образования человек. А теперь представьте, что вас вызывают ответственные лица и говорят: «Алеуты,— говорят,— выдумали такую сверхпроводимость...» Кстати, вы в курсе, что такое сверхпроводимость?

— Ни сном ни духом.

— В том-то вся и вещь, что кругом у нас скромное образование! Ну, так вот: «Алеуты,— говорят,— выдумали такую сверхпроводимость, при помощи которой они могут запросто растопить вечные льды и устроить нам потоп вместо нашего реального-то социализма! Так вот нужно ударить по этим отъявленным алеутам, а то они нас утопят как котят и повернут вспять колесо истории...» Иначе говоря, поверил я этим разбойникам и разрисовал генетику в пух и прах. Вот и выходит, что я практически ни при чем, потому как не на биофак же мне было, в самом-то деле, предварительно поступать!

— Вы действительно ни при чем,— сказал я, чтобы умиротворить бедовую эту душу.

Душа угомонилась и задумчиво поплыла дальше воздушным своим путем. А я повернулся к Вергилию и продолжил:

— У вас здесь что, по-русски все разговаривают?

— Здесь — по-русски, за границей по-своему, кто на чем.

— Во дают! — изумился я. — Значит, у вас есть и Россия, и заграница?..

— У нас все есть, но только в перелицованном виде, наоборот. Вон видите, Брест в осаде!

И я вдруг явственно увидел далекий Брест, к западу от которого точно противоестественно солнце вставало — такая там толпилась масса антитеней.

—...Это все иностранцы, которые стремятся к нам на постоянное место жительства. И я отлично их понимаю. Ведь они после смерти, бедняги, всего лишились: ни «мерседесов» там у них, ни электроники, ни валюты, одна душа в почете, а где ты ее возьмешь!.. Ну и стремятся к нам которые были люди, потому что у нас, конечно, занятнее, веселей. Вот ведь ирония судьбы: кто был пиковой шестеркой, тот стал козырным тузом.

— И принимаете? — спросил я.

— Выборочно, — пояснил Вергилий. — Если, например, американец способен ответить на вопрос, кто был первым президентом Соединенных Штатов, то мы еще посмотрим, а нет — освободите, пожалуйста, помещение.

— Однако строго...

— Нельзя иначе. Иначе нам самим будет не протолкнуться. Ведь сколько ежегодно народу-то помирает, и все норовят в Россию!..

— Погодите: вы ведь сами духовный, так сказать, эмигрант, вы ведь сами из древних римлян!

Вергилий сказал на это:

— Русский — это не национальность, а настроение.

Как раз на этом месте я как бы очнулся, как бы пришел в себя. За окошком было уже темно, голова трещала, кухня была пуста. Но зато в большой комнате разговаривал телевизор, — видимо, жена вернулась с работы и теперь набиралась сил, чтобы сделать мне нахлобучку. Через некоторое время она действительно появилась на кухне, увидела, что я бодрствую, и сказала:

— Так: а где два рубля с мелочью, позвольте поинтересоваться?

— Не брал я никаких двух рублей с мелочью, —

сказал я.— Вообще этот вопрос не ко мне, а к пресловутому Розенпуду. Он вообще нас скоро по миру пустит: то мой итальянский галстук пропал, то две серебряные ложки, то вот теперь два рубля с мелочью, которые я прокутил лучше бы на такси! И целыми днями он скребется в стенном шкафу, скребется... ну чего он, спрашивается, скребется?!

— Пить надо меньше,— с укоризной посоветовала жена.

Пить надо меньше, никто не спорит.

## Я И ДУЭЛЯНТЫ

Мир должен быть оправдан весь,  
Чтоб можно было жить.

*К. Бальмонт*

Прежде чем перейти к делу, мне понадобится одно короткое отступление.

Я писатель. Правда, я писатель из тех, кого почему-то охотнее зовут литераторами, из тех, о ком никогда никто ничего не слышал, из тех, кого обыкновенно приглашают на вечера в районные библиотеки. Однако не могу не похвастаться, что и я немножко белая ворона среди пишущей братии, поскольку я работаю день и ночь, а кроме того, имею особое мнение насчет назначения прозы: я полагаю, что ее назначение заключается в том, чтобы толковать замечательные стихи. Подобное мнение ущемляет божественную репутацию моего промысла и мою собственную значимость как писателя, следовательно, я прав. А впрочем, один мой собрат по перу, некто Л., капризный и много о себе понимающий старичок, утверждает, что книги умнее своих сочинителей. Если это так, то я лишаю поэтов всех привилегий и не претендую на особенности моего литературного дарования, которое определило меня на второстепенные роли. И вот еще что: литературное реноме Николая Васильевича Гоголя вовсе не пострадало из-за того, что Пушкин науськал его написать «Мертвые души».

Разумеется, я вполне сознаю ценность своего творчества относительно литературного наследия Гоголя, почему и позволяю себе, как правило, трактовать поэтические недосказанности сошки помельче. В данном случае мое воображение задела два стиха Константина Дмит-



риевича Бальмонта, приведенные выше в качестве увертюры. С другой стороны, меня вдохновила одна неслыханная история, к которой я имел отношение и как свидетель, и как в некотором роде действующее лицо. История эта до того в самом деле дика и невероятна, что диву даешься, как такое могло случиться в наш деликатный век, в нашем добродушном, не помнящем зла народе, в каких-нибудь наших северо-западных Отрадных среди детского писка и развевающегося белья. Во всяком случае, для того чтобы дать теперь этой истории ход, я вынужден выворачивать наизнанку свое литературное рубище и если этого покажется мало, то даже присягнуть на здоровье своего двенадцатилетнего сына, лгуна, балбеса и двоечника, что все, о чем пойдет речь в дальнейшем, правда и только правда.

Завязкой этой истории послужило изобретение инженером Завзятовым какого-то особенного пневматического молотка. Я знаю Завзятова понаслышке и никогда не видел его в глаза, но полагаю, что его последующие поступки обязывают меня изобразить Завзятова человеком лет тридцати пяти с неаккуратной прической, отсутствующим взглядом, непоседливыми руками, в брюках по щиколотку, в пиджаке с загнутыми вперед лацканами и секущимися рукавами.

Насколько мне известно, вплоть до изобретения пресловутого пневматического молотка знакомые Завзятова были о нем самого ничтожного мнения, хотя одна женщина загодя говорила, что в нем есть что-то потустороннее, демоническое; с этой женщиной он потом жил.

Другой герой моего рассказа — молодой человек по фамилии Букин, ответственный секретарь одного технического журнала, почему я с ним, собственно, и знаком: когда-то, в незапамятные времена, я сам работал в этом журнале чем-то вроде мальчика на посылках. Вообще, Букин производит располагающее впечатление, разве что в нем смущает редкая в наше время и, по моему мнению, предосудительная страсть к игре на бегах и дымчатые очки, которые придают ему надменное выражение.

Кроме этих двоих в описываемой истории были замешаны женщина, редакция одной столичной газеты и кандидат юридических наук, специалист по римскому праву, некто Язвицкий.

Дело было так. В прошлом году, в сентябре, Завзятов подал заявку на авторские права. Одновременно он из

тщеславных соображений принес в редакцию журнала, где служил Букин, статью собственного сочинения, в которой расписывал достоинства молотка. Отдел, куда попала статья, переадресовал рукопись Букину, а тот нашел, что все это в высшей степени чепуха. Букин еще не успел положить рукопись в «гибельный» ящик письменного стола, как Завзятов явился в редакцию за ответом. Его объяснение с Букиным, продолжавшееся вплоть до обеденного перерыва, относится к той категории разговоров, при воспоминании о которых внутри образуется нервное неустройство. Они разошлись врагами, вспыхнул (я этот глагол потом заменю) такой ненавистью друг к другу, что некоторое время просыпались и засыпали с одной только думой: как бы неприятелю отомстить. Вспоминая про Букина, Завзятов называл его титулярным советником, сволочью и тупицей, а Букин, вспоминая Завзятова, находил успокоение исключительно в том, что, вероятно, имеет дело с помешанным, каких на своей должности он видел немало; потом он даже наказал вахтеру, чтобы впредь Завзятова не пускать.

История эта, возможно, так и закончилась бы заурядным скандалом, если бы Букину не пришла в голову мысль и вправду отомстить изобретателю молотка за те оскорбительные намеки, которые тот по его поводу отпустил. В другой раз эта мысль вряд ли пришла ему в голову, так как Букин был человеком отходчивым и незлобным, но накануне его при всех ударила по лицу одна молодая женщина, которой он с год не давал проходу. Теперь он то и дело вспоминал про эту пощечину, и перед ним вставал ужасный вопрос: почему такое он терпит поношение от мерзавцев, почему не научится себя защищать — мужчина он или же размазня? Этим вопросом Букин со временем до того себя распалил, что решил написать в одну газету, где у него был приятель, тоже любитель бегов, язвительную статью под названием «Изобретатель велосипедов». Недели через две замысел был осуществлен, и статья увидела свет. А еще через неделю Завзятов подстерег Букина у подъезда, и между ними произошел следующий разговор:

— Это вы написали гаденький пасквиль о моем изобретении? — сказал Завзятов, бегая глазами и медленно вынимая из кармана правую кисть.

— Я, — сказал Букин и панически улыбнулся.

— Вы поступили неосмотрительно. Вы подумали, что скажут о вас потомки?

Букин смолчал, так как, по его мнению, потомки тут были решительно ни при чем. Завзятю же, не дождавшись ответа, неловко размахнулся и ударил Букина по лицу.

Теперь попробуйте представить себя на месте человека, который в течение месяца получил две пощечины, и, если вы не лишены некоторого воображения, вам откроется самая мучительная комбинация чувств. Букину было и стыдно себя, и жалко себя, и ежеминутно изводило желание как-нибудь неслыханно отомстить. Но пока он выдумывал, как бы это ловчее сделать, Завзятю определил его и в том, что касается усугубления ненависти, и в том, что касается жажды мести,— возможно, он действительно был не совсем здоров.

В одно прекрасное утро Букин получает письмо. «Милостливый государь (именно «милостливый», а не милостивый)! — пишет ему Завзятю. — Если вы думаете, что мы окончательно расквитались, то вы ошибаетесь. Я оскорблен вашей грязной статейкой не на жизнь, а на смерть. Подлость, которую вы совершили против отечественной науки и техники, смывается только кровью. Я вызываю вас на дуэль. Если вы не баба и не тряпка, то соглашайтесь. Я пришлю за ответом своего секунданта. Завзятю».

— Прекрасно! — воскликнул Букин, прочитав письмо, и нехорошо засмеялся. — Дуэль? Прекрасно! Пусть будет дуэль! — От ненависти к Завзятю и перспективы крови у него что-то задергалось в голове.

Два дня спустя к Букину на квартиру явился завзятювский секундонт, та самая женщина, которая загодя угадала в Завзятю что-то потустороннее, демоническое; фамилия ее была Сидорова. Не переступая порога, эта женщина потребовала ответа на завзятювский вызов и тут же оговорилась, что в случае отказа от дуэли она просто его убьет. Оговорившись, Сидорова испытательно посмотрела ему в глаза. В этом взгляде сквозила такая лютая сила, которая даже не может быть свойственна женщине, и Букин оторопел. Он ответил, что принимает вызов, но от смятения говорил как-то робко, и Сидорова, уходя, презрительно улыбнулась. После этого он и Сидорову стал ненавидеть.

Несколько дней Букин прожил в полуобморочном состоянии. С одной стороны, он по-прежнему терзался ненавистью и в душе торопил развязку, но, с другой стороны, ему было досадно, что он из-за пустяков попал в

переплет, который принял уж слишком зловещее, несовременное продолжение; вообще, у него было такое чувство, точно вдруг незаметно сломалось время, и мир повернулся назад, к сожжению ведьм, избиению младенцев, антропофагии. Эта сторона дела очень смущала Букина, и он даже подумывал, не отказаться ли от дуэли, сославшись на то, что его враг клинический идиот. К сожалению, от дуэли он так и не отказался; более того: он неожиданно постиг спасительный смысл той этической категории, которая прежде обозначалась выразительным словом «честь».

Поединок было решено обставить традиционно. Завязтов два дня просидел в Исторической библиотеке и выписал из Дурасовского кодекса все, что касается правил и церемониала. После этого Букин дважды встречался с Сидоровой; на первом свидании, назначенном возле пригородных касс Ярославского вокзала, решался вопрос, как драться, то есть насмерть или до первой крови,— решили, до первой крови; на другом свидании выбирали оружие. Это оказался сложный вопрос: пистолеты взять было негде, поножовщина претила обоим, фехтовать не умел ни тот, ни другой. Наконец, в качестве дуэльного инструмента выбрали спортивные луки. На луках остановились, во-первых, потому, что у Сидоровой были знакомые лучники из общества «Локомотив», а во-вторых, потому, что, по справкам, на церемониальной дистанции из спортивного лука нельзя было нанести смертельную рану. Правда, оставалась опасность попадания в голову, но к этой опасности дуэлянты отнеслись легкомысленно, рассудив, что, в конце концов, это все-таки дуэль, а не пьяная потасовка.

Когда все детали поединка были оговорены, Букин стал искать секунданта. Не знаю, что его дернуло, но он явился ко мне. Я выслушал его, не веря своим ушам, несколько раз справился, не дурачит ли он меня, и в конце концов послал к черту. Букин сказал, что он пошутил, мы посмеялись и выпили по маленькой коньяку, который я прячу от жены в солдатской фляге на антресолях.

К тому времени я уже был серьезно озадачен теми двумя бальмонтовскими стихами, которые предваряют эту историю. Из них вылуплялся какой-то рассказ. Душа его уже проклюнулась, но телесности не было никакой, и я ухватился за букинский анекдот, в котором мне почудилась соответствующая телесность. Я уже было засел писать, но дело, как я ни силился, не пошло. Сомне-

ваюсь, чтобы мне удался даже плохой рассказ, скорее, я бы вообще никакого не написал, уж больно тяжеловесной оказывалась телесность, но тут ко мне опять заявился Букин. Он был чуть ли не в лихорадке. Я спросил его, что стряслось, и он признался, что давеча не соврал, что дуэль действительно намечается, а пока стороны решают следующую проблему: если дело закончится серьезным ранением одного из соперников, то каким образом избавить другого минимум от суммы, максимум от тюрьмы? Эта проблема оказалась настолько сложной, что враги решили было обратиться в юридическую консультацию. Впрочем, они вовремя опомнились, и все кончилось тем, что Сидорова, у которой вообще оказалась масса полезных знакомств, свела дуэлянтов с юристом Язвицким.

Язвицкий принял их у себя на даче. Во время разговора он держался заносчиво, но совет дал дельный. Он посоветовал, запасясь четвертинкой водки, в случае рокового исхода опохмелиться пострадавшего и затем безбоязненно доставить его в ближайшую поликлинику; там следовало объяснить ранение несчастной случайностью, например: выпил лишнего, пошел прогуляться, споткнулся, напоролся на сук. В заключение Язвицкий выкинул неожиданный фортель: он предложил свои услуги в качестве букинского секунданта.

Стреляться договорились в Сокольниках. Чуть в стороне от Оленьих прудов, по словам Сидоровой, было одно укромное место. Дуэль назначили на субботу, 30 октября.

Несколько дней, остававшихся до этого рокового числа, соперники, надо полагать, провели в неотступных думах о смерти и вообще находились в том неприятно-тревожном состоянии духа, которое мнительные люди испытывают в ожидании врачебного приговора. В последнюю ночь Завзятов, наверное, до рассвета ходил из угла в угол, ерошил волосы и поминутно проверял, не дрожат ли руки. А Букин, может быть, решил напоследок полистать дорогие книги и нечаянно задремал.

Утром 30 октября участники дуэли встретились на трамвайной остановке «Мазутный проезд». Пока шли до места, все тяжело молчали, и только Язвицкий ни к селу ни к городу начал рассказ о том, что в этих местах когда-то купался Пушкин; впрочем, через минуту он опомнился и замолк.

Уже вторую неделю как выпал снег. Он стал было

таять, но неожиданно ударили холода, и зазимок лег искрящейся стеклянной коркой, которая весело похрустывала под ногами. Еще во многих местах на деревьях зеленела листва, и снег, который кое-где прилепился к кронам, производил неприятное впечатление.

Шли минут двадцать. Букин заметно побаивался, но Завязтову, тащившему бутылку водки и луки, завернутые в газету, опасность была, кажется, нипочем. Более того: он с таким зловещим спокойствием озирался по сторонам, что казалось, он сейчас непременно выкинет что-нибудь безобразное.

Поляна, о которой рассказывала Сидорова, на самом деле оказалась местом уединенным. Вокруг недвижно стояли сосны, о которых Букин подумал, что в них есть что-то вечное, самодовлеющее, как в жизни вообще относительно смерти в частности.

Придя на место, все, кроме Язвицкого, закурили. Язвицкий тем временем с судейской аккуратностью осмотрел луки и четыре стрелы, наконечники которых он самолично наточил до содрогающей остроты. Потом он отмерил двадцать пять метров между барьерами, расставил противников по местам и, немного помедлив, дал им сигнал сходитьсь.

Стрелялись одиннадцать раз, так как ни Завязтов, ни Букин никогда прежде лука в руках не держали и никак не могли попасть. На одиннадцатый раз стрела, выпущенная Букиным, угодила Завязтову в глаз, то есть случилось худшее из того, что только могло случиться. Впрочем, стрела застряла в глазном яблоке и внутрь черепа не проникла. Завязтов даже не потерял сознания, хотя из-под стрелы на снег, перемешанный с зелеными и желтыми листьями, хлынул неправдоподобно бурный фонтанчик крови. Стрелу извлекли, и Сидорова стала лить прямо на то место, где у Завязтова только-только был глаз, перекись водорода; на ране зашипела очень большая, пузырящаяся, розовая гвоздика, и кровь постепенно остановилась. После этого Завязтов минут десять не мог отдышаться, а когда отдышался, то первым делом попросил водки. Ему налили два стакана подряд; третий налили Букину, с которым случилась истерика.

Однако то, что случилось на самом деле, было до такой степени отвратительным и ужасным, что написать об этом в рассказе было положительно невозможно. Кроме того, действительность противоречила бальмонтовской идее, и я придумал другой конец. Придя на место, ду-

элянтам показалось холодно стреляться, и Букин от страха предложил понемногу выпить. Предложение было принято. Выпили по одной — показалось мало, выпили по другой — показалось мало, потом, конечно, послали Сидорову в магазин за добавком, короче говоря, как водится, напились. После этого стали выяснять отношения. Во-первых, сошлись на том, что затея с дуэлью, конечно, глупость, во-вторых, стали прикидывать, как это они дошли до такого умопомрачения, и, наконец, каждый из присутствующих высказал собственный взгляд на вещи. Посредством этих оправдательных монологов я и наметил дать прозаическое толкование бальмонтовских строчек насчет того, что мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить.

Итак, дело у меня венчалось нетрезвым, но поучительным разговором. Сидорова пускай говорит, что, по ее мнению, человечество существует главным образом для того, чтобы тиранить самых совершенных представителей своего вида, то есть гениев. Пускай она укажет на пример Циолковского или Торквато Тассо, чью суммарную полезность можно приравнять к суммарной полезности двух человеческих поколений, и при этом добавит, что это большое счастье — встретить на жизненном пути такого гения, как Завзятюв, с которого прямо нужно сдувать пылинки.

Затем вступит Букин. Он будет говорить о том, что в конце концов все сделаются неврастениками, если не научатся себя самым решительным образом защищать. Букин будет горячо обличать людей, которые легко и много прощают и в лучшем случае способны ответить на оскорбление оскорблением, потому что это ведет к отмиранию личности. Что же касается гениев, скажет он, то гении они или нет, это еще вилами на воде писано. Когда дело дойдет до Язвического, он станет оправдывать свое умопомрачение тем, что теперешняя жизнь лишена остроты и однообразна, как гудение комаров; что временами непереносимо хочется чего-нибудь из ряда вон выходящего, укуса с перцем, чтобы всего ознобом пробрало, иначе можно помутиться в рассудке, иначе можно подумать, что жизнь прожита впустую. Наконец, Завзятюв объявит, что отечественная наука и техника — это святое дело и ради их торжества он готов стреляться хоть ежедневно.

В самом конце рассказа я приписал фразу насчет того, что все разошлись по домам довольные и хмельные,

вздыхнул и поставил точку. Затем я перечитал написанное и даже перепугался, до чего получилось умственно, хорошо.

— Ну,— закричал я жене, которая в это время делала что-то на кухне,— если это не самое сильное из того, что существует в теперешней литературе, то я вообще ничего не смыслю. Слышишь? Когда Л. прочитает этот рассказ, он покончит жизнь самоубийством. Он скажет, что со мною невозможно быть современником.

— Господи,— ответила из кухни жена,— когда все это кончится?..

Ну что ты будешь делать, скажи на милость!..

### Я И ПЕРЕСТРОЙКА

Сейчас я расскажу, как рухнула перестройка. Точнее, пока еще не рухнула, но обязательно рухнет в результате допотопной формы семьи и брака, которая господствует при реальном социализме. Объективности ради нужно оговориться, что вообще история знает немало случаев, когда препоной великому свершению послужила сравнительно чепуха; взять хотя бы случай с императором Петром Федоровичем, который не осуществил своей преобразовательной миссии только по той причине, что несколько раз прилюдно отчитал супругу Екатерину за ее неистовый темперамент.

Весь прошлый год я работал над проектом радикальной экономической реформы, которая, по моим расчетам, должна была вывести страну на рубежи полного процветания и, что дороже всего,— в самый кратчайший срок. Эта работа несколько затянулась; я предполагал закончить ее к зиме и таки закончил ее к зиме, но только иного года, потому что после Октябрьских праздников я крепко закеросинил. Жена моя, Вера Степановна, кое-как смирилась с этим запоем, поскольку ежу, как говорится, было понятно, что я несущу нечеловеческие нагрузки: работа на заводе, работа по дому, да еще каждый божий вечер я отправляюсь на кухню и сажусь за свой революционный проект, над которым корплю чуть ли не до утра. Вот только Вера Степановна по субботам и воскресеньям никуда меня не пускала, когда мне особенно требовалось расслабиться от моих сумасшедших будней; встанет, бывало, в дверях с молотком для отбивания мяса и говорит:

— Субботу и воскресенье — это отдай сюда!



Долго ли, коротко ли,— закончил я свой проект. В ночь с 3 на 4 декабря этого года я поставил последнюю точку, положил рукопись в папку с шелковыми тесемками, походил в обнимку с ней по квартире, вдоволь насмотрелся на себя в зеркало, какие они, значит, бывают, русские самородки, и спрятал папку на антресолях. Я с самого начала решил свою работу как бы замуровать, потому что отлично представлял себе самоизничтожительные последствия, попробуй я ее протолкнуть в верхах, чему «в истории мы тьму примеров слышим»: взять хотя бы пример с первым нашим воздухоплавателем Кузьмой Жемовым, которого неоднократно пороли за изобретение махолета,— но цивилизованные потомки обязаны были знать, что плодоносящий российский ум не дремал даже в самые паскудные времена. Однако по зрелому размышлению я все же решил сделать экстракт из своего проекта и послать его ребятам в Совет Министров, вернее, во мне тщеславие просто-напросто взяло верх.

Чудные дела твои, господи: я послал пакет в понедельник, а в субботу мне уже позвонили; приятный такой, молодежавый голос поздравил меня с субботой и сообщил:

— Сейчас с вами будет говорить Николай Иванович.

Во мне мгновенно что-то вспыхнуло от радости, гордости и ощущения себя государственным человеком; должен сознаться, что если бы этим звонком завершилась судьба моего проекта, тщеславие мое было бы стопроцентно удовлетворено. Я, конечно, скорчил физиономию и замахал свободной рукой, давая жене сигнал, чтобы она подошла к параллельному аппарату и, таким образом, убедилась бы в том, что ее муж отнюдь не малахольный мечтатель, а прямой государственный человек.

— Здравствуйте, Александр Иванович,— вдруг говорит Николай Иванович,— как настроение, как дела?

Я отвечаю:

— По моим сведениям, все нормально.

— Что-то я о вас раньше ничего не слыхал,— продолжает речь Николай Иванович.— Вы где работаете: в Академии наук или у Абалкина в институте?

— Я,— отвечаю,— так сказать, практик и непосредственно занят на производстве.

— А степень, звание — это как?

— С этим у меня просто: расточник пятого разряда — тут вам и звание, тут и степень.

— Ну что же, это тем более интересно. Так вот,

дорогой Александр Иванович, надо бы встретиться, серьезно поговорить. Ваши идеи нас крепко заинтересовали, но есть в вашей записке ряд, я бы сказал, темных мест, которые требуют авторской расшифровки. Так как вы насчет встретиться, серьезно поговорить?

— Я готов,— отвечаю я и делаю жене глазки: дескать, знай наших, дескать, пятнадцать лет ты со мной прожила, Вера Степановна, так и не сообразив, с кем ты их, собственно, прожила.

— Тогда, может быть, не станем откладывать это дело? — говорит Николай Иванович.— Давайте сегодня и встретимся; мы, разумеется, машину за вами вышлем...

— Я готов,— отвечаю я.

После этого опять подключается приятный такой, молодежливый голос и сообщает:

— Машина будет через пятнадцать минут, номер семнадцать — двадцать четыре.

Положив на место трубку, я весело поглядел на Веру Степановну и отправился одеваться. А Вера Степановна взяла молоток для отбивания мяса, встала в дверях и по обыкновению говорит:

— Субботу и воскресенье — это отдай сюда!

— Ну, ты вообще! — восклицаю я, тем временем влезая в новые чехословацкие башмаки.— Ты думай головой-то: кто меня вызывает, зачем и в какое место. Это же государственные дела! Сейчас и «Чайка» за мной приедет... Не понимаю: причем здесь суббота и воскресенье?..

— А при том,— объясняет Вера Степановна,— что в позапрошлую субботу у тебя тоже были государственные дела, после которых ты явился в два часа ночи и на бровях! И то же самое машина за тобой приезжала, только не «Чайка», а «скорая помощь»,— или ты пьяным делом про то забыл?

Ну, как же я забыл, конечно же, не забыл: в позапрошлую субботу вдруг такая тоска на меня нашла,— это я с утра начитался газет про нашу хозяйственную разруху,— что грешным делом я позвонил одному приятелю, который трудится в «Скорой помощи», и меня забрали по подозрению в сальмонеллезе, якобы напавшем на наш завод. Одним словом, нечего мне было возразить Вере Степановне, потому что тогда явился я действительно в два часа ночи и действительно на бровях.

# Чехов с нами

## НАШ ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Учитель древнегреческого языка Беликов, в сущности, не знал, чего он боялся, и умер от оскорбления; учитель русского языка и литературы Серпеев отлично знал, чего он боялся, и умер оттого, что своих страхов не пережил. Беликов боялся, так сказать, выборочно, а Серпеев почти всего: собак, разного рода привратников, милиционеров, прохожих, включая древних старух, которые тоже могут походя оболгать, неизлечимых болезней, метро, наземного транспорта, грозы, высоты, воды, пищевого отравления, лифтов — одним словом, почти всего, даже глупо перечислять. Беликов все же был сильная личность, и сам окружающих застрашал, постоянно вынося на люди разные пугательные идеи; Серпеев же был слаб, задавлен своими страхами и, кроме как на службу, во внешний мир не совал носа практически никогда, и, даже если его посылали на курсы повышения квалификации, которыми простому учителю манкировать не дано, он всегда исхитрялся от этих курсов как-нибудь увильнуть. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте.

Уже четырех лет от роду он начал бояться смерти. Однажды малолетнего Серпеева сводили на похороны дальней родственницы, и не то чтобы грозный вид смерти его потряс, а скорее горе-отец потряс, который его уведомил, что-де все люди имеют обыкновение умирать, что-де такая участь и Серпеева-младшего не минует; обыкновенно эта аксиома у детей не укладывается в голове, но малолетний Серпеев ею проникся бесповоротно.

Ребенком он был, что тогда называлось, интеллигентным, и поэтому его частенько лупили товарищи детских игр. Немудрено, что во всю последующую жизнь он мучительно боялся рукоприкладственного

насилия. Стоило ему по дороге из школы домой или из дома в школу встретить человека с таким лицом, что, кажется, вот-вот съездит по физиономии, съездит ни с того ни с сего, а так, ради простого увеселения, как Серпеев весь сразу мягчал и покрывался холодным потом.

Юношей, что-то в начале шестидесятых годов, он однажды отстоял три часа в очереди за хлебом, напугался, что в один прекрасный день город вообще оставят без продовольствия, и с тех пор запасался впрок продуктами первой необходимости и даже сушил самостоятельно сухари; автономного существования у него всегда было обеспечено что-нибудь на полгода.

В студенческие времена в него чудом влюбилась сокурсница по фамилии Годунова; в объяснительной записке она между делом черкнула «ты меня не бойся, я человек отходчивый» и вогнала его во многие опасения, поскольку, значит, было чего бояться; действительно, из ревности или оскорбленного самолюбия Годунова могла как-нибудь ошельмовать его перед комсомольской организацией, плеснуть в лицо соляной кислотой, а то и подать на алименты в народный суд, нарочно понеся от какого-нибудь третьего человека; с тех пор он боялся женщин.

Впоследствии мир его страхов обогащался по той же схеме: он терпеть не мог подходить к телефону, потому что опасался ужасающих новостей, и еще потому, что, было время, ему с месяц звонил неопознанный злопахатель, который спрашивал: «Это контора ритуальных услуг?» — и внимательно дышал в трубку; он боялся всех без исключения звонков в дверь, имея на то богатейший выбор причин, от цыган, которые запросто могут оккупировать его однокомнатную квартиру, до бродячих фотографов, которых жаль до слезы в носу; он боялся всевозможных повесток в почтовом ящике, потому что его однажды по ошибке вызвали в кожно-венерологический диспансер и целых два раза таскали в суд; он боялся звуков ночи, потому что по ночам в округе то страшно стучали, то страшно кричали, а у него не было сил, если что, поспешить на помощь. Между прочим, из всего этого следует, что его страхи были не абстракциями типа «как бы чего не вышло», а имели под собой в той или иной степени действительные резоны.

То, что он боялся учеников и учителей, особенно учителей,— это, как говорится, само собой. Ученики свободно могли отомстить за неудовлетворительную отметку, чему, кстати сказать, были многочисленные примеры, а учителя, положим, написать анонимный донос, или оскорбить ни за что ни про что, или пустить неприятный слух; по этой причине он с теми и другими был прилично подобоострастен.

В конце концов Серпеев весь пропитался таким ужасом перед жизнью, что принял целый ряд конструктивных мер, с тем чтобы, так сказать, офутляриться совершенно: на входную дверь он навесил чугунный засов, а стены, общие с соседями, обил старыми одеялами, которые долго собирал по всем родственникам и знакомым, он избавился от радиоприемника и телевизора из опасения, как бы в его скорлупу не вторглась апокалипсическая информация, окна занавесил ситцевыми полотнами, чтобы только они пропускали свет, на службу ходил в очках с незначительными диоптриями, чтобы только ничего страшного в лицах не различать. Придя из школы, он обедал похлостячки, брал в руки какую-нибудь светлую книгу, написанную в прошлом столетии, когда только и писались светлые книги, ложился в неглиже на диван и ощущал себя счастливым без примера, каких еще не знала история российского человечества.

Теперь ему, собственно, оставалось позаботиться лишь о том, как бы избавиться от необходимости ходить в школу и при этом не кончить голодной смертью. Однако этот вопрос ему казался неразрешимым, потому что он был порядочным человеком, и ему претила мысль оставить детей на тех злых шалопаев, которые почему-то так и льнут к нашим детям и которые, на беду, составляли большинство учительства в его школе; кроме того, он не видел иного способа как-нибудь прокормиться.

Со временем эта проблема решила сама собой. Как-то к нему внезапно явилась на урок проверяющая из городского отдела народного образования, средних лет бабенка с приятным лицом, насколько позволяли увидеть его диоптрии. К несчастью, то был урок на самовольную тему «Малые поэты XIX столетия», которой Серпеев подменил глупую плановую тему, что он вообще проделывал более или менее регулярно. К вящему несчастью, Серпеев был не такой че-

ловек, чтобы немедленно перестроиться, да и не желал он перестраиваться на виду у целого класса, и, таким образом, в течение тридцати минут разговор на уроке шел о первом декаденте Минском, который в свое время шокировал московскую публику звериными лапами, привязанными к кистям рук, о Якубовиче, авторе «на затычку», о самоубийце Милькееве, пригретом Жуковским из непонятных соображений, и особенно некстати было процитировано из Крестовского одно место, где ненароком попался стих «И грешным телом подала» — не совсем удобный, хотя и прекрасный стих.

Проверяющая была в ужасе. На перемене она с глазу на глаз честила Серпеева последними словами и в заключение твердо сказала, что в школе ему не место. Но потом она присмотрелась к ненормально забитому выражению его глаз, подумала и спросила:

— Послушайте: а может быть, вы чуточку не в себе?

И тут Серпееву, с эффектом внезапного электрического разряда, пришло на мысль, что это они все чуточку не в себе, а он-то как раз в себе. Через несколько минут он окончательно в этом мнении укрепился, когда вышел из школы и возле автобусной остановки увидел пьяного учителя рисования с настоящей алебардой и слепым голубем на плече.

Дня два спустя от директора школы последовало распоряжение подать заявление об уходе. Серпеев заявление подал, и у него как гора с плеч свалилась, до такой степени он почувствовал себя выздоровевшим, что ли, освобожденным. Вот только детей было жаль, особенно после того, как к нему в вестибюле подошел середнячок Парамонов и сказал, что он не представляет себе жизни без его уроков литературы.

— Без уроков русского языка,— далее сказал он,— я ее себе очень даже представляю, но литература — это совсем другое.

Парамоновские слова натолкнули Серпеева на идею, так сказать, внешкольного курса словесности, который он мог бы вести для особо заинтересованных учеников хотя бы у себя дома. Таким образом, этическая сторона его отступления была обеспечена: человек пятнадцать-двадцать ребят из старших классов стали приходить к Серпееву дважды в неделю, и он по-прежнему учил их, если можно так выразиться, ду-

ше, опираясь главным образом на светлую литературу девятнадцатого столетия.

Знал Серпеев, чего боялся, да не до логического конца. Месяца через два после начала занятий, в назначенный день недели, к нему явился один середнячок Парамонов и сообщил, что прочие не придут.

— Почему?..— спросил его Серпеев в горьком недоумении.

— Потому что нам велели на вас заявление написать. Что вы на дому распространяете чуждые настроения. Конечно, кто же после этого к вам придет!

— Но ведь ты-то пришел,— с надеждой сказал Серпеев.

— Я человек конченный,— ответил Парамонов, неизвестно что имея в виду, откланялся и ушел.

Словом, случилось худшее из того, чего только мог ожидать Серпеев,— его вот-вот должны были арестовать и засадить в кутузку за подрывную агитацию среди учащейся молодежи. Он сорок восемь часов подряд поджидал ареста, а на третьи сутки с ним приключилась сердечная недостаточность, и он умер.

В глазах коллег и кое-каких знакомых он ушел из жизни с репутацией просто несчастного человека, и это обстоятельство заслуживает внимания: сто лет тому назад учителя Беликова с большим удовольствием провожали в последний путь, потому что держали за вредную аномалию, а в конце текущего столетия учителя Серпеева все жалели. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте.

## ДЯДЯ СЕНЯ

Актер областного драматического театра Семен Литовкин, уже человек заслуженный и в годах, однако существующий все по чужим углам да еще на мизерную зарплату, как-то под вечер свалился в обморок неподалеку от Хлебной площади; то ли в этом случае дала себя знать усталость, что вовсе не удивительно, ибо иногда ему приходилось играть по четыре спектакля в день, то ли сказалось некачественное питание, что тоже не удивительно, поскольку питался он, разумеется, отечественными продуктами и, главным образом, всухомятку, то ли прорезалась какая-то затаившаяся болезнь, что совсем уж не удивительно, если учесть

преклонные его годы, но факт, как говорится, тот, что он прямо на улице потерял сознание и упал.

Очнулся он на нарах, причем без пальто, карманных часов и своего дряхлого кошелька, в котором хоть не было ничего, кроме проездного билета и банального обеденного рубля; рядом с ним на нарах сидел какой-то бандит, раздетый до пояса, и уныло бранился матом. Литовкин почти сразу сообразил, что находится в капэзэ. «Должно быть, за пьяного меня приняли»,— подумал он, отвернулся от бандита и задремал.

Наутро его предположение оправдалось. Старший лейтенант милиции, сидевший в дежурной части, установил его личность, велел подписать неведомую бумагу и некоторым образом по-свойски, даже сочувственно пожурил.

— В вашем возрасте, папаша,— хорошим голосом сказал он,— пора уже не водочкой, а внуками заниматься. Хочешь не хочешь, а придется «телегу» на вас писать.

— Да не пил я! — взмолился Литовкин, не без артистизма прижимая к груди скрещенные кисти рук.

— Тогда, может быть, наркотики? — вкрадчиво осведомился лейтенант.

Литовкин подумал, что дальнейшие препирательства могут только усугубить его положение, и значительно замолчал.

— Пальто хоть отдайте,— единственно напоследок попросил он.

— А вот этого не надо! — сразу посуровев, сказал ему лейтенант.— Все же здесь отделение милиции, а не пункт по сбору утильсырья. Наверное, вас прохожие обобрали, когда вы валялись на улице в бессознательном состоянии. У нас ведь прохожие — огонь, подошвы на ходу режут, не то что какого-нибудь пьяницу обобрать.

Литовкин обиделся, но мысленно согласился с тем, что пальто и вправду никак не могло заинтересовать избалованную милицию и что, наверное, его и вправду прохожие обобрали. Однако на незаконное задержание он пожаловаться решил.

С тем Литовкин и отправился в городскую прокуратуру. Протомившись в очереди около двух часов, он наконец попал на прием к утомленной женщине в униформе, изложил ей свою обиду и услышал в ответ следующие слова:



— Послушайте товарищеского совета: бросьте вы это дело. Кровь у вас не брали на алкоголь, мужчина вы еще крепкий, так что особых оснований валяться на тротуаре у вас, насколько я понимаю, нет, а в протоколе о задержании все записано как положено — это я вам гарантирую за глаза. Вообще с милицией судиться бесперспективно, да и не в наших это традициях, как-то даже не по-советски. Словом, лучше забудьте про этот случай, считайте, что просто с вами произошло неприятное приключение.

— Ничего себе, забудьте! — возмутился Литовкин, но как-то жалобно возмутился.— Ничего себе, приключение! А «телега»?!

— А что «телега»? — спокойно сказала женщина в униформе.— Ну «телега», ну осудят коллеги ваше недостойное поведение, ну и что? Жизнь на этом не прекратится.

Литовкин мысленно согласился, что его жизнь будет иметь продолжение, даже если его выгонят из театра, но на душе было сильно нехорошо, и он с горя решил напиться; вечером ему предстояло играть в чеховском «Дяде Ване», однако уж больно было гадостно на душе. Он нащупал в глубине нагрудного кармана талон на водку, который вечно таскал с собой, и, выйдя из прокуратуры, направился в сторону винного магазина.

Там кишела очередь часа на два, и тем не менее Литовкин к ней все равно примкнул. Уже стало смурнеть, уже возле магазина валялось несколько пьяных, уже прошел мимо сменившийся с дежурства давешний лейтенант и, увидев в очереди Литовкина, ему понимающе подмигнул, уже заметно похолодало, что было особенно чувствительно без пальто, уже повалил народ из проходной шелкомотальной фабрики и до заветного прилавка оставалось с полсотни мятущихся мужиков, когда из магазина выглянула продавщица исполинской конфигурации и объявила, что на сегодня лимит исчерпан. Литовкин от огорчения продал свой талон какой-то старушке, напоминающей букву «г», и на вырученные деньги отвратительно пообедал.

Потом он долго бродил по городу, неся в себе такое подлое ощущение, какого можно добиться только нарочно, если, например, попросить прощения у прохвоста, который наставил тебе рога, а в половине седьмого вечера был в театре. Он машинально загримировался, машинально надел костюм своего героя, именно Войниц-

кого, «дяди Вани», поднялся на сцену и встал у левой кулисы, где находился пульт, рядом с помощником режиссера. Своего выхода Литовкин тоже дожидался с противным чувством; он его потому дожидался с противным чувством, что новый главный режиссер, приехавший в прошлом году из Вологды, по молодости лет, от избытка самомнения, а также из чисто кассовых интересов, коверкал классику как хотел; дело дошло уже до того, что в середине четвертого действия Войницкий, по прихоти вологодского умника кончает самоубийством.

Перед самым выходом помощник режиссера ему сказал:

— Дядя Сеня, одолжи до среды червонец...

На что Литовкин не без артистизма развел руками, давая понять, что он сам сидит без гроша, вдохнул пыльный воздух и вышел из-за кулисы со словами:

— Да... Очень...— После чего неестественно зевнул, как того требовала чеховская ремарка.

В дальнейшем текст он произносил, то же самое, машинально, поскольку знал его наизубок, но отчего-то как бы очнулся в начале второго действия, когда он говорит Елене Андреевне:

— Сейчас пойдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. Днем и ночью, точно домовой, душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости...

Но что ему в ответ говорила Елена Андреевна, он уже не слышал.

В другой раз он как бы очнулся накануне самоубийства, которое придумал неистовый вологодский авангардист; он невзначай увидел, как монтировщики на колосниках пьют портвейн, и снова пришел в себя.

— Ничего,— говорил в это время актер Скородумов, игравший Астрова, в миру сплетник, склочник и интриган.

— Дай мне чего-нибудь,— сказал свою реплику Литовкин и показал на сердце, как того требовала чеховская ремарка.— Жжет здесь.

— Перестаны! — отмахнулся от него Скородумов.— Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно,— те, может быть, найдут средство, как быть счастливыми, а мы...

И опять провал; и опять как бы возвращение восво-  
яси:

— Послушай,— продолжал Скородумов,— если тебе  
во что бы то ни стало хочется покончить с собою, то  
ступай в лес и застрелись там!..

Соответственно задумке главного режиссера, Литов-  
кин вытащил из кармана оловянный пугач, отошел в  
глубину сцены, где стояли зеленые фанерные щиты,  
символизировавшие подлесок, и приставил пугач к вис-  
ку; помощник режиссера выстрелил из стартового писто-  
лета, который издал орудийный звук, и Литовкин рух-  
нул на сцену, два раза нарочито дернулся и затих.

Спектакль продолжался своим чередом, коллеги  
двигались, жестикулировали, говорили, а Литовкин лежал  
на пыльных сосновых досках, тупо разглядывал ржавый  
гвоздь, оброненный кем-то из монтировщиков, и злоб-  
ствовал про себя: «Слюнтяи, сволочи, жизнь была им  
нехороша! Небось в отличных пальто ходили, ворон-  
цовскую водочку трескали под икру, с феями обща-  
лись, философствовали, гады, с утра до вечера от без-  
делья — и еще, видите ли, жизнь им нехороша! Вас бы,  
сукиных детей, в лапы плановой экономики, вас бы  
предложить вниманию исполкома — они бы вам пока-  
зали вишневый сад! Нет, какую жизнь профукали,  
собаки,— феерию, а не жизнь!..»

От злых этих мыслей его оторвали аплодисменты.

Д. Б. С.

Эта криптограмма, это самое Д. Б. С., расшифровы-  
вается как — действительно беззащитное существо.  
Фортель с зашифровкой и расшифровкой трех обыден-  
ных русских слов вот чем хочется оправдать в глазах  
испытанного читателя: бабка Софья, можно сказать, на  
этих сокращениях и свихнулась, и если бы она сознавала  
себя в качестве действительно беззащитного существа,  
она себя так и называла бы — Д. Б. С. В доказательство  
такой ее *пунктуации* уместно привести то, что предсе-  
дателя товарищеского суда Михаила Васильевича Дуби-  
нина она кличет не иначе как МВД, что категория  
«коммунальная квартира» в ее устах звучит даже и  
неприлично, что ругательство «жид» она также считает  
аббревиатурой.

Свихнулась бабка Софья еще в бытность отрокови-  
цей, во время гражданской войны, когда пошла мода

на сокращение имен нарицательных до их полной неузнаваемости, которую следует объяснить... а черт его знает, чем эту моду следует объяснить. Прежде жизнь была органической и понятной: бабка Софья отлично училась в женской гимназии города Николаева, музицировала на скрипке и даже сочиняла по-немецки лирические стихи, но в девятнадцатом году, когда в городе то трупы висели на фонарях, то в пользу мировой революции шли официальные грабежи, то дворянство выгоняли на расчистку панелей, то из картинной галереи делали лазарет, но главное, когда уже во всю бушевали разные «добрармии» и «укомы», ее нежная, неокрепшая еще психика дала трещину, и сознание как-то одеревенело, прочно отгородив будущую бабку Софью от реалий советского времени до их полного непонимания или извращенного понимания. Ну что привести в пример: индустриализацию она восприняла как знамение скорого конца света, директора парфюмерной фабрики, на которой проработала двадцать лет, называла «хозяином» и демонстративно кланялась ему в пояс, Лазаря Кагановича подозревала в тайном сговоре с Австро-Венгрией... Уж бабку Софью и товарищи прорабатывали в круголке, то есть в красном уголке, и срок она отсидела в политизоляторе, и в ссылке она была, и, естественно, политических прав лишалась — ничто ее не могло пронять, и в конце концов на нее махнули рукой как на полную и безнадежную идиотку. В семидесятом году она вышла на пенсию и переехала в город Очаков, к двоюродной сестре по линии матери. Между прочим, пенсию ей положили что-то тридцать рублей с копейками, но этому она как раз нисколько не удивилась.

А в Бердянске у нее жила еще одна родственница — это уже по отцовской линии. В 1984 году эта родственница скончалась, отказав бабке Софье в наследство швейную машинку и холодильник. Дальше Херсона бабка уже лет тридцать не забиралась, и вот осенью восьмидесят четвертого года вынуждена была ехать в Бердянск принимать наследство.

В один прекрасный день идет она в морской порт, заворачивает в кассовый зал и по-хорошему просит билет в Бердянск.

— Нету туда билетов,— в ответ говорит кассирша.

— Это, наверное, на сегодня нету,— делает предположение бабка Софья,— а на завтра, должно быть, есть.

— И на завтра нету.

— А на когда же есть?

— На никогда.

— Как же так? Это даже удивительно, за что Бердянску такое пренебрежение... В Одессу билеты есть?

— Есть.

— На сегодня есть?

— Хоть сейчас садись, старая, на «Ракету» и дуй в Одессу. Как раз туда в психдиспансер завезли партию старичков.

— То-то и удивительно,— говорит бабка Софья, оставляя без внимания едкую справку о старичках,— что в Одессу билеты есть, а в Бердянск их даже и не бывает.

Мужик, стоявший через человека от бабки Софьи, не выдержал и сказал:

— Ты, старушка, совсем плохая. Ты, голова садовая, пораскинь умом: где Одесса, а где Бердянск!

— А чего тут раскидывать,— говорит ему бабка Софья.— И Одесса стоит на море, и Бердянск на море, я же не прошу доставить меня в Москву. Тем более что это не Турция какая, чтобы туда население не пускать.

— На море-то на море,— сказал мужик,— да акватории разные у них, тем более разные пароходства.

Бабка Софья приняла слово «акватория» за какую-то новую аббревиатуру, перед которыми у нее всегда раступался разум, и с мужиком решила больше не говорить. Она повернулась к кассирше и ласково ей сказала:

— Ты все-таки, дочка, сделай мне до Бердянска один билет.

— Все! Мое терпение лопнуло! — в ответ говорит кассирша.— Отойди, старуха, от кассы, а то я не отвечаю за свои действия!

Бабка Софья сообразила, что сейчас она не добьется толку по причине плохого настроения у кассирши, и решила несколько переждать. Она поставила в уголок свою сумку, сшитую из клеенки, кряхтя, на нее уселась и стала пережидать. Когда очередь у окошка кассы иссякла до последнего человека, бабка со смущением в голосе вернулась к старому разговору:

— Мне бы до Бердянска один билет...

— Миша! — заорала кассирша не своим голосом.

На зов моментально явился милиционер, который по летней поре выписывал чуть ли не загранпаспорта

на соседнюю Кинбурнскую косу, а в прочие времена года затачивал у себя в конурке карандаши; он явился и выставил бабу Софью на свежий воздух.

— Сынок,— говорила она дорогой,— ну что я такого сделала? Мне же только нужен билет в Бердянск!

Милиционер отвечает:

— Мамаша, до Бердянска билетов в природе нет.

— Ну как же так? — все не может она уняться.— До Одессы билеты есть?

— До Одессы есть.

— А до Бердянска нет?

— До Бердянска нет.

Бабка Софья все равно не поняла этого советизма, но как-то обмякла от официального сообщения относительно того, что до Бердянска билетов в природе нет, и с обреченным видом пошла на выход. В маленькой ее фигуре вдруг проявилось нечто настолько жалкое, что милиционер решил потрафить старческому безумию: он догнал бабу Софью, вырвал листок из блокнота, написал на нем — «Билет до Бердянска» и вручил этот листок старухе. Пятерку, которую совала ему повеселевшая бабу Софья, он отринул с негодованием, но карамельку вынужден был принять.

Бабка Софья после пошла на пирс, обнаружила там катер, отправлявшийся на Покровские хутора, и было взошла на палубу, но матрос, дежуривший у трапа, ее вовремя развернул. При этом он сказал:

— С Мишкиной бумажкой я бы тебя на луну доставил, но мы идем на Покровские хутора.

Бабка Софья уселась возле кнехта на свою сумку и заплакала не столько от обиды, сколько от недоумения.

Бог, который все это время наблюдал за старухиними злоключениями с расстояния в десять световых лет, отвернулся в беспомощном сочувствии ее горю. Он ничего не мог сделать для бабу Софьи. Он давно уже ничего не мог поделаться с этой страной и ее народом.

---

# Рассказы о писателях

## ПОСЛЕДНИЙ ГЕНИЙ

Утром они проснулись, позавтракали чем бог послал, выпили по немалому кофейнику кофе и вышли на палубу дожидаться армейского «козелка». Уже заступил октябрь, но здесь, в хазарских степях, осенью только слегка припахивало, и тальник, яблони в садах, пирамидальные тополя все еще были по-летнему зелены, разве что чуть подсохли.

— Читал вчера воспоминания о Некрасове, — сказал сам, задумчиво глядя в воду. — Ну как же нет бога, когда страстно влюбленные в жизнь природы, вот вроде Николая Алексеевича, под старость страдают такими мучительными болезнями, что уже ждут не дождутся смерти!.. Не может его не быть.

И у самого на лице стало приметно некое тонко-отчаянное выражение, как будто он внимательно прислушивался к себе и обнаруживал грозные перемены, какие-то неизвестные прежде знаки, обещавшие катастрофу.

Тронутая было тема не получила развития, и они стали молча дожидаться транспорта от военных.

— Послушай, — сказал наконец Георгий, — тут всего и идти-то три километра — давай на своих двоих? — И он показал при помощи пальцев, как передвигаются своим ходом.

— Ноги болят, ты понимаешь русский язык! — внезапно озлился сам, причем в его голосе проскользнула нота фальцетная, истерическая почти; вообще в последнее время он что-то частенько плакал и бесился по пустякам.

Через некоторое время подкатил-таки «козелок», и они поехали к месту съемок. Дорогой сам пересказывал Георгию финал одной недавно напечатанной зарисовки:

— Сцена суда: тут публика, тут судьи, тут подсудимые. Вдруг председательша суда замечает среди публики загадочную женщину и спрашивает ее: «Вы, собственно, кто такая?» Та отвечает: «Я, собственно, совесть». — «Вот! — наставительно говорит председательша подсудимым. — Даже сама ваша совесть явилась судить вас за оголтелый алкоголизм!» — «Ну почему только ихняя, — говорит совесть, — ваша тоже...»

Это была последняя сцена фильма, и сцена прошла, как говорится, на легкой ноге. Когда сам уже принялся смывать грим, у него попросили автограф здешние комсомольские вожаки. Болезненно поморщившись, он отказал из-за усталости, опасного самочувствия и антипатии к комсомольскому аппарату, но Георгий воззвал к снисходительности, и сам нехотя согласился.

— Ну ладно, что там у вас... — согласился он.

— Мы вот запланировали слет областного актива и хотели бы ребятам сделать памятные подарки, — сообщили вожаки и протянули ему толстенную стопку фотокарточек совэкспортфильмовской фабрикации.

Сам с готовностью принял стопку, и тотчас фотокарточки взмыли в воздух, как испуганная стая нелепых птиц.

Потом он поехал на почту звонить домой, но никого не застал и почему-то был этим крайне обеспокоен, хотя стояло воскресенье и домашние могли просто-напросто отправиться погулять. После поехали париться в деревенскую баньку, истопленную хозяевами на прощанье. Уже подъезжая к баньке, задавили ненароком глухого кота, когда между плетнями сдавали задом. Сам в ужасе закрыл руками лицо, а шофер Николай сказал:

— Погиб Пушок геройской смертью! — и вылез из машины прибрать несчастную животину.

— Все, что ли? — с гадливым нетерпением спросил сам.

— Все, — сказал Николай, но когда сам отнял от лица руки, Николай еще только собирался перебросить окровавленную тушку через плетень.

Местный старичок с орденскими планками на нищенском пиджачке, из ровесников века и любителей изложить перед городскими свою историческую биографию, в надежде что ее *пропечатают* в назидание опустившейся молодежи, который давно уже поджидал



компанию возле баньки, проводил мертвого Пушкин взглядом и почему-то с укоризною произнес:

— Нехорошая примета. Обязательно кто-то у нас померет.

— Типун тебе на язык! — сказал ему Николай.

Дед уже собрался перейти непосредственно к автобиографии, но компания невозмутимо проследовала в предбанник, и последний со значеньем захлопнул дверь.

Самому что-то париться не хотелось; он немного посидел из уважения к хозяевам на полке, но вскоре вернулся в предбанник со словами: «Что-то не парится мне сегодня». И опять у него на лице означилось некое тонко-отчаянное выражение, как будто он внимательно прислушивался к себе и обнаруживал грозные перемены, какие-то неизвестные прежде знаки, обещавшие катастрофу.

После баньки вернулись обедать на пароход и ближе к вечеру у самого слегка прихватило сердце; настоящего лекарства под рукою не оказалось, и ему пришлось довольствоваться чуть ли не киндербальзамом — тем не менее сердце потихонечку отпустило.

На сон грядущий они выпили по немалому кофейнику кофе и вышли на палубу подышать. Явился некто администратор и поинтересовался у самого:

— Ну что вы решили насчет директора?

— Есть директор, — ответил сам.

— И кто же он, интересно?

— Милькис.

— И что вас все тянет к этим гешефтмахерам, не пойму?!

Сам вдруг заиграл железными желваками и диким голосом закричал:

— На сегодняшний день Лазарь Моисеевич Милькис самый русский директор на всем «Мосфильме»!

Некто администратор в панике удалился, а сам еще долго молчал, смотрел в сгущавшуюся темень и раза два смахнул с уголка правого глаза набегающую слезу.

Над плоским берегом затеплилась какая-то низкая оранжевая звезда, и сам в раздумье заговорил:

— Ты знаешь, Жора, я, кажется, вышел на героя нашего времени... — И он принялся развивать прелюбопытную социально-филологическую идею.

— Гениальная мысль, — сказал про нее Георгий. —

Я вот только опасаюсь, что народ этого не поймет.

— Народ?! — внезапно озлился сам и опять заиграл

железными желваками.— Какой народ-то? Народу-то осталось четыреста человек!

Было уже поздно, и они разошлись по каютам спать. Напоследок Георгий заглянул к самому справиться о здоровье; тот пытался читать, но видно было, у него опять расходилось сердце.

— Может, сгонять за врачом к военным? — предложил Георгий, почувствовав смутное беспокойство.

— Ну, сгоняй...— как-то отрешенно ответил сам.

Пароход по случаю окончания съемок был беспробудно пьян, и никого из шоферов растолкать так и не удалось. Георгий вернулся назад ни с чем и сказал на прощание самому:

— Ты, если что, мне крикни. Я нарочно оставляю открытой дверь...

Сам пообещал Георгию крикнуть, если что, и на этом они расстались.

Утром 2-го октября 1974 года Георгий первым делом зашел к самому в каюту: тот мирно спал на левом боку, уткнувшись щекой в подушку. Тогда он уселся на свободную койку и стал спокойно дожидаться пробуждения самого. Что-то он долго не просыпался; в конце концов Георгий тронул товарища за плечо и тот легко повернулся на спину — всю его левую щеку занял багровый кровоподтек, дыхания не было, а тело, кажется, источало какой-то нездешний холод.

Так умер Василий Макарович Шукшин, последний гений нашей литературы.

Уместен вопрос: почему же именно гений? За какие исключительные дела он достоин звания превосходительного, фактически неземного? Вообще говоря, табель о рангах в применении к писательскому труду, включающая такие градации, как великий, гениальный, выдающийся и прочее в этом роде, имеет не просто факультативное значение, а просто никакого значения не имеет. Потому что все писатели в действительности делятся только на писателей и тех, кто в той или иной мере заблуждается на свой счет. Потому что на Руси уже сама должность писателя соответствует званию — гений и обозначает его принадлежность к вечности, как звание святого и принадлежность к вечности обозначаются нимбом, изображенным над головой.

Таким образом, все занятые в литературном процессе делятся на гениев и... скажем, тружеников пера. Последних, конечно, огромное большинство, однако на

судьбах литературы это не отражается, но зато отражается на судьбах настоящих писателей, русских во всяком случае, во-первых, потому, что они народ всеблаженный и, как Красная Шапочка, видят в каждом волчьем оскале родственную улыбку, во-вторых, отечественный Парнас сродни коммунальной квартире со всеми вытекающими последствиями, в-третьих, русский писатель любит литобъединяться, а любое литобъединение для него — смерть, поскольку в них всегда верховодят заблуждающиеся на свой счет, как элемент, имеющий массу свободного времени и энергии, которые надо куда-то деть, в-четвертых, наша российская действительность и наша советская, точнее будет сказать, антисоветская действительность устроены таким окаян-ным образом, что все, выходящее из ряда обыкновенного, представляет собой государственную измену. Этот четвертый пункт особенно влиятелен на гражданскую жизнь писателей, даже как-то автоматически влиятелен, вне зависимости от перемен нашего резко континентального политического климата, и какого русского гения ни возьми, всякий, за одним-другим исключением трансцендентального характера, прошел если не через тюрьму, то через суму, всякого эта действительность терла, ломала и, как правило, до срока вгоняла в гроб.

Возьмем Василия Макаровича Шукшина: какими только посторонними делами ни обременяла его действительность — и в колхозе-то он работал, и на флоте служил, и в автотехникуме учился, и в школе преподавал, и в фильмах снимался, и вот даже его отговорили поступать на сценарный факультет института кинематографии, а переадресовали на режиссерский, и он всю жизнь ставил квелое, дюжинное кино, и через горькое пьянство он прошел, этот силикоз для добытчиков радия из тысячи тонн словесной руды, и в больницах лежал, и все бесконечно мотался вдоль и поперек нашего государства, пока не уперся в то справедливое убеждение, что его единственное и естественное предназначение — это литература, что его место — это рабочий стол, что его инструмент — это шариковая авторучка и тетрадка за три копейки<sup>1</sup>. Понятное дело, не успел он прийти к этому убеждению, как надорвался

---

<sup>1</sup> Шукшин черновики писал в ученических тетрадках за 3 копейки, а перебелял рассказы в так называемых общих — за 42. (Здесь и далее примеч. автора.)

и умер, отрабатывая барщину у тогдашнего кинофельдшера Бондарчука; одна жутковатая, издевательски-показательная деталь: в гробу он лежал рыжеволосым, выкрашенным под шолоховского бронебойщика-балагура. Ну и напоследок над закопанным уже писателем простодушно поглумился Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства, второпях возвеличив его совсем не за то, за что его действительно следовало возвеличить,— получилось, в сущности, то же самое, вот как если бы Байрона провозгласили великим художником в связи с тем, что он хромал на левую ногу, или Менделееву поставили бы памятник за то, что он мастерил отличные чемоданы.

Это скорее всего недоразумение, что писатель погорьковски должен пройти через свои университеты, как-то приобщиться к народной жизни, чтобы потом ему было о чем писать. На то он, собственно, и писатель, чтобы у него было о чем писать, чтобы у него новое слово само по себе рождалось, независимо от превратностей судьбы, перемены мест, знания ремесел, успехов в работе и личной жизни. Труженику пера трепка от действительности и вправду необходима, как бензин для автомобиля, потому что в литературе он только опытом существует, а писателя действительность вымучивает и губит, если он, конечно, своевременно не отыдет от мира в какое-то автономное бытие; вообще это странно, даже необъяснимо, но всякая действительность настойчиво вытесняет гения из себя, как нечто кардинально враждебное собственному устройству.

Хотя почему необъяснимо, очень даже объяснимо, отчего действительность была так жестока, скажем, к Сократу, Паскалю, Достоевскому, Бабелю,— дело в том, что гений есть отрицание современности. Такую незавидную роль он играет вопреки своей воле и вовсе не потому, что принадлежит будущему, и не потому, что он умнее и лучше прочих, а даже он, напротив, может быть малосимпатичным созданием и некоторым образом простаком, а потому, что гений — существо как бы иной природы и, так сказать, темной этимологии, относящееся больше к вечности, нежели к злобе дня, недаром великий Гегель называл его доверенным лицом мирового духа. Возьмем даже уровень бытовой: если поставить себя на место заурядного человека, живущего без малого физически и неизвестно в силу какой причины, то, разумеется, как минимум неудобно

будет сосуществовать рядом с каким-нибудь опасным изобретателем квадратного колеса, которому нипочем обыкновенные человеческие заботы, или с каким-нибудь юродивым пронизателем, видящим всех насквозь, как рентгеновский аппарат, который ничего не боится и никого,— понятно, что заурядному человеку, ужасающемуся непохожести на себя не меньше, чем экономической катастрофе, как минимум, захочется сплавить этих придурков к Ганнушкину, а еще лучше в Матросскую Тишину; вот как иммунная система уничтожает чужеродные клетки, возникшие в организме, как стая черных воронов заклеывает ворона-альбиноса, так и человечество исподволь, окольно вытесняет из жизни гениев, и это отчасти понятно, даже простительно, если исходить из природы вещей и логики заурядного человека. Это тем более понятно, что излюбленная идея рода людского есть единообразие, сформулированное Великой французской революцией в лозунге «Свобода, равенство, братство» — в российской редакции это будет свобода от всего, равенство в обездоленности и братство преимущественно по оружию — между тем природа до такой степени не терпит этого самого единообразия, что никогда не существовало двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев; русский народ по этому поводу говорит: «Бог и леса не уравнил». Это тем более простительно, что, в сущности, не люди, а человечество, не действия, а действительность приносят гения себе в жертву. Ведь Сократ никому лично из состава ареопага, как говорится, не насолил, и его казнили за богохульство, и Паскаль мученически угас не потому, что он был Паскаль,— потому, что лошади понесли, и Достоевского взводили на эшафот не кровно задетые его «Униженными и оскорбленными», а те, кто полагал, что публичная декламация письма Белинского к Гоголю предосудительней грабежа на большой дороге, и Бабеля расстреляли за то, что он из праздного любопытства слишком сблизился с высшими чинами ОГПУ. Так что все претензии к диалектическому материализму, формирующему действительность, которая враждебно третирует высшие достижения природы в отрасли человека.

Удивительно же другое: что в последнем пункте природы вещей вступает сама с собой в коренное противоречие; с одной стороны, она заданно рождает гениальное существо, посредством которого осуществляется ее воля, а с другой стороны, отягощает бытие

гения окаянной действительностью, которую сама же и формирует, и, как правило, до срока сводит его в могилу. Примирение этих противодействующих векторов внутри одной силы, видимо, возможно только в следующей плоскости: существо, обреченное природой на гениальность, способно самореализоваться лишь в столкновении с безобразной действительностью — и чем безобразнее действительность, тем рельефнее прорезывается гениальность, недаром Россия дала миру такую многочисленную плеяду великих художников — и, стало быть, губительная действительность есть вполне штатная ситуация, и даже неременное условие становления гениальности, вроде кислорода для получения стали из чугуна, которое в наших пределах действует по принципу поговорки: «Русского побей — часы сделает». Надо полагать, что природа вещей и в могилу сводит писателя во благовремение, то есть немногим прежде того, как прекратится его реакция с безобразной действительностью, и он рискует на выходе выродиться в рантье, живущего на проценты от бывшего служения родимой литературе; впрочем, с гениями природа никогда таких жестоких шуток не допускала и позволяет себе назидательно подкузьмить только служителям той механической ереси, которую мы называем социалистическим реализмом. Потому что, как ни крути, а всякий писатель, то бишь гений, — это чадо самой природы, зачатое, выношенное, рожденное, воспитанное по какому-то горнему образцу, и, естественно, мать-природа стоит за него горой, то есть по-своему лелеет и опекает, но только безжалостно, как отцы учат плавать своих ребят.

Другое дело, что происхождение гения все же остается одной из самых глубоких тайн. Ведь не бывает так, чтобы на картофельной грядке вдруг выросла финиковая пальма, или из девятикопеечного яйца, да еще помещенного в холодильник, вдруг вывелась птица Феникс, а вот в глухом сибирском селении, среди бедных избушек, выстроенных по заветам древних славян, где родители матерно журят свое хулиганистое потомство и после шести часов вечера не найти ни одного трезвого мужика, ни с того ни с сего нарождается существо настолько изощренной организации, что, совпадая какими-то болевыми точками разума и души с оголенными точками... ну, проводника, что ли, между источником животворного электричества и его потребителем

на земле, оно способно постигнуть некую суть, запечатленную в образе человека, и представить его в настоящем виде, который недоступен смертному большинству частью по врожденной слепоте, а частью из-за отсутствия интереса; что, вооруженное в сообразных масштабах навыком созидания живого из ничего — даже не из глины, а просто из ничего, — это существо способно воссоздать любой фрагмент жизни, который будет больше похож на жизнь, нежели она сама на себя похожа; что, наконец, через постижение некой сути это фантастическое существо безошибочно ставит диагноз больному нашему бытию — все от человека, трансформирующего животворное электричество на свой бесноватый лад, и беда не в конституционной монархии или разгуле свободы слова, а непосредственно в Иванове, Петрове, Сидорове со всеми их вредными свычаями и обычаями, которые и свободу слова могут превратить в препирательство перед схваткой, и конституционную монархию оборудовать под Эдем. В общем, не скажешь более того, что вот в 1929 году в алтайском селении Сростки, в Крапивном переулке, дом № 31, по образу и подобию хомо сапиенс, родился гений, который обогатил человеческую культуру; такое случается иногда: вот в деревеньке Домреми родилась ненормальная девочка, и мир приобрел бессмертную героиню. Иными словами, — поскольку существует подозрение: есть вопросы, которым претят ответы, — нужно оставить в покое вопрос о том, каким именно образом произошел Шукшин из питательной среды его рождения, детства, отрочества, юности и так далее. Ну отца у него несправедливо посадили, так ведь и у Жоры Коровина, который живет на 7-й линии Васильевского острова, тоже отца посадили ни за что ни про что, а он ночной сторож и мешками ворует сахар. Правда, есть слух, что матушка Василия Макаровича была изумительная рассказчица, то есть выдумщица историй, и, может быть, именно она заронила в его плодотворное сознание охоту к конструированию миров... И все же это вторичное обстоятельство, природа первичного остается от нас по-прежнему сокровенной, даже если принять в расчет, что многие матушкины истории он потом превратил в рассказы. Да и какие, собственно, вторичные обстоятельства, пускай даже самого исполинского свойства, способны преобразовать деревенского паренька в доверенное лицо мирового духа?

Хочешь не хочешь, приходится уповать на какую-то чудодейственную внутреннюю работу, изначально замышленную природой на материале именно такого-то и такого-то деревенского паренька; вот как природа в чреве своем из простого металла сотворяет сокрушительные элементы вроде  $U^{238}$ , так она по своему капризу и гениев сотворяет. В доказательство можно предложить следующую шараду: страстотерпец Солженицын прошел все круги ада, включая остракизм, давно позабытый цивилизованными народами, и оставляет после себя многотомную критику безобразий, а граф Толстой всю жизнь сиднем просидел в своей Ясной Поляне, кушая спаржу да артишоки, и явил миру новое евангелие. То есть откуда что берется — это не объяснить. Вот откуда взялся Паша Холманский, он же Колокольников, один из самых животрепещущих героев нашей новейшей литературы, из чего прорезался «Алеша Бесконвойный», первый русский рассказ о свободе личности, как получился «Танцующий Шива», олицетворенная нервная система нашей беспутной жизни, или «Беседы при ясной луне» — ее странно-одушевленная подоплека... И ведь что любопытно: этого нельзя выдумать, нельзя пересказать с чьих-то слов, а можно только схватить в эфире и преобразовать в художественную прозу, пропустив через «черный ящик»<sup>1</sup> своей души. Словом, не объяснить, «из какого сора» явился шукшинский мир, эта скрупулезная анатомия русской жизни 60-х и начала 70-х годов, по которой грядущие поколения будут о нас судить; ведь не по Большой Советской Энциклопедии они будут о нас судить, и не по нудным эпопеям Героев Социалистического Труда, и не по беллетризированным прокламациям самиздатовцев, а по скрупулезной анатомии, совершенной Василием Шукшиным.

Уместен еще и такой вопрос: почему Шукшин — это последний гений? Неужто после Шукшина у нас так-таки и не было никого? Были, конечно; были проникновенные описатели внутренних миров, точнее, своего собственного, более или менее фальшиво резонировавшего с нервом реальной жизни, были честные плакальщики по умирающему селу, нравоучители на вымучен-

---

<sup>1</sup> Термин, существующий у физиков для обозначения того места цепи, где процесс не поддается исследованию, хотя и выходит на заведомый результат.



ных примерах, изобличители, не лишённые чувства слова, забавные анекдотчики, прилежные изобразители народного быта, но пороку из них не выдумал ни один. Между тем неподдельный гений есть как раз выдумщик порока, то бишь родитель какого-то нового бытия, то бишь он берет старое, привычное бытие, выворачивает его наизнанку, обнаруживая подкладку, технику кроя, своеобразие шва и органически перелицовывает его в новую вещь, отвечающую сезону и исконному понятию о прекрасном. В этом смысле гений, разумеется, несколько Саваоф, несколько бог-отец, тем более что он тоже неограничен во времени и в пространстве.

А где ты их, спрашивается, наберешься, таких умельцев, если, по всем приметам, их и рождается-то всего ничего, если у нас даже настоящие портные повывелись, как бизоны... Да еще то нужно принять в расчет, что в среднем мы каждые семьдесят лет оказываемся на краю культурной, государственной, этнической или еще какой-нибудь катастрофы; естественно, что о каждом взлете российской словесности в этих условиях думаешь, как о последнем, вот поневоле и впадешь в то опасливое убеждение, что гений Шукшин — это последний гений. Но даже если он и по счету последний гений, все равно неизглаголимое спасибо, ибо природа оказала нам полное благоволение, послав напоследок гения Шукшина, который и явился во благовремение, и удалился во благовремение, в тот самый погожий осенний день, когда они с Георгием Бурковым, проснувшись, позавтракали чем бог послал, выпили по немалому кофейнику кофе и вышли на па-лубу дожидаться армейского «козелка»...

### **БОГ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗЕРКАЛО РУССКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ**

А ведь можно себе представить постановление о Блоке от какого-нибудь сорок восьмого года, в котором его клеймили бы как певца трактирной стойки, вредительски марающего облик советского человека. Живо можно себе вообразить и следующую картину: скажем, 1918 год, тульская губчека, следователь сидит в круглых очках, а напротив него великий писатель земли русской...

Следователь:

— Что это вы себе позволяете, гражданин Толстой?! Тут, понимаете ли, разворачивается беспощадная классовая борьба, всякий сознательный элемент ополчается против гидры контрреволюции, которая спит и видит, как бы задушить диктатуру пролетариата, а вы опять — «Не могу молчать»!

Великий писатель земли русской:

— Извините, не понимаю я этого тарабарского языка. А впрочем, я еще не так опишу ваших башибузуков. Помилуйте, ведь это половецкие пляски какие-то, а не власть!

Даже не хочется себе представлять, какие оргвыводы могли бы последовать из этого разговора. То есть бог есть уже потому, что наши великие писатели вовремя умирают.

Еще было бы хорошо, если бы они именно писателями помирали, а не пророками, не прокурорами и водителями человечества, к чему между ними наблюдается стойкое тяготение, ибо эволюция русского писателя от гения художественного слова до Магомета своего времени, как правило, ни к чему хорошему не приводит. При особом настрое культурной российской публики, при повадках отечественных властей, при конструкции нашей народной, гражданской, семейной жизни, при складе таланта русского литератора, при характере нашей родимой литературы — из этого получается чуть ли не анекдот, то есть именно анекдот: «Пахать подано, ваше сиятельство!» — ну разве это не анекдот?

Можно попытаться хотя бы самым поверхностным образом проследить эту дерзкую эволюцию — от сочинителя до пророка. Любопытно, что первые потуги в этом направлении наблюдаются на ранних этапах жизни: Гоголь еще в отроческие годы предчувствовал «жребий необыкновенный», Достоевский еще кадетом поражал всех исключительным самомнением, а Лев Николаевич Толстой еще в бытность молоденьким артиллерийским офицером отличался таким глубоким предчувствием своей участи, что после первой же публикации («История моего детства» в журнале «Современник» за 1852 год) написал Некрасову вызывающе-ругательное письмо, пеняя ему на самовольную редактуру, которое при желании можно было принять и за форменную картель<sup>1</sup>. Между тем писатели обычного

---

<sup>1</sup> Письменный вызов на дуэль.

дарования на ранних этапах жизни все были обычные шалопаи; правда, Гоголь в быту тоже был пересмешиком и балагур, Достоевский — искатель мрачных наслаждений, а Толстой на пару с Тургеневым отдал обильную дань цыганам, шампанскому и любви, только для них это были обстоятельства непринципиального характера, проходные, вроде первого чуда Иисуса Христа, который превратил воду в вино на какой-то свадьбе.

Со временем то ощущение какой-то огромной животворящей силы, которой природа наделяет великих наших писателей, склонных к роли живого бога, вырастает в физическую способность создавать новые мироздания; ведь великая литература — это именно вновь созданные мироздания в отличие от изящной словесности, каковая по мере возможного отображает миры, существовавшие искони. Похоже на то, что именно эта физическая способность в конце концов и сбивает великого писателя с пути истинного, то бишь художественного пути: неземное величие его творческой силы, нечеловеческий размах ее таковы, что он уже чувствует право непосредственного влияния на несовершенного человека, и поэтому чем дальше, тем более настраивается на дидактическую дистанцию, где пунктом А может быть «Анна Каренина» или, скажем, второй том «Мертвых душ», а пунктом Б — «Фальшивый купон» или «Нужно любить Россию». На следующем этапе великий писатель и вовсе отвращается от чисто художественной работы, которая уже представляется ему несерьезной и малоинтересной игрой, постигнутой настолько, что проигрыш исключен, и его, конечно, тянет говорить с читателем без околичностей, напрямки, дескать, белое — белое, черное — черное, помимо всяких там гипербол, аллегорий, описаний природы и прочих художественных затей. Тогда настает черед обличительной публицистики, работающей под сухово-кобылинским девизом: «Богом, правдою и совестью оставленная Россия, — куда идешь ты в сопутствии твоих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?!» А там уж и до новой религии недалеко.

Толстой непросто пришел к своему чистому христианству — через педагогическую деятельность, рационализацию помещичьего хозяйства, издание журнала и популярных брошюр, коннозаводство, разведение породистых свиней, болезни переходного возраста, «арза-

масский ужас», неотступный страх перед смертью, жажду смерти, духовное единение с крестьянством, кондовое православие, отрицание церкви, кропотливую работу над евангельскими сказаниями — и вот в конце концов родилось «толстовство», которое первоначально исходило не из самого глубокомысленного заключения, возбужденного вопросом о разумности конечного бытия: раз люди ручного труда не боятся смерти, ибо они безусловно веруют в воздаяние вечной жизнью за временную жизнь, отягощенную работами и заботами, то, стало быть, все дело в ручном труде. Если прибегнуть к излюбленному приему Толстого упрощать идею до нелепости, до каркаса, то импульс веры его таков: жизнь разумна не потому, что она разумна, а потому, что разумной ее считают люди физического труда. Отрицание собственности, войн, государства и провозглашение сущностью чистого христианства равенства, братства и любви меж людьми, реализуемых через непротивление злу насилем,— это было уже потом. Коротко говоря, толстовская литература переродилась в толстовство по двум причинам: из-за необъятного ужаса перед смертью и потому, что его религиозно-этическим идеям пришлось не впору завязка, кульминация, развязка и прочие хитрости повествовательного искусства. Тут уж, как говорится, рукой подать до новой религии, по крайней мере до вольнодумствия во Христе. А впрочем, это нормальная доля всякого выдающегося творца, у которого идеи значительно сложнее и богаче, нежели общеизвестные средства литературы. Недаром Толстой не умел писать, то есть недаром он многие десятки раз перелопачивал свои тексты, так как накал его мысли значительно превосходил подчас чисто технические возможности языка.

Сколько это ни удивительно, но превращение художника в пророка у нас всегда бывает омрачено некоторыми побочными эффектами не самого симпатичного свойства, интоксикацией в своем роде. Дело в том, что богу так же трудно среди людей, как среди малолетних преступников доктору философии: Иисус Христос, по свидетельству Евангелий, скорее был грозен, чем благодетен по отношению к иудеям, Гоголь, как только почувствовал себя «доверенным лицом мирового духа», в быту стал совершенно непереносим, Достоевский сделался гражданином-отшельником той планеты, которую сам же и изобрел. Что касается Льва

Толстого, то он был прямым тираном в границах своей идеи, и тут вырисовывается такая закономерность: чем фундаментальней, продуктивней, путеводительней новая нравственная доктрина, тем в большей степени автор ее деспотизируется, так сказать; но при этом он одновременно становится и рабом этой своей доктрины, способным воспринимать мир исключительно через ее догматы и постулаты, и даже он отчасти становится мизантропом, готовым атаковать самые невинные человеческие радости, от радости физической близости до искусства. «Балет же, в котором полуобнаженные женщины делают сладострастные движения, переплетаются в разные чувственные гирлянды, есть прямо развратное представление» — это не Победоносцев писал, не Иоанн Кронштадтский, а творец дяди Ерошки, Наташи Ростовской и двух гусаров. Или: «Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделем уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно — и главное — к своей жене» — и это написал не столпник какой-нибудь, не аскет, а живой человек, постигший все прелести плотской любви, знавший множество разных женщин и наплодивший с полтора десятка детей, законных и незаконных. Но этот пункт еще можно понять, ибо речь идет о болезни роста: мрачный ригоризм, в который Толстой впал на старости лет, объясняется тем же, что и влюбчивость молодежи.

Особенно зашорен и до капризности неуступчив Лев Николаевич был в отношении венца своей религиозной доктрины — идеи непротивления злу насилием, то бишь даже не до капризности — до смешного. Однажды какой-то студент из Тулы, исповедовавший толстовство, прямодушно его спросил:

— А что, Лев Николаевич, если на меня набросится тигр? Вот так просто и отдаться ему на съедение?

Толстой ответил с самым серьезным видом:

— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!

— Ну а все-таки! Предположим, на меня нападает тигр...

— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!

— Ну а все-таки!

— Да откуда же в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!

И так до полной невозможности продолжать теоретическую беседу.

Видимо, Лев Николаевич чувствовал-таки слабину в своем учении, его неполную защищенность, но тем настойчивее он проталкивал его в жизнь. В отличие от чистых философов, мыслящих отвлеченно и в редчайших случаях проецировавших свои социальные теории на практику бытия, наш великий художественный мыслитель настойчиво прививал на российской почве свое новое христианство — так наши политики внедряют разные новшества и реформы: чуть придет на ум какая-то социально-экономическая идея, сейчас ее в массы, невзирая ни на какие реальности, закономерности и противопоказания этнического порядка. Ведь он не только пропагандировал толстовство путем печатного слова, хотя уже и «слово его было властью», как сказано у Луки, но и сам пахал, косил, учил грамоте крестьянских детей, тачал сапоги, шорничал, прибирался у себя в комнате и принимал исключительно растительную пищу, отчего постоянно страдал желудком. И это живя среди изящно одетых полубездельников, любящих покушать и все такое прочее, владея огромными поместьями и миллионным состоянием, будучи, сдается, крупнейшим писателем в истории человечества, да еще существуя в условиях государственности, разве что приличной скотоводческим племенам. Товарищи по перу за него от чистого сердца переживали, зачем он не пишет художественное и выставляет себя на посмешище дуракам, окрестные крестьяне подозревали его в двуличии, дети косились, а супруга, Софья Андреевна, бывало, подначивала за обедом:

— Призываешь всех к опрощению, а сам спаржу кушаешь...

И вот тут мы упираемся в один драматический пункт: несмотря на мировую славу, богатство, отлично налаженный быт, Лев Николаевич, возможно, был несчастнейшим человекописателем своего времени, ибо он был мучеником идеи и своим духовно-нравственным существом принадлежал вечногрядущему, как Спиноза или Паскаль. Самые твердые его последователи были из блаженных, обскурантов либо из простаков, с властями предержавшими он рассорился насмерть, и его только через мировую славу не упекли, но обыски дела-

ли и тайных надзирателей приставляли, большинство домочадцев были его идеологическими противниками, например, Андрей Львович принципиально отправился на войну, а Лев Львович даже написал художественное опровержение на «Крейцерову сонату»; что же касается Софьи Андреевны, то она точно в пику своему великому мужу, отказавшемуся от всех прав собственности, нанимала кавказцев для охраны угодий от яснополянских крестьян, завела в Москве торговлю книгами Льва Толстого, позволяла себе интриги со знаменитостями и своими финансовыми претензиями вечно не давала ему житья. И дети и супруга отлично понимали, что Лев Николаевич гений, что гению извинительны любые причуды, хоть ходи он на голове, и что ему следовало во всем решительно потакать, но они понимали это чисто теоретически, потому что нужно быть сколько-нибудь Толстым, чтобы соединить теорию с практикой, какой бы причудливой эта теория ни была, а они оказались Толстыми, можно сказать, нечаянно. Наконец и умные люди стали с усмешкой посматривать на Льва Николаевича, поскольку Шекспира он ни в грош не ставил, но зато призывал литераторов учиться мыслить у юродивого Сютаева, а писать — у яснополянских ребятишек, сидевших за партами в его школе.

Но мало этого: цель и смысл его жизни, чистое христианство, в народе скудно принялось и надолго не прижилось, — распространившиеся было колонии толстовцев распались еще до Великого Октября. Кстати сказать, это не совсем ясно: традиционное христианство пережило два тысячелетия, евангелисты, пятидесятники, молокане, духоборы, старообрядцы существуют по наши дни, а толстовская ересь как-то не прижилась. Видимо, невосприимчивость народа к чистому христианству в определенной степени была обусловлена неким аристократизмом самой религиозной идеи и сильным привкусом художественности в ее догмах, а это, как говорится, непонятно широким массам. Вместе с тем толстовство вообще не было рассчитано на живого, ординарного, слабого человека, то есть на огромное большинство. Христос тем-то и был премудр, что выработал общедоступное нравственное учение, основанное, в сущности, на прощении, которое мог исповедовать, а мог не исповедовать и раб и господин, и неуч и грамотей, и стойк и шалопай, и умница и дурак. Толстовство же налагало на человека без малого непосильную

схиму, потому что, во-первых, оно предполагало в каждом неофите духовную подготовленность самого Толстого, во-вторых, по некоторым кардинальным пунктам оно входило в противоречие с человеческим естеством, в-третьих, лишало свободы выбора и не предусматривало спасения для отступников, в-четвертых, ставило своей целью не столько потустороннее блаженство, сколько царствие божие на земле. Между тем величайшим мыслителем всех времен и народов, видимо, будет тот, кто сумеет подвести под общий, так сказать, все-разрешающий знаменатель временное и вечное, силу и слабость, добро и зло.

Таким образом, Толстой сочинил вполне утопическую религию, интересную разве что для тончайшего жирового покрова человеческой гущи, так называемого культурного общества, ибо рабочему, крестьянину, нищему, солдату, ремесленнику некуда и незачем опрощаться, и не могут они пользоваться результатами чужого труда, и медицина для них практически недоступна, и в балете они не бывают, «где полуобнаженные женщины делают сладострастные движения», и любовь-то для них скорее отправление организма. К этому огромному народному большинству обращен единственно догмат непротивления злу насилием, но ведь на трезвый взгляд нашего положительного народа, который имел традицию насмерть забивать конокрадов, по большим праздникам устраивал массовые побоища, нередко впадал в жестокие межевые войны и топил в колодцах своих помещиков, учение о непротивлении злу насилием есть барская забава, и более ничего, вроде барометра или ланкастеровой школы взаимного обучения. Впрочем, и культурному обществу пришлось не совсем ко двору чистое христианство, потому что оно нашло в нем много антикультурного, обращенного вспять, замешанного на старческой озлобленности против кипучей жизни, что-то похожее на теперешний хомейнизм.

Но самое знаменательное — это то, что и основатель толстовства, собственно граф Толстой, оказался не в состоянии его неукоснительным образом отправлять. Какого пункта толстовского учения ни коснись, все у Льва Николаевича выходило наоборот, а если и не совсем наоборот, то, во всяком случае, не в скрупулезном соответствии с догматическим толстословием. Он отрицал собственность на землю и капитал, но так



до самой смерти и остался миллионером и крупнейшим землевладельцем, поскольку фактически избавиться от движимого и недвижимого состояния ему помешала семья, мягкотелость, чадолюбие и еще многие превходящие обстоятельства. Толстой исповедовал непротивление злу насилем, однако он, глазом не моргнув, вызвал на дуэль Тургенева за то, что Иван Сергеевич «обманул» сестру Машу, и два часа прождал автора «Муму» с двумя заряженными дробовиками в условленном месте, потому что очень любил сестру. Толстой ратовал за отказ от роскоши, за опрощение быта, но сам всю свою жизнь прожил в графском поместье, потому что у него не хватало решимости бросить многочисленную семью. Толстой призывал отказаться от эксплуатации чужого труда, однако его обслуживали повара, садовники, конюхи и прочая челядь, неизбежная при многочисленной семье и графском укладе жизни. Толстой почитал любовь между людьми основной ипостасью бога и в то же время от души недолюбливал горожан, жандармов, царя, композитора Танеева и еще множество разных лиц. Наконец, Толстой как минимум половину жизни дезавуировал искусство и медицину, между тем при нем жили личные доктора, а искусство продолжало его питать, даже если это была отъявленная публицистика, поскольку и ее Толстой исполнял в строгом соответствии с правилами искусства. Вот, скажем, Сумароков или Николай Успенский, те, действительно, жили просто, в согласии со своими отпетыми убеждениями: Сумароков ежедневно посещал ближайший трактир, пересекая Кудринскую чуть ли не в ночной рубашке с аннинской лентой через плечо, а Успенский буквально умер под забором в окрестностях Смоленского рынка, где он накануне купил перочинный нож.

Коротко говоря, толстовство было религией, основанной Львом Толстым для самого Льва Толстого, которую основатель был не в состоянии отправлять. То есть он был именно не в состоянии ее отправлять, а нисколько не лукавил, не лицемерил, не фарисействовал и потому был вдвойне несчастнейшим человекописателем своего времени, тем более что многие склонялись к тому мнению, будто граф как раз лукавит, фарисействует, лицемерит. А дело-то было в том, что его утопическая религия никак не проецировалась на практику бытия. Уж на что Христос был последовательным

трибуном своей всегуманистической идеи, и тот прибежал к хлысту — что уж тут говорить о сумбурном российском гении, который во исполнение своей веры пашет, косит, учит грамоте крестьянских детей, тащит сапоги, шорничает, прибирается у себя в комнате, принимает исключительно растительную пищу, отчего постоянно страдает желудком, а выходит у него максимум личный протест против общественных безобразий, что-то вроде голодовки профессора Хайдера... Словом, Толстой разделил трагедию бога, который бытует среди людей, трагедию Будды, Моисея, Христа, Магомета, Лютера; все они были законченные идеалисты в расхожем смысле этого термина, ибо верили в то, что путеводное слово в состоянии спасти мир, но обращено-то оно было к ЧЕЛОВЕКУ, а их не так уж много среди людей — все больше великовозрастные подростки, не вполне закончившие даже биохимический курс развития, которые воистину не ведают, что творят. Будда проповедовал мир в себе и сулил праведникам нирвану, Моисей дал грозный закон, по идее исключаящий преступления против личности, Христос принес великое учение о любви как залоге вечного бытия, Магомет обещал праведникам райские кущи за миролюбие и терпимость, Лютер очистил веру от злобы церкви, в смысле и просто злобы и злобы дня, а что получилось на самом деле: буддисты до того довоевались между собой, что их голыми руками закабалили христоролюбивые англичане, иудеи нынче чуть ли не самая агрессивная конгрегация, которой нипочем законодательство Моисея, нет на свете такого греха, какой за две тысячи лет не взяла бы на себя христианская церковь и все поколения истовых христиан, магометане со временем забыли завет пророка и выродились в узколобых ненавистников всех немагометан, а Лютер не успел навеки закрыть глаза, как его реформа вылилась в десятилетия дикой междоусобицы. И это при том, что все поименованные мессии как-никак учитывали возможности бедового человека, ориентируя его, в сущности, не столько на вечное блаженство загробной жизни, сколько на упорядочение земной, но человек благодаря своей слабости вышел, как говорится, из положения, переориентировав учение на свой лад: дескать, вечное блаженство подай сюда, но уж на грешной земле, «по бесконечной милости Твоей», мы всласть поизгаляемся друг над другом. В общем, многообещаю-

щая концепция воздаяния вечной жизнью за сколько-нибудь добродетельное времяпрепровождение на земле в огромном большинстве случаев пришлось не по нашему брату, бедовому человеку, как бывает не по Сеньке шапка, карьера не по достоинствам, технология не по культуре производственного труда. Отсюда единственное свидетельство в пользу воинствующего атеизма, стоящее хоть что-то: пророки никогда не уповали на естественную нравственную эволюцию человека, вполне допустимую уже потому, что животворный принцип нашего мироздания заключается в движении от сравнительно несовершенного к сравнительно совершенному, а неизменно ставили на революцию, на скачок, который закономерен для исторического развития, но в ходе накопления добродетели — исключен и, значит, перпендикулярен самой природе. Следовательно, слабый, дюжинный человек в принципе не способен исполнять учение божества, которое, пожалуй, требует невозможного, и религия остается для него лишь средством единения с братьями и сестрами по несчастью, источником надежды и утешения. Это, конечно, тоже кое-что, но понимать бога в столь усеченном виде — значит его почти вовсе не понимать. Между тем напрашивается такая формулировка: если мы с вами стоим на том, что бытие человека разумно и закономерно, а не бессмысленно и случайно, в чем изначально и расходятся люди верующие с атеистами, то Бог, или Природа, или Высшая Сила, или Что Угодно есть прежде всего такое организующее начало, которое выпестовало беспримерное в мироздании существо из глупой и бесчувственной обезьяны, с тем чтобы воплотить отвлеченную идею гармонии и добра в конкретном, живом, развивающемся материале; в пользу этого определения божества свидетельствует уже то, что осмысленная гармония и добро худо-бедно бытуют среди людей, по крайней мере, полтора миллиона лет, в то время как до рождения человека на земле не существовало ни осмысленной гармонии, ни добра. Другими словами, бог есть то, что в критически благоприятный момент и в критически благоприятных условиях самореализовалось через человека из такой же объективной, хотя и эфирной, реальности, как закон всемирного тяготения. Это, понятно, немного чудо, но разве сам человек не чудо? Разве не чудо любовь, искусство, разум, как бы отраженный разумностью вселенского обустройства? Разве

не чудо самая наша жизнь, если взглянуть на нее глазами не человека из очереди, а неиспорченными, вроде только-только открывшимися глазами?.. Из этого вытекает, что исповедание Бога, или Природы, или Высшей Силы, или Чего Угодно есть посильное служение гармонии и добру, каковое служение скорее всего не обеспечивает бессмертия, этого, в общем-то, странного, даже бессмысленного дара в рассуждении неизъяснимого счастья земного существования, хотя и ограниченного во времени и в пространстве, но тем более дорогого, однако безусловно обеспечивает мирное, благополучное житие, которого не знает даже самое выгодное злодейство, а также непротивление злу насильем, все одно сопряженное со многими неудобствами, что и доказывает биография Льва Толстого. Ведь посильно, то есть по возможности деятельно, служить гармонии и добру — значит соответствовать цели самой Природы, почему она и берет своих верноподданных граждан под защиту и неусыпное попечение, в частности, закономерно освобождая их от грубых закономерностей и случайностей диалектического материализма, обрекающего нас на многие страдания и несчастья. Как Уголовный кодекс освобождает от наказаний законопослушных граждан, как у хозяйки, готовящей какой-то деликатес, ни при какой погоде не получится динамита, как пешеход никогда не попадет под автомобиль, если он в точности соблюдает правила уличного движения, как мечтателю, глядящему в небо, ни за что не свалится на голову кирпич, так и верноподданному гражданину Природы нипочем естественные несчастья и отрицательно заряженные чудеса, ибо Природа ведет его по жизни как бы под локотки, невзирая на то, ходит он в церковь или не ходит, говеет или не признает никаких постов, не противится злу насильем или преимущественно занимается женщинами и вином — поскольку не в этом дело, а дело в том, христианствует ли он формально или же на деле служит гармонии и добру. Наконец осознанная работа на цель Природы воспитывает в человеке особенный взгляд на жизнь, который потешно и в то же время довольно точно выразили французы в своей пословице: «Единственное настоящее несчастье — это собственная смерть».

Стало быть, естественное вероисповедание человека есть чистая радость, потому что оно необременительно,

а также согласно с возможностями и предназначением человека, но литературное христианство, сочиненное Львом Толстым, — общественная нагрузка, замешанная на старческом ригоризме, противном всему живому, которое и сам автор оказался не в состоянии исполнять, и за пределами Ясной Поляны оно не получило сколько-нибудь заметного распространения, так как плохо сочеталось с реалиями русской жизни и не отвечало запросам так называемых широких народных масс. Более того: это огромное историческое счастье, что у нас накрепко толстовство не прижилось, иначе мы в лучшем случае скатились бы к эпохе Владимира Мономаха, как это произошло в Иране на свой фасон, а в худшем случае превратились бы во франко-англо-германский протекторат, вроде Китая времен заката маньчжурской династии, откуда вывозили бы в метрополию хлеб и нефть, а ввозили бы опиум и жевательную резинку. Все это навеивает такое соображение: поскольку религиозный пророк — это такая же профессия, как медик, писатель, инженер, и поэтому подразумевает особый талант, особую подготовку и особую организацию созидательного ума, то все-таки было бы лучше, если бы «сапоги тачал сапожник, а пироги печи пирожник», то есть если бы развитием религий занимались бы богословы, а писатели занимались бы своим прямым делом — просвещением души, поскольку во всех прочих умственных отраслях, включая философию и политику, они почему-то всегда выступают в качестве озлобленных менторов, обиженных на действительность, правительство, народную нравственность, категорический императив и всю нашу Солнечную систему.

Но, с другой стороны, очевидно то, что вообще толстовское протестантство было встречено в русском обществе, во всяком случае, с пониманием, так как оно представляло собой некую суммарную реакцию на жестокость, бестолковость монархического режима, некультурность всяческого начальства, дерзкую капитализацию экономики и общественной жизни, константную народную бедность — словом, на нормальное всероссийское неустройство. Ведь Толстой вооружался не против Христа, а против государственных чиновников в рясах, извращающих его веру, не против промышленных городов, погрязших в рабском труде и пьянстве, а против растления рабочего класса средствами расширенного капиталистического воспроизводства,

не против медицины как таковой, а против преподобной отечественной медицины, врачующей отдаленные следствия общественных неурядиц, не против искусства вообще, а против искусства, налаженного для бездельников и эстетов. В качестве же невольного политика — а в России художнику очень трудно не снизойти до политики, в чем, собственно, и беда,— Толстой пользовался особенной популярностью, и это немудрено, так как, по существу, он был эсером с уклоном в анархосиндикализм, ибо не признавал частной собственности на землю, видел в крестьянине основную фигуру русского общества, протестовал против правительственного террора, призывал игнорировать государственные институты и, таким образом, разделял платформу самой широкой и влиятельной партии той эпохи. Ленин этой платформы не разделял, но справедливо увидел в Толстом «зеркало русской революции» — жаль только, что он в нем и зеркало русской контрреволюции в свое время не разглядел. А ведь Толстой и в этом альтернативном пункте оказался своего рода буревестником предбудущих потрясений. Дело в том, что народная воля, воспроизведенная в толстовской литературе, не совсем сочеталась со стратегией и тактикой большевизма, а та часть его учения, которую можно назвать созидательно-гуманистической, ну никак не гармонировала с практикой социалистической революции, и вовсе не тот народный слой пришел в семнадцатом году к политической власти, какой в свое время мог воспринять толстовское чистое христианство, особенно в отрасли братской любви и непротивления злу насилеи. Правда, Толстой снисходительно отнесся к народному возмущению 1905 года и в кровавом насилии исключительно правительство укорял, но ведь в 1917 году функцию подавления взял на себя как бы народ в лице Красной гвардии и вождей того самого рабочего класса, который Толстой еще когда не одобрял за оторванность от природных корней, питающих личную нравственность, за тлетворную, лубочную квазиобразованность и казарменные замашки. Нетрудно было предугадать, что этот народный слой уж больно лихо крутанет колесо истории, что он, конечно, справедливо, запрограммированно распорядится землями, заводами и даст мир извоевавшемуся русскому мужику, но при этом развернет неслыханный террор, не идущий ни в какое сравнение с масштабами николаевского насилия, тем более

непростительный, непонятный, что обусловлен-то он будет не амбициями обиженных помещиков и не претензиями обобранных промышленников и торговцев, а междуособицей революционных российских партий,— достаточно будет напомнить, что звонком к «красному террору» послужили пять выстрелов эсерки Фанни Каплан, бывшей подпольщицы и яростной инсургентки, впоследствии сожженной в бочке из-под бензина. Нетрудно было предугадать, что этот народный слой с ямщицким размахом поведет войну обязательно всех против всех, с непременными грабежами под уклончивым названием «реквизиций», с окончательным развалом промышленности и торговли и, как следствие этого, экономическим насилием над крестьянством. Нетрудно было предугадать соответственно январский расстрел рабочей демонстрации в 1918 году, которая пыталась защитить Учредительное собрание, поголовную перепись и уничтожение петроградского офицерства, возрождение института заложников, целые баржи пленных белогвардейцев, пускаемые на дно, закрытие всех небольшевистских газет и прочее в том же роде. И это все в стране, где в течение столетия обожественная литература, в том числе и сочинения Льва Толстого, культивировала любовь к своему народу, сострадание к ближнему, свободную мысль, чистоту помыслов и деяний, высокий настрой души! И это при том, что с начала первой русской революции до смерти премьер-министра Столыпина было казнено что-то около тысячи отъявленных террористов и боевиков, а идейная оппозиция отделялась юмористическими сроками, и то Лев Толстой написал страстную филиппику против правительства, которая была напечатана везде, кроме богоспасаемого Российского государства! Поэтому нетрудно было также предугадать, что последние истые толстовцы покорно помрут от голода или по чрезвычайкам, но юношество, воспитанное на Ростовых да на Болконских, потянется к Дутову да к Краснову. Коротко говоря, мир, воссозданный Львом Толстым, который вырос из глубочайшего понимания русского человека и русской жизни и на котором вскормились миллионы культурных людей, вошел в антагонистическое противоречие с Октябрем, так что предсказать грядущую гражданскую междуособицу можно было не только исходя из неизбежного противодействия экспроприированных экспроприаторов, а просто даже

по «Детству», «Отрочеству» и «Юности», не говоря уже про «Стыдно» и «Не убий».

Видимо, и сам Лев Толстой и питомцы обожествленной русской литературы смирились бы с законной, так сказать, революцией, как страдающие зубной болью мирятся с бормашиной, кабы ее развитие неукоснительно контролировала интеллигентная головка РКП(б), и кабы она сама то и дело не скатывалась к вполне сарматским приемам отправления власти, и кабы непосредственными ее проводниками не были разные Чепурные; ведь революции плодотворны и сравнительно безболезненны только тогда, когда они направлены против абстракций, например, против данных общественных отношений в сфере промышленного производства, и губительны, если они направлены против людей, даже когда те суть конкретные носители этих абстракций, однако именно к этому направлению и питают слабость разные Чепурные; но тут уж ничего не поделаешь, ибо революции — самая благодатная пора для всякого рода наполеончиков, проходимцев и дураков. Отсюда беспримерный разгул страстей, уродливые крайности, самовластье, подавление всего, что не вписывается в программу III Интернационала, а главное, кровь, кровь, кровь. Ну что можно было ожидать от Толстого, доживи он до Октября? — опять «Не могу молчать»...

### СТРАДАНИЯ ПО РОССИИ

Это, собственно, не вопрос — отчего мы так легко расстаемся с отечественными талантами и так последовательно снабжаем ими Америку и Западную Европу, — поскольку ответ на него слишком уж очевиден: оттого, что талант в России есть сам по себе отрицание политического режима, как правило, жестокого, косного, малокультурного, а главное, антинародного по структуре и существу. Отсюда печальный реестр изгоев, какого не знает ни одна цивилизованная страна: от Курбского до Герцена, от Мечникова до Плеханова, от Куприна до Некрасова и целой культуры русского зарубежья. Особливого слова заслуживает случай Александра Ивановича Куприна.

Вот нынешние писатели живут как-то жидко, по общегражданскому образцу. Они не стреляются из-за филологических разногласий, не волочатся за ослепительными красавицами, которые им по праву принадле-



жат, не учат власти предрержащие уму-разуму и даже не устраивают причудливых кутежей; ну разве что раз в год напьется какой-нибудь «деревенщик» в Дубовом зале — вот и вся фронда кодексу строителя коммунизма. И то сказать: нынешний писатель — человек бедный, стесненный семейством, общественной деятельностью, разными страхами, а также огорченный равнодушием современников, которые вряд ли его поймут, если он, скажем, искупает в Москве-реке постового милиционера.

Иное — Александр Иванович Куприн, писатель колоритной натуры и, как следствие, затейливой биографии. По матери он был отпрыском старинного рода татарских мурз Кулунчаков, которые вышли из Казанского ханства еще при Василии Темном, а по отцу, письмоводителю земской больницы, крестьянином Тамбовской губернии, что и предопределило его фамилию: она происходит от тамошней речки Купры. Отца он не помнил за ранней его кончиной, а своим ордынским происхождением гордился с молодых ногтей; и действительно, Александр Иванович отличался незначительным ростом, квадратным телосложением крепыша, узким разрезом зеленых, прозрачных глаз и некоторой надменностью в общении с незнакомцами, да еще он не снимал с головы цветастую татарскую тюбетейку.

В семилетнем возрасте Куприн предпринял свой первый опыт в литературе, он написал стихотворение, которое открывалось следующей строфой:

В лучах запестреют цветочки,  
И солнышко их осветит,  
У деревьев распустятся почки,  
И будет прелестный их вид...

С тех пор Куприн возвращался к перу более или менее регулярно. Между тем он окончил кадетский корпус, Александровское юнкерское училище и на двадцатом году жизни был выпущен подпоручиком в 46-й Днепровский пехотный полк. После того как Куприна не допустили до экзаменов в Академию Генерального штаба за то, что он выкупал в Днепре полицейского пристава, он вскоре подал в отставку и начались его долгие скитания по Руси. Он работал на сталелитейном заводе в Волынцеве, торговал унитазами в Москве, одно время держал «Бюро объявлений, эпитафий, спитчей, острот и пр.», судил французскую борьбу в петер-

бургском цирке «Модерн», выращивал на Юге махорку, репортерствовал где ни попадя, домушничал в Киеве — это, впрочем, из чисто литературных, эмпирических побуждений — в Одессе летал с Иваном Заикиным на биплане, в Балаклаве спускался на дно морское и, говорят, горько жалел о том, что ему не дано побывать беременной женщиной и таким образом познать роды. То есть вон еще когда, с легкой руки Иегудиила Хламида, распространилось то наивное суеверие, будто писателю следует прежде всего познать жизнь через побродяжничество и, так сказать, разные физические упражнения, в то время как разуму очевидно, что писатель вовсе не тот, кто испробовал сто профессий, и не тот, кто пешком обошел страну, а, в сущности, тот писатель, у кого на плечах волшебная голова.

Надо полагать, не столько из-за буйного нрава, сколько из чувства мести к молодой своей обездоленности, Куприн в благополучные годы много безобразничал, или, лучше сказать, гусарил: хотя у него были и общечеловеческие чудачества, например, он обожал топить печи, он свободно мог нанять кавалькаду извозчиков под шляпу, трость, пальто, перчатки и прочие принадлежности; бывало, он заезжал верхом в фешенебельный ресторан и, не вылезая из седла, выпивал рюмку дворянской водки; однажды он послал в Ливадийский дворец императору телеграмму с просьбой о даровании Балаклаве статуса вольного города, на что Николай II, человек культурный, ответил ему пожеланием плотнее закусывать за столом; во время своих причудливых кутежей он, бывало, выписывал хор певчих из Александро-Невской лавры во главе со знаменитыми басами Здобновым и Ермиловым, обливал горячим кофе корифеев литературы и раз даже обедал на животе у одного замечательного поэта; женившись на Марии Карловне Давыдовой, владелице популярного издания «Мир божий», которая, между прочим, бивала его за пьянство посудой по голове, он образовал филиал редакции в ресторане «Пале-Рояль» и принимал литераторов под французское шампанское, шустовский ко냐к и «Староверочку», которую бесконечно исполнял огромный цыганский хор. И что должно быть особенно обидно для пишущей братии наших дней: такая искрометная литературная жизнь совершалась, по сути дела, совсем недавно, в предыдущую художественную эпоху, и еще в начале восьмидесятых годов были живы и

Петр Иванович Капитанаки, и Ольга Дмитриевна Ометова, любовница Юры Паратино, рыбака, контрабандиста, башибузука, и до сих пор стоят на месте купринской хижины три старые туи, живые свидетельницы былого. И до чего же привлекательна эта художественная эпоха! Вопреки фальшивым характеристикам нашего литературоведения, добрые это были для изящной словесности, можно сказать, благословенные времена: бог с ними, с причудливыми кутежами, но ведь тогда работали тысячи изданий и издательств самого разного направления и не было проблемы напечататься даже у графоманов, предварительная цензура после пятого года перестала существовать, корпус классиков отнюдь не власти формировали, писательский труд так высоко оплачивался, что тогдашние гонорары нынче не приснятся даже в ночь с четверга на пятницу, наконец, читающая публика благоговела перед писателем и вполне разделяла точку зрения Гегеля, который считал его «доверенным лицом мирового духа». Но прошло каких-то пятнадцать лет серебряного века русской литературы и воцарились иные ценности — писатели уступили статус живого бога генералам-от-пролетариата и почему-то быстро смирились с положением социально ненадежной прослойки, которую можно было отблагодарить за труды орденом на галоши и запросто взять в ЧК хотя бы за избыток человеческого достоинства. Те же из поверженных идиолов, что не смирились с новой культурной политикой, как известно, образовали вторую волну литературно-политической эмиграции — на этой волне оставил отечество и Куприн.

В отличие от тех своих товарищей по перу, кто не принимал Советской власти, так сказать, теоретически, Александр Иванович имел случай на практике убедиться в кавалерийских ее повадках: за статью в газете «Молва», написанную в защиту великого князя Михаила Александровича, действительно простого и доброго малого, который всегда резал правду-матку в глаза своей венценосной родне и даже в сердцах отстреливался от личной охраны, Куприн был арестован по приказу Зиновьева и доставлен в петроградский ревтрибунал; здесь его продержали только три дня и отпустили домой, но на всякий случай занесли в список заложников для показательного расстрела. Первой литературной работой, которую Куприн написал после освобождения, был гневный отклик на убийство комис-

сара по делам печати Володарского, застреленного эсером.

Видимо, так уж устроена психика истинно русского человека, что он принимает свою родину всякой, и нищей и обильной, и могучей и бессильной, как всякими принимают у нас матерей, или мужей, возвращающихся с войны, или расположение звезд на небе, и почитает первейшим сыновним долгом до конца разделить с родиной ее путь. Поэтому-то Куприн об эмиграции даже не помышлял, а, напротив, чистосердечно пытался сотрудничать с новой властью. В восемнадцатом году он составил проект общероссийской крестьянской газеты «Земля», которую собирался редактировать лично, и даже дошел с ним до Ленина, но проект, как говорится, спустили на тормозах; Владимир Ильич нашел в нем многие неприятные пункты, передал дело Каменеву, а тот, поволовнив какое-то время, газету решительно запретил, да еще и конфисковал значительные средства на ее издание, собранные по нитке. Таким образом, на первых порах романа с Советской властью не получилось, и Александр Иванович вернулся в свою Гатчину, где у него был «зеленый домик», стоявший по Елизаветинской улице (ныне улица Достоевского, 19а), и по старой памяти загулял с пропившимся миллионером Трознером и гусаром Минеем Бестужевым-Рюминым, потомком казненного декабриста.

Эмигрировал Куприн, можно сказать, нечаянно. В октябре 1919 году Гатчину заняли войска генерала Николая Николаевича Юденича, бывшего начальника штаба Кавказской армии, которые наступали на Петроград. Генерал чуть ли не в первый же день пребывания в Гатчине предложил Куприну редактировать газету «Приневский край» — Александр Иванович согласился; однако согласился он не из желания вести, в сущности, пустую армейскую газетенку, а потому что Юденич мобилизовал его в свою армию — Куприн же был трог в понятиях о чести русского офицера. Как бы там ни было, Александр Иванович получил в свое распоряжение походную типографию и отправился в действующие войска. Недели через две вслед за Куприным пустилась его семья — вторая жена Елизавета Морицевна и дочь Ксения, — так как Юденича уже погнали на запад, и они опасались остаться по разные стороны баррикад. Соединилась семья в городе Ямбурге, оттуда попала в Нарву, а затем оказалась в Ревеле вместе с остатками

белой армии. Дальнейший их маршрут был таков: Хельсинки, Копенгаген, Гуль, Лондон, Париж — и вот что интересно: не успел Куприн ступить на чужую землю, как он уже жаловался в письме к Репину на цивилизованных европейцев: «...это люди с другой планеты, селениты, морлоки, жители о-ва доктора Моро. Тоска здесь... Впрочем, тоска будет всюду, и я понял ее причину вовсе недавно. Знаете ли, чего мне не хватает? Это двух-трех минут разговора с половым Любимовского уезда, с зарайским извозчиком, с тульским банщиком, с володимирским плотником, с мещерским каменщиком. Я изнемогаю без русского языка!»

Цивилизованная Франция наши таланты не обладала, хотя за полтора века до 25-го Октября российские власти широко приютили жертвы 14-го июля, и даже такой неталантливый человек, как будущий король Людовик XVIII, осевший в Митаве, получал от императора Павла трехсоттысячный пенсioen. Так же, как Куприны бедовали во Франции, наверное, никто из наших литературных эмигрантов не бедовал. Дело доходило до того, что они открыли переплетную мастерскую и на продажу выращивали укроп, который французы в пищу не потребляют. Но, главное, в эмиграции Куприн ничего сколько-нибудь значительного так и не написал.

И тут возникает принципиальный вопрос: может ли русский писатель без России работать и просто существовать? Когда Достоевский выдумал формулу — «химическое единство», он многое объяснил в отношениях между русскими и Россией, но вопрос о русском писателе-эмигранте, кажется, остается еще открытым. Впрочем, и то не исключено, что закрыть его в принципе невозможно, потому что Гоголь свои «Мертвые души» в Италии написал, Тургенев бывал на родине, можно сказать, наездами, Герцен в эмиграции, собственно, и сделался нашим выдающимся публицистом, — хотя с него взятки гладки, ибо он был «гражданином мира», — Бунин в своем Грассе все самое сильное написал, а Лев Толстой, три раза собиравшийся эмигрировать в Англию, так и не отважился на существование без России, а Белинский еле-еле выдюжил две недели парижской жизни, а Пушкин за границей даже сроду и не бывал. Принимая во внимание такой патриотический разнoбой, уместно предположить, что вопрос о том, может ли русский писатель-эмигрант работать и

просто существовать, это вопрос выдуманный, а вовсе не принципиальный, и ответ на него лежит в плоскости самой нефилософской: кто-то может, а кто-то нет. Но кое-какие общетеоретические соображения он все-таки навевает. Например, замечено, что русскому писателю, живущему в условиях зарубежья, критически не хватает некой культурной ауры, которую в России образуют товарищеские пирушки, глубокое народное уважение к писательскому труду, русские женщины, жестокий разлад между горней внутренней жизнью и безобразной жизнью внешней, то есть гражданской, общественно-политической, бытовой, собственные дети, которые, как правило, получают ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца, одним словом, все то, что возбуждает почтительное внимание к жизни, иначе называемое интеллигентностью. Потом, у русской литературы есть два источника, которые действуют в более или менее строгих географических рамках, — это смертный страх и страдания по России. В том смысле смертный страх, что вот когда одного знаменитого убийцу тащили казнить в подвал, он панически расписывался на стенах огрызком карандаша, а во-вторых, русского культурного человека почти ничего не привязывает к жизни, кроме самой жизни, отчего он так ею и дорожит. В том смысле страдания по России, в каком у нас называются страданиями лирические частушки, и самые обожаемые чада суть беспутные и больные. Вне нашей культурной ауры и помимо обоих источников нашей литературы русский писатель чаще всего вырождается в писателя вообще, каким стал, например, Набоков. Это, конечно, тоже по-своему интересно, но ведь русский-то писатель тем и отличается от писателя вообще, что он сосредоточен на духовной жизни так или иначе несчастной личности, что Чистая Сила подрядила его на подвиг одухотворения человека до степени Человека. Поэтому поменять гражданство для русского писателя отчасти означает профессию поменять. Иной писатель-эмигрант и смерти уже, наверное, не боится, потому что, кроме самой жизни, у него есть вилла и счет в «Креди Лионе», и Россия представляется ему географической абстракцией, страной даже как бы маловероятной, точно она ему когда-то приснилась в кошмарном сне. Недаром русский человек меняется на чужбине и как человек: Куприн, например, почти сразу оставил свои княжеские замашки, не безобразничал, не интеле-

ресничал, не гусарил, не задибался — вот, спрашивается, почему? Наверное, потому, что в России писатель — святитель, а во Франции что-то вроде директора департамента. Зато в Куприне с особой силой проявилось все самое чистое и нежное, что составляло сущность его натуры, и, возможно, именно благодаря этому чудесному превращению он в отличие от многих своих товарищей по несчастью в конце концов вернулся к великой истине, запечатленной в нашей пословице — «Россия, что мать родная, какая есть, такая и слава богу». Домой Куприн возвратился в тридцать седьмом году, глубоко больным человеком, в полной уверенности, что «двадцать лет жизни пошли псу под хвост», скоро умер от рака пищевода и был похоронен на Волковом кладбище в Ленинграде. И вот почему купринский случай — это особый случай: Цветаева вернулась в Союз из-за мужа, Алексей Толстой с голоду, Горький потому, что Сталин обещал его сделать Саваофом советской литературы, а Куприн оттого, что он двадцать лет не жил в строгом смысле этого слова.

Как известно, большинство наших литературных эмигрантов так и остались за рубежом; то есть лучше, конечно, писать в России, но можно и за границей, Бунин вон даже Нобелевскую премию получил. Но с самой Россией-то как быть, как быть с этим мучительным ощущением «химического единства», от которого не в радость никакие европейские благополучия?! Вот ездил недавно один наш писатель во Францию: француженки, всюду вызывающая опрятность, в магазинах только черта лысого нет, все вокруг для человека и во имя человека, а он, отчасти, правда, под воздействием паров «Шато Нёф» урожая восьмьдесят первого года, целовал в капоты родимые «Жигули», которые ему изредка попадались; французам это было, конечно, дико, но товарищи по делегации его безукоризненно понимали.

Нет, можно, конечно, писать за границей, но лучше писать в России.

# Рассказы



Дело было в одном маленьком городке из тех, о которых у нас говорят — большая деревня. Назывался этот городок до того уморительно, что диву даешься, как только позволили нанести его на географическую карту, и что себе думал тот, кто это название выдумал, и откуда только выкопалось такое неприличное слово.

Сразу за городом, там, где улица Карла Либкнехта превращалась в колдобистую дорогу и начинала обрастать конским щавелем, репейником и лопухами, находился здешний аэродром. Аэродром был самый заштатный, глубоко местного значения, а впрочем, ходили слухи, будто его собираются снабдить бетонированной полосой, но слухи ходили, а полосу все не строили. Тем не менее эта полоса уже так навязла на языках, что как бы она взаправду существовала, и если прибавить к ней обшарпанное здание аэровокзала, ремонтные мастерские, цепочку самолетов, похожих на больших майских жуков, когда они готовятся к взлету, и три низеньких домика, выкрашенных голубоватой известкой, очень чистеньких в погожие дни и странно неопрятных в пасмурные, — то мы получим место действия одной скверной истории, о которой в другой раз даже и не хочется вспоминать.

Началось все с того, что пилот третьего класса Сергей Клопцов, худой человек с приятным лицом и гладко причесанными белесыми волосами, угодил что называется, в переделку. Но прежде нужно оговориться, что этот самый Клопцов был в отряде на хорошем счету: он считался грамотным и исправным пилотом, не пил, не безобразничал и со всеми

состоял в ровных приятельских отношениях. Разумеется, и за ним водились кое-какие слабости, но, поскольку Клопцов принадлежал к породе людей, которым во всем везет, они ему сроду боком не выходили. Скажем, была у него в городе женщина, которую он посещал два раза в неделю с такой аккуратностью, с какой обстоятельные люди моются по субботам или занимаются самообразованием, и в то время как прочие летчики время от времени наживали на интрижках различные неприятности — в маленьких городах на этом деле еще можно нажать различные неприятности, — у Клопцова и волки были сыты, и овцы целы. За эту везучесть его многие недолюбливали, и больше других соседи по комнате, а именно второй пилот Кукин и штурман Опекунов, от которых, однако, Клопцов выгодно отличался тем, что брился два раза в день, застилал постель по-военному и отправлялся на боковую чуть ли не с первыми петухами.

Теперь о Кукине, который был не похож на Клопцова, как лед не похож на пламень, — ну, с какой стороны ни посмотри, решительно антипод! Кукин был удивительно рыжий малый двадцати четырех лет от роду, с кроткими глазами навывкате, которые бывают только у людей, страдающих базедовой болезнью, и у людей с апельсиново-рыжими волосами. Саша Кукин только полгода как жил в отряде и тем не менее умудрился серьезно набедокурить: как-то под воскресенье он слетал за водкой в соседний районный центр. Его отстранили от полетов, и он запил горькую.

Как раз в тот день, на который пришлось завязка этой истории, Саша Кукин повздорил в столовой с начальником диспетчерской службы, потом выпил с огорчения три кружки пива, потом пошел домой, лег на кровать и стал размышлять о том, что из-за давешней ссоры в столовой его, вероятно, еще долго будут мариновать. Тут отворилась дверь и вошел Клопцов, который был бледен как полотно.

— Ты чего? — спросил его Кукин с некоторым испугом.

Клопцов не ответил; он лег на кровать одетым, чего за ним прежде не замечалось, заложил руки за голову и стал так пристально глядеть в потолок, как если бы он читал на нем что-то, набранное петитом.

Минут через пять Саша поднялся, принялся за бритье и скоро ушел, напоследок оглушительно хлопнув дверью.

— Ты там гляди, чтобы был ни в одном глазу!— вдогонку крикнул ему Клопцов.— Завтра нам с тобой ни свет ни заря лететь...

Саша вернулся и выглянул из-за двери.

— Не свисти! — сказал он.— Неужели помиловали меня!?

Клопцов отвернулся к стенке и проворчал:

— Опекунова нефтяники покалечили, в больнице Опекунов. Так что, кроме тебя, лететь некому. Одним словом, чтобы был ни в одном глазу...

Вернулся Саша в двенадцатом часу ночи и, как было заказано, совершенно трезвым. Он разделся, залез под легкое одеяло и стал смотреть на голубоватое пятно, которое наследила полоска лунного света, пробивавшегося из-за ситцевых занавесок. И вдруг он почувствовал, что Клопцов не спит.

«Чего это с ним сегодня? — подумал Кукин.— Ну просто человека взяли и подменили...» У него даже отбило сон при мысли, что, возможно, с Клопцовым наконец-то стряслось что-то такое, отчего после как-то подташнивает на душе, и Саша в темноте злопыхательски ухмыльнулся.

Это отчасти странно, но Саша Кукин недолюбливал Клопцова, в сущности, беспричинно, просто недолюбливал, как можно недолюбливать какое-либо яство, которое по-своему и вкусно и питательно, а душа к нему не лежит. По-видимому, дело здесь было в малопонятной и тем не менее весьма распространенной в нашем народе неприязни к людям обстоятельным, живущим не нашармачка, а тонко знающим, что они хотят и что произойдет с ними завтра, и, главное, всегда умеющим устроить это завтра в скрупулезном соответствии с тем, что они хотят. Но на беду Саша Кукин ведать не ведал, что такие люди способны на самые невероятные вещи, просто-таки черт знает на что, измени им невзначай их путеводительная звезда и приключись с ними что-нибудь негаданное, постороннее, неподвластное воле, желанию и расчету. С Клопцовым же приключилась следующая история...

Утром того злополучного дня он отправился в город за самой обыденной зубной щеткой, поскольку

из старой повылазила вся щетина. Неприятности начались уже с той минуты, как Клопцов сел в автобус: оказалось, что он позабыл взять мелкие деньги, без которых ему слегка было не по себе, как иному человеку без носового платка или расчески. Потом в магазине ему никак не хотели отдать двадцать четыре копейки сдачи, а норовили всучить на сдачу несколько карамелек. Из-за этих двадцати четырех копеек он опоздал на автобус и поэтому решил заглянуть к своей пассии, так как следующего автобуса нужно было ждать минимум полчаса. Вопреки ожиданию пассию дома он не застал, но зато застал в ее квартире многочисленную компанию: тут было человек пять парней, две совсем юные девушки и какой-то человек, который мирно спал на софе. Компания приветила Клопцова, и он, присев на крашенный стул, стал разглядывать девушек, говоря про себя: «Вот посижу пять минут с этими обормотами и пойду».

Как потом оказалось, клопцовская женщина уехала на две недели к родственнице под Тамбов и оставила ключи от квартиры своему двоюродному брату, который был мот, гуляка и вообще ветреный человек. Он был до такой степени ветреный человек, что соседи уже трижды науськивали милицию на его шумные кутежи. Так что этого даже следовало ожидать, что в то время как Клопцов разглядывал девушек и говорил про себя: «Вот посижу пять минут с этими обормотами и пойду» — на квартиру явился наряд милиции. Всю компанию, включая Клопцова и человека, который мирно спал на софе, привезли в ближайшее отделение, где хотя и был составлен обстоятельный протокол, но дело ограничилось было внушением и острасткой, как вдруг выясняется, что обе юные девушки-то несовершеннолетние, а между тем они несколько подшофе. По той причине, что только-только вышел указ об усилении ответственности за спаивание несовершеннолетних, милиция круто сменила курс: протоколы были переписаны заново, и задержанным объявили, что дело будет передано в городскую прокуратуру.

Клопцов вернулся к себе в седьмом часу вечера. Он лег на кровать и попытался заснуть, но спасительный сон не шел, и он промучился до утра. Временами ему становилось совсем невмоготу; он обмирал от страха и спрашивал себя: а не приснилась ли ему сегодняшняя катастрофа? Он слушал счастливое ды-

хание Кукина, и ему становилось донельзя горько из-за того, что ужасная беда свалилась именно на него, порядочного и дельного человека, а не на какого-нибудь алкоголика вроде Кукина или заведомого уголовника вроде Опекунова. Это казалось ему до того оскорбительно несправедливым, что он скрежетал зубами. Однако к утру он несколько успокоился и принялся рассуждать: он говорил себе, что теперь для него все кончено, что у него нет больше его честного имени, а стало быть, нет и будущего, о котором так следует понимать, что оно и есть жизнь, в то время как прошлое ноль без палочки, а настоящее занимательно только тем, что это будущее готовит; но теперь настоящее грозило ему самой отвратительной перспективой, то есть отсутствием будущего в правильном смысле этого слова. Только ему явилась эта идея, как странное, до ужаса новое чувство его постигло: как будто он потихоньку умер, а видит, слышит, осязает исключительно по инерции. Он даже зажмурился и сложил по-покойнически руки, чтобы совсем было похоже, как будто он мертв; он лежал и чувствовал, что у него заостряется нос и проваливаются глаза.

Наутро Клопцов поднялся с таким изможденным выражением на лице, что Саша Кукин поглядел на него и опешил.

В то утро предстояло доставить в соседнюю область кое-какую почту. Клопцов явился в диспетчерскую, прочитал метеосводку, получил карту, маршрутный лист и пистолет в дерматиновой кобуре. Когда же в диспетчерскую заглянул Саша Кукин, ему было объявлено, что его таки к полету не допускают. Оказалось, Клопцов доложил по начальству, что нанануне Саша был сильно пьян, и недоразумение разрешилось только с обстоятельной экспертизой. Все это озадачило Кукина, и когда он пришел на стоянку, то прежде всего хорошенько присмотрелся к Клопцову, но, правду сказать, ничего знаменательного не заметил.

По обыкновению, они перекурили перед полетом и полезли в машину. Устраиваясь в сиденьях Саша Кукин от удовольствия улыбался, а Клопцов слышно втягивал нервными ноздрями особый кабинный запах, приятнее которого нет ничего на свете. Потом Клопцов, выглянув в окошко, заорал: «От винта!» — и

включил зажигание — винт зашелестел, завыл, загрохотал и настойчиво потащил самолет к взлетно-посадочной полосе.

Когда самолет вырулил на старте и замер, сотрясаемый мелкой дрожью, точно ему, как и Саше Кукину, не терпелось подняться в воздух, в наушниках прошипел знакомый голос диспетчера: «Борт 16-24, взлет разрешаю» — и Клопцов отпустил тормоза — машина побежала, побежала и вдруг вспорхнула, слегка покачивая серебристыми плоскостями.

Минут через десять заняли свой эшелон и взяли курс на пункт назначения. Саша вполголоса затянул песню, — какую именно, понять было трудно, — Клопцов же строго смотрел прямо перед собой. А еще минут через десять началось непонятное: Клопцов вдруг повалил машину на левую плоскость, развернулся и взял курс примерно на юго-запад, в то время как им следовало идти в северо-западном направлении.

— Ты это чего? — спросил Саша Кукин, от растерянности еще пуще выкатывая глаза.

— Молчи! — тихо сказал Клопцов, но вложил в это слово столько зловещей силы, что Саше стало не по себе и вдруг начала прилипать к спине форменная рубашка. В голове у него застучали опасливые вопросы, однако он еще долго не решался обратиться за объяснениями к командиру, так как опасался получить какой-нибудь ужасный ответ. Наконец, он собрался с силами и повернулся к Клопцову так, чтобы видеть его глаза, но приготовленные слова застряли у него в горле: Клопцов сидел вполоборота к нему и держал в руке пистолет ТТ.

— Слушай, Кукин, — как-то рассеянно заговорил Клопцов, точно он говорил и одновременно думал о чем-то важном. — Слушай, Кукин, ты хороший малый, я против тебя ничего не имею. Но сейчас я тебя пристрелю. Нет у меня другого выхода, потому что я тебя как облупленного знаю — ты всякой бочке затычка и вообще баламут. Сам виноват: я не хотел тебя брать с собой, а ты полез на рожон, и в результате я должен тебя убить.

В ответ Саша только нелепо пошамкал ртом, а Клопцов стал уже приспосабливаться выстрелить так, чтобы пуля не дала опасного рикошета, но вдруг в наушниках у обоих зашипел незнакомый голос: «В квадрате 84 даю «ковер».

Клопцов символически сплюнул и приказал:

— Бери штурвал, будем садиться. Если почувствую что, стреляю без предупреждения — это имей в виду.

Тем временем на аэродроме маленького городка с неприличным названием разгорался переполох. Борт 16-24 исчез; его не видели локаторы соседних диспетчерских, он не выходил на связь, не садился в указанном пункте и вообще вел себя подозрительно. В довершение неприятностей вскоре пришло известие, что в трехстах километрах от городка военные засекли самолет, не отвечающий на запросы с земли и упорно идущий курсом на юго-запад. Уже был объявлен «ковер», уже спешили сесть на ближайшие аэродромы или убраться подобру-поздорову из квадрата 84 большие и маленькие самолеты, уже поднимали пару перехватчиков ребята из ПВО, когда Саша Кукин под дулом нацеленного на него пистолета сажал борт 16-24 на какое-то бесконечное картофельное поле. Самолет несколько раз подпрыгнул, пробежался и встал. Вдруг сделалось так тихо, что было слышно, как шелестит на ветру картофельная ботва.

— Вылезай,— сказал Клопцов, поведя пистолетом вбок.— И смотри у меня: чуть что — пуля в затылок!

Саша стал вылезать из кабины, не совсем владея собой от страха, спрыгнул на землю, не удержал равновесия и упал. Вслед за ним вылез Клопцов; он огляделся по сторонам и, больно тыкая Сашу пистолетом между лопаток, погнал его к березовому колку. Саша покорно шел, смотря себе под ноги, и тем не менее спотыкался. Он ожидал выстрела, и ему казалось, что его спина от этого ожидания как-то одеревенела, но в то же время сделалась чуткой, как пальцы, и хрупкой, как переносица. Чтобы отвлечься, он внимательно разглядывал комья земли и картофельные кусты, но видел их так, как если бы они ему рисовались в воображении.

Когда добрались до колка, Клопцов велел Саше лечь ничком, положив руки за голову, а сам уселся рядом и закурил.

— Вот таким способом,— сказал он, неизвестно что имея в виду.

Спустя некоторое время он разрешил Саше сесть; Саша сел, обхватил руками колени и, посмотрев на задумавшегося Клопцова, неожиданно почувствовал, что страх его улетучился, а на его месте образова-

лась неприятная пустота. Клопцов кивнул ему и спросил:

— Хочешь закурить?

Саша отрицательно помотал головой.

— Брезгуешь, что ли? — с печальной насмешкой спросил Клопцов. — Ну, давай, давай...

Саша смолчал, поскольку в эту минуту он с удивлением думал о том, как это так скоро и вдруг рассеялся его страх. Теперь Саша чувствовал, что не только не боится Клопцова и его пистолета, но, если бы не противная пустота, он бы ему такого наговорил, что Клопцов бы его прикончил наверняка. Потом он поймал себя на той мысли, что в компании с Клопцовым ему до того неловко и тяжело, как если бы он знал за ним какое-либо особо позорное преступление.

— Вот сейчас часок-другой переждем, — сказал Клопцов, — и я себе полечу. А ты, черт с тобой, живи дальше. Ты мне там был опасен, — Клопцов ткнул пальцем в небо, — а здесь ты мне в общем-то не помеха. Если хочешь, я тебе папирос оставляю...

— Ты подлец, Клопцов, я всегда это чувствовал, — задумчиво сказал Саша.

— Потолкуй у меня, пацан! — отозвался Клопцов, но в его голосе слышалась не столько злость, сколько какая-то тяжелая дума.

Больше они не разговаривали. Саша сидел, покусывая травинку, а Клопцов курил папиросу за папиросой. Только часа через полтора Клопцов поднялся с земли и на прощанье сказал:

— Ну, будь здоров, Саша Кукин! Передавай привет товарищам по профессии. Скажи, мол, кланяется Клопцов и просит не поминать лихом.

Он отряхнул травинки, налипшие на штаны, и направился к самолету. Саша смотрел ему в спину, точно ожидал, что Клопцов вот-вот обернется, и точно: Клопцов обернулся и прощально помахал ему пистолетом. Тогда Саша выплюнул травинку, поднялся с земли и тронулся за ним следом.

Подойдя к самолету на более или менее безопасное расстояние, Саша сунул руки в карманы брюк и принял позу стороннего наблюдателя.

Через минуту машина уже разворачивалась против ветра, подминая под себя картофельную ботву и шевеля, как рыба плавниками, рулями поворота и высоты. Саша смотрел на свой самолет и думал о том, что вот



сейчас вспорхнут народные тысячи, воплощенные в хитроумном летательном аппарате, и поминай как звали. Это соображение внезапно взяло над ним такую большую силу, что, когда самолет приготовился к разбегу, Саша сорвался с места, настиг уже уползавший хвост и вцепился обеими руками в стойку заднего колеса. Он что-то кричал, но за гулом винта его слов было не разобрать.

Несколько секунд он еще упирался, потом его потащило, потом даже приотрвало от земли, но тут пальцы его разжались, и он упал на межу, разделявшую картофельное поле и посадки кормовой свеклы.

К этому времени в эфире уже не вспоминали исчезнувший борт 16-24. Как ни странно, но Клопцов почувствовал себя отчаянно одиноким именно потому, что про его самолет забыли. И тут на него напала одна жуткая мысль: он вдруг понял, что страшно и непоправимо напутал, точнее, запутался до такого предела, что выходом из создавшегося положения может считаться только небытие. «Действительно,— говорил он себе,— куда это я собрался? Разве я способен жить там, где некому сказать: «Ну ты даешь!», или «Здравствуйте, я ваша тетья!», или «Пошел ты к хренам собачьим!» Вообще, не юли, товарищ Клопцов: фактически ты уже мертв и этот прискорбный факт остается только оформить...» Когда внутренний голос смолк, Клопцов почувствовал, как у него сам собой заостряется нос и проваливаются глаза.

До границы оставалось около четверти часа лёту, когда Клопцов бросил штурвал и равнодушно установил в кружочек высотомера, который тоже равнодушно отсчитывал ему остаток времени, пространства и бытия.

---

# Сухов, осквернитель могил

В конце пятидесятых годов на кладбище Донского монастыря, что поблизости от издательства «Мысль» и прямо напротив сумасшедшего дома имени Соловьева, можно было наблюдать одного любопытного мужика. Это был типичный представитель своей эпохи: он носил черное драповое пальто, чрезвычайно длинное и широкое, синюю фетровую шляпу с опущенными полями, просторные брюки с высокими отворотами и светлые полуботинки, разительно схожие с ортопедическими; на шее у него почему-то висело китайское полотенце. Судя по выражению лица, он был человеком интеллигентным, хотя, с другой стороны, в нем настораживала густая щетина, которая издали смахивала на иней и, видимо, была противной на ощупь, как наждачное колесо.

Фамилия этого человека была Сухов — так его и знали монастырские сторожа. Чем он занимался и занимался ли чем-нибудь вообще — это покрыто мраком. Скорее всего, ничем он не занимался, поскольку его можно было наблюдать в стенах Донского монастыря и утром, и днем, и вечером, ну, разве что он постоянно работал в ночную смену. Но даже, если он где-то работал в ночную смену, основным его занятием было... вот прямо так сразу и не сообразишь, как это занятие обозвать; одним словом, это был такой зловредный процесс, который трудно поддается формулировке, который легче пересказать.

Если мысленно возвратиться в пятидесятые годы и представить себе, что вы вступаете на территорию Донского монастыря через воротную башню, которая смотрит в сторону продовольственного магазина, то первое, что попадетс вам на глаза, будет примечательная особа, нервно прохаживающаяся от чугунной турецкой пушки до будки монастырского сторожа и обратно. Это и есть пресловутый Сухов.

При встрече с ним вам поначалу станет немного не по себе, так как, заметив вас, он состроит решительно ненормальную мину; просто такое предчувствие, что вот сейчас этот человек подойдет и скажет что-нибудь жуткое, вроде: «Квинтилий Вар, верни легионы!» Но потом у него на лице появляется какое-то стратегическое выражение, потом деланно-безразличное, и вас вроде бы отпускает.

Пожалуй, вы о нем даже успеете позабыть, покуда прогуливаетесь между нелепыми надгробиями восемнадцатого столетия, иногда похожими на вазы, которые можно выиграть в художественную лотерею, но чаще на облака окаменевшей пены от стирального порошка; потом между надгробиями девятнадцатого столетия, замечательными смесью русского классицизма и еще чего-то русского, кажется, духа единоначалия и, наконец, между надгробиями последних десятилетий, неромантическими, как бытовые приборы. Между тем Сухов незаметно следует за вами, что называется, по пятам и дожидается момента, когда вас можно будет застать врасплох. Например, вы остановились у могилы какой-нибудь канувшей знаменитости, о которой вы когда-то что-то где-то читали, но что именно — тишина; вы стоите, слушаете, как у вас над головой вздыхают темные кроны, как разоряется воронье и одновременно припоминаете — это и есть врасплох. Сухов к вам подкрадывается со спины и говорит таким тоном, как будто делает одолжение:

— Здесь покоится прах Михаила Матвеевича Хераскова, видного поэта эпохи дворцовых переворотов...

— Ах, как интересно! — с чувством восклицаете вы, но не потому, что это действительно интересно, а потому, что вам нужно скрыть, что вы насмерть перепугались.

— Большой был подлец..

На это вы уже ничего не скажете, а только посмотрите на Сухова с оторопью в глазах.

— Да, да! — подтверждает Сухов. — Большой был подлец Михаил Матвеевич, как говорится, пробы поставить негде.

— Интересно, откуда такие сведения? — скажете вы, потому что это действительно интересно.

— Не от бабки, конечно, — говорит Сухов. — Пришлось поднять кое-какую литературу...

После этого наступает короткая пауза, в течение кото-

рой Сухов делает вид, будто он что-то припоминает, и затем заводит свою шарманку.

— Например, такой безобразный факт,— начинает он и внезапно преображается: он принимает какую-то античную стойку, бледнеет, смурнеет, а в его глазах, вдруг распахнувшихся неестественно широко, зажигается диковинная смесь злорадства, тоски и демонического начала.— Императрица Анна Иоанновна как-то задумала подшутить над Херасковым и разрешила ему сочинять стихи только при том условии, что он будет подносить ей каждое новое стихотворение, держа его в зубах и следуя через все дворцовые анфилады на четвереньках. Что же вы думаете? Подносил!.. В зубах и на четвереньках! Державин, Гаврила Романович, ему говорил: «Как же тебе, Мишка, не стыдно! Ты зачем позоришь звание российского пиита?» А он отвечает: «Стыдно, Гаврила Романович, да что делать: не могу я не писать...»

— Позвольте, по-моему, этот факт имел место не с Херасковым, а с Тредиаковским,— скажете вы в том случае, если вы начитанный человек, на что Сухов всегда отвечает одно и то же: «Темна вода в облацех»; если же вы не начитанный человек, вы только покачаете головой, ну разве что посетуете еще: «Вот ведь как издевались над поэтами при царизме».

— И обратите внимание на эпитафию,— продолжает Сухов: — такой был подлец, что даже эпитафию никто не захотел ему сочинить, жена эпитафию сочинила:

Здесь прах Хераскова; скорбящая супруга  
Чувствительный слезой приносит дань ему...—

прочитаешь и плюнешь от негодования!

Тут Сухов действительно плюется, да еще так заразительно, что при любом отношении к жениной эпитафии вам очень захочется сделать ему компанию.

— А теперь пройдемте к могиле еще одного мерзавца,— говорит Сухов и, жестко взяв вас за локоть, подводит к следующему надгробию.— Прошу любить и жаловать: Шервуд Василий Осипович, академик архитектуры. Построил здание исторического музея, о котором можно сказать: глупость, застывшая в камне. Я себе отлично представляю ход его рассуждений: дай, думает, построю что-нибудь побольше и почуднее, авось не поймут, что глупость, так дурачком и прославлюсь.

Кстати, Василий Осипович приходится родным племянником тому самому Шервуду-Верному, который выдал Южное общество декабристов. Вообще я удивляюсь на эту публику: чего только люди не выдумывали, чтобы прославиться,— это уму непостижимо!

— Что да, то да,— невесть зачем говорите вы в то время, как Сухов уже настойчиво влечет вас к холмику по соседству.

— Здесь, честно говоря, лежит просто сумасшедший,— сообщает он недовольным тоном,— но сумасшедший, знаете ли, с душком; я хочу сказать, что сразу не разберешь, то ли он действительно сумасшедший, то ли, как говорится, чересчур себе на уме. С одной стороны, он составил персональный заговор против самодержавия и чуть ли не десять лет готовился к вооруженному перевороту, но, с другой стороны, повел дело так, как и полагается сумасшедшему. Например, обнес свою усадьбу земляным валом, сформировал из крепостных целое войско, которое одел в собственную униформу, и что особенно интересно — с домашними он общался исключительно посредством «меморандумов» — так он называл свои письменные приказы. История сохранила один из них, меморандум номер пятьдесят два. «Рядового музыкальной команды Егора Понамаренко приказываю командировать к ключнице Акулине на предмет десяти аршин пеньковой веревки. Означенной веревкой надлежит вытащить из колодца бадью, которая упала туда по нерадению казачка Филимона. Казачка же Филимона за нерадение провести сквозь четырех человек пять раз. Примечание: по конфирмации приговора казачка Филимона, заместо телесного наказания посадить в погреб на хлеб и воду». Я вот что думаю: нет, не простой был человек этот парень, такую он гнул политику, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Ну-с, пойдем дальше...

И вы идете дальше, но уже с неохотой. Вам как-то неловко, не по себе, точно вы промочили ноги, и тем не менее вы следуете за Суховым, словно приговоренный.

— А это, прошу обратить внимание, могила Анны Васильевны Горчаковой, родной сестры генералиссимуса Суворова-Рымникского. На постаменте эпитафия:

Здесь прах той почует, что славы и сребра  
Средь мира тленного в сей жизни не искала...—

это, конечно, ложь. Славы она, точно, не искала, но что касается «сребра», то тут, как говорится, извини-подвинься. Лютой жадности была баба, жадней ее был, пожалуй, один фараон Хуфу, который, между прочим, прославился еще тем, что отправил свою дочку в публичный дом, чтобы, значит, она тоже вносила лепту в строительство пирамиды. Кроме того, Анна Васильевна была неустойчива в моральном отношении и отличалась жестокостью, пограничной с садизмом. Тут ее превзошла только знаменитая Салтычиха. Кстати, ее могила поблизости, не желаете посмотреть?

— А чего на нее смотреть,— говорите вы и фальшиво смотрите на часы,— известное дело: Салтычиха...

— В таком случае могу предложить вашему вниманию могилу Жуковского, отца русской авиации. Отец, это, конечно, сильно сказано, точнее будет — отчим...

— А это чья могила? — перебьете вы, поскольку вас до крайности утомил тот объем подлости, который натворили бывшие люди, зарытые у вас под ногами на законной глубине в один метр пятьдесят сантиметров, и вас тянет к покойникам безвестным и предположительно добродетельным.— Какой-то Гвоздев...

— Как же! — говорит Сухов.— Гвоздев Александр Васильевич! Отъявленный негодяй! Был одним из учредителей Всероссийского страхового общества «Саламандра». Ради страховой премии лично спалил вместе с жильцами четыре доходных дома. Дома принадлежали ему, но были записаны на двоюродную тетку...

— Батюшки, времени-то сколько! — вдруг говорите вы, так как слушать эти странные речи вам уже просто невмоготу.

Тогда с Суховым происходит обратное превращение: он на глазах уменьшается и тускнеет. В заключение он еще посмотрит на вас внимательно-внимательно, потом сплюнет себе под ноги и уйдет.

Некоторое время вы смотрите ему вслед и говорите про себя то, что говорят все его нечаянные жертвы, а именно: «Какой, однако, загадочный человек!.. Ходит тут, критику наводит... Вот зачем он это делает? Ну зачем?..»

# Дорогая редакция...

«Дорогая редакция, дорогой товарищ главный редактор! — написано в письме, которое вот уже вторую неделю валяется на подоконнике в отделе литературы.— Пишет вам Перышкина Вера Александровна, по профессии электрокарщица. Дело в том, что мой муж Перышкин Эдуард Ильич, по профессии слесарь-инструментальщик, занимается творчеством в смысле сочинения стихов и прозы под псевдонимом Макар Изгой. Предлагаю вашему вниманию одно из его художественных произведений, новеллу «Принцесса моей мечты». Пожалуйста, покритикуйте ее хорошенько, чтобы он бросил писать, а то он мне всю жизнь поломал.

При сем прилагаю новеллу «Принцесса моей мечты» в трех экземплярах.

Прошу простить меня за грамматические ошибки, я их делаю даже, когда что-нибудь переписываю из книги.

С уважением

*Перышкина В. А.*

## ПРИНЦЕССА МОЕЙ МЕЧТЫ

*(новелла)*

Бывают летние вечера, когда небесный свод, подобно прозрачному янтарию, разгораясь натуральным сиянием, как-то по-особенному отражает свет. В один из таких вечеров один пожилой мечтатель стоял в тени могучих эвкалиптов, среди побегов его ветвей. Одаренный большим жизненным опытом, он с цинизмом уверенной определенности ожидал принцессу своей мечты.

Наконец, он увидел ее и предложил с наслаждением чувственного соблазна:

— Пойдемте со мной в мир отрезвляющей правды реального бытия.

— Ваш возраст подозрителен для такой роли,— ответила она капризной фантазией, противоречившей вахханалии ее чувств.

Настойчивыми понятиями рассудка он не поверил видению этих слов.

— Я слишком долго искал вас,— сказал он,— чтобы навсегда проститься с натуральным предметом моего воображения. Дайте мне конкретный ответ на мою избранность сердца. Но вы молчите!

— Я всегда с упоением слушаю то, что подражает моим желаниям,— ответила она гармоничным набором слов.

Это высказывание погрузило его...»

Ну и так далее, всего на восьмидесяти двух страницах.

В конце рукописи приписка:

«Вот и все, дорогая редакция, дорогой товарищ главный редактор! В заключение сообщаю домашний адрес: Новгородская область, поселок Силикатный, Вагоноремонтный тупик, 4. Перышкиной В. А. Ответ пошлите обязательно заказным, а то у нас мальчишки воруют письма».



Иной раз во мне просыпаются такие силы воображения, что, честно говоря, боязно бывает воображать. Если нафантазируешь себе какую-то вещь, то кажется, что можно ее коснуться, а если пригрезится человек, то с ним можно запросто перекинуться парой слов.

Вот ни с того ни с сего видится какая-то железно-дорожная станция. Ночь, зима, черт бы ее побрал, а впрочем, тихо, стоит морозец, то есть именно что морозец, а не мороз, снег ниспадает медленно и плавно, точно в раздумье, падать ему или же устремиться обратно вверх, сквозь него временами проглядывает луна, похожая на лик огромного привидения, но главное, так тихо, что оторопь берет и долго не отпускает.

При станции — приличное каменное строение. Окошки его горят светом ненынешним, чужеродным, но пригласительно, как бы говоря: «Загляни-ка, братец, мы что-то тебе покажем». Помедлил немного, подогрел в себе предвкушение, и вошел.

Снаружи все-таки среда более или менее враждебная человеку, а внутри — батюшки светы: лампы сияют, оправленные в большие матовые шары, кадки стоят с финиковыми пальмами, на скатертях, закрахмаленных до кондиции кровельного железа, все фаянсовая посуда, хрустальные пепельницы, мельхиор, да еще и тепло, приветно тепло, по-древледомашнему, с примесью той соблазнительной кислицы, которую производят березовые дрова. В общем, такое впечатление, точно попал из Бутырок на светлый праздник, и в голову, как вор в ночи, постучала мысль: быть может, гуманистическое значение русской зимы заключается в том, чтобы мы пуще ценили жизнь.

Далее: справа — буфетная стойка, а за ней человек во фраке, но с физиономией подлеца. Видимо, силы моего воображения окончательно распоясались, потому что вдруг этот буфетчик мне говорит.

— Позвольте поздравить вас с четвергом,— говорит.— Не желаете ли чего?

И, не дожидаясь ответа, наливает мне рюмку водки; надо полагать, ответ на вопрос «не желаете ли чего» считается тут излишним.

Водку я, конечно дело, выпил и до того остро почувствовал ее вкус, что даже наяву скорчил соответствующую гримасу. Затем я полез в карман, вытащил два пятиалтынных чеканки 1981 года и с тяжелым чувством высыпал их назад.

Буфетчик спросил, войдя в мое положение:

— Прикажете записать?

Я говорю:

— Пиши...

Он:

— Извиняюсь, за кем прикажете записать-то?

— За Пьецухом Вячеславом Алексеевичем,— отвечаю, а сам кумекаю про себя: «Уж если он все равно меня записал, так я заодно и перекушу».

С этой, прямо скажу, недворянской мыслью я сажусь за ближайший стол и только успеваю пощупать скатерть, закрахмаленную до кондиции кровельного железа, как ко мне подлетает официант. Он степенно вынимает блокнот, карандашик и склоняется надо мной. А я панически вспоминаю какое-нибудь реликтовое блюдо, вычитанное у классиков, и затем с напускной веселостью говорю:

— А подай-ка,— говорю,— чтобы тебе пусто было, рыбную селянку на сковородке.

«Фиг с маслом,— думаю при этом,— он мне подаст селянку на сковородке!»

Так нет.

— Сей момент,— отвечает официант.— Не прикажете ли к селянке расстегаев с вязигой, либо пашота с сомовьим плесом?

Это было уже слишком, сверх возможностей воображения, и я перешагнул через гастрономический эпизод. Останавливаюсь я на следующей картине: за соседний столик присаживаются прапорщик и барышня, предварительно напустившие пахучее студеное облако, оба какие-то ладные, раскрасневшиеся с мороза и свежие той свежестью, которая настояна на молодости, зимнем вечере и, кажется, еще аромате яблок. Он — совсем юноша в толстой шинели, в мягкой фуражке, при портупее, башлыке и сабле с георгиевским темля-

ком. Она — этакая юница, этакая, предположительно, смолянка, с лицом простоватым, но одухотворенным, какие частенько встречаются у Перова. Когда они окончательно устраиваются, прапорщик щелкает в воздухе пальцами, призывая официанта, а барышня задумчиво теревит салфетку, продетую сквозь кольцо. Официант приносит добрую рюмку шустовского коньяку, два стакана чая в серебряных подстаканниках, и прапорщик, закурив духовитую папиросу, которая приятно волнует мое обоняние, тихим голосом говорит:

— Что же это вы со мной делаете, Елизавета Петровна! Что же вы меня тираните, невозможный вы человек!

Елизавета Петровна молчит, по-прежнему мусоля салфетку, продетую сквозь кольцо, а потом с дворянским привкусом в голосе отвечает:

— Ну что же я могу поделать, Сережа; что же я могу поделать, если мне полюбился князь? Сердцу ведь не прикажешь...

— А как же те два с половиной года, что я молился на вас... Нет, позвольте я лучше стихами:

Проходит в час определенный,  
За нею карлик, шлейф влача,  
И я смотрю вослед, влюбленный,  
Как пленный раб на палача...

Одним словом, Елизавета Петровна, если вы не дадите мне положительного ответа, я завтра же уезжаю в Италию и поступаю на службу к Виктору-Эммануилу...

Тут, надо полагать, прапорщик заметил, что я прислушиваюсь к разговору, и залопотал, кажется, по-французски, — «кажется» потому, что с боннами мы все-таки не воспитывались и волею судеб в сорбоннах не обучались. Но Елизавета Петровна и на французский не поддалась.

— Так! — в конце концов говорит прапорщик и встает.

С озорством смертника он поднимает рюмку, помещает ее в районе локтевого сгиба и продолжает:

— За матушку-Россию, государя императора и вашу маленькую ножку, мадмуазель!

С этими словами он мудреным движением подносит рюмку ко рту, медленно выпивает алкоголь шустовской фабрикации, потом, прихватив рюмку зубами, швыряет ее через спину на пол, и она с колокольчиковым звуком разлетается на куски.

— Алло! — говорит буфетчик. — Вы все же, сударь, имейте себя в виду!

— Что-с! — кричит прапорщик и бледнеет...

Нет, ну его, этого влюбленного скандалиста. Лучше я построю такую грезу: ранний вечер, осень, черт бы ее побрал, а впрочем, сухо, в меру холодно и светло, так стеклянно-светло, как бывает только в преддверии ноября. Под ногами с жестяным звуком шуршат опавшие листья — это мы с Елизаветой Петровной прогуливаемся в саду. Сквозь голые яблони виднеется бревенчатый барский дом, похожий на сельскую больницу, кабы не высокие окна, вымытые до зеркального состояния, и не портик, который подпирают пузатенькие колонны, покрашенные белилами, но облупившиеся местами. Из дома доносится брэнчание старого фортепьяно, играющего что-то жеманно-печальное — пускай это будет Шуберт. По причине чрезвычайной прозрачности воздуха и до барского дома, мнится, рукой подать, и брэнчание фортепьяно как будто раздастся над самым ухом.

— Как хотите, — говорю я Елизавете Петровне, — а темные аллеи, беседки и прочие тургеневские штучки — это все как-то не мобилизует. В чем тут, спрашивается, борение и накал?

Елизавета Петровна мне отвечает:

— Святая правда! Эта пошлая среда душит сколько-нибудь свежего человека, отбирает у него последние силы жить. Потому-то я и решила наконец разорвать этот порочный круг: либо я покончу с собой, либо выйду на ниву широкой деятельности. Идеалы служения несчастному народу — вот то знамя, под сенью которого я хотела бы умереть!

— Идеалы давайте отложим на другой раз, — развязно говорю я Елизавете Петровне и пытаюсь ее обнять.

— Что это значит?! — с испуганным изумлением спрашивает она.

— Это значит, что я вас намерен поцеловать.

— Если вы это сделаете, я покончу жизнь самоубийством!

— Ну, полный вперед! — восклицаю я. — Вы что, голубка, совсем того? Или я вам из классовых соображений не подхожу?

— По всей видимости, так и есть, — сердито отвечает Елизавета Петровна. — Вы... ну, не шевалье вы, Вячеслав Алексеевич, простите — не шевалье!

На этом обидном месте я возвращаюсь к действительности, чтобы не услышать чего похуже, и смотрю через окно на теплоцентраль с облезлой трубой, словно обглоданной великаном. Затем я смотрю на свою жену, занятую вязанием рукавиц из собачьей шерсти, с которыми она валандается пятый месяц, и говорю:

— Как на твой взгляд: похож я на благородного человека?

Видимо, жена занята какими-то своими женскими мыслями, потому что на мой вопрос она отвечает вздор:

— Вообрази себе,— говорит она,— вчера во время пятиминутки Скоморохов вызвал главного редактора на дуэль.

— Нет,— говорю,— этого я не в силах вообразить.

---

# Как я ездил за границу

На сорок четвертом году своей жизни я таки сподобился выехать за рубеж. Не стану описывать продолжительную и многоходовую склоку, в результате которой заграничная командировка выпала мне и завсектором Пятилеткину, скажу лишь, что эта победа стоила мне столько же крови, сколько Николаю Копернику его гелиоцентрическая система.

Оказывается, заграница начинается в Шереметьевском аэропорту, сразу за линией паспортного контроля, потому что в баре на втором этаже хоть залейся «московским» пивом и водку насыпают в восемь часов утра. В таких условиях и святой запыет. Мы с Пятилеткиным, конечно, приняли на грудь, чего уж там лицемерить.

Когда наш самолет пересекал в воздухе государственную границу, мы, честно говоря, этого не заметили, так как, во-первых, были довольно теплые, а, во-вторых, с высоты ее не видать. Но Пятилеткин все-таки заявил:

— А ты отдаешь себе отчет, что ты уже иностранец?

Вроде бы это было игривое заявление, а я весь залился холодным потом.

Потом мы с Пятилеткиным прикорнули и проснулись уже в Софии. Мы с ним очень удивились, чего это нас занесло в Болгарию, вместо Греции, но стюардесса нам разъяснила, что якобы Афины закрыты по метеоусловиям и пассажирам предстоит куковать в Софии. Братская Болгария нам сильно понравилась, потому что в зале ожидания для транзитных пассажиров наливали выпивку за рубли. В таких условиях и святой запыет. Мы с Пятилеткиным, конечно, приняли на грудь, чего уж там лицемерить.

Видимо, Афины с воздуха принципиально не принимали, поскольку дальше мы ехали уже поездом. Железнодорожная езда там... как бы это выразиться

покультурнее — нерасположена к человеку: в купе помещается по креслам что-то около десяти пассажиров, если мы, конечно, спяну не обсчитались, то есть на верхней полочке по-нашему с книжкой не полежишь, да еще и натоплено так, точно ты в парилке Центральных бань, если, конечно, поспеть к восьми.

Вдруг Пятилеткин и говорит:

— А ничего вы устроились в жизни, товарищи европейцы! И то у вас, и се, и пятое, и десятое... А у нас в Союзе наливают только с двух часов дня — такой, вообразите, тоталитаризм!

Я ему говорю:

— Что же ты делаешь, душман ты этакий! Ты зачем отечество срамишь?! Твое счастье, что мы не дома, а за границей, не то я бы с тобой иначе поговорил! Конкретно, просто-напросто дал бы тебе в лоб за государственную измену.

Пятилеткин в ответ.

— Ты чего, — говорит, — бродяга, это же я так, для наведения мостов, все равно они по-нашему не секут.

— Тогда нужно как-то наладить взаимопонимание, — предлагаю я, имея в виду ноль восемь лимонной, которую мы держали про черный день.

Однако оказалось, что соседи по купе очень даже по-нашему понимают, поскольку не успели мы и глазом моргнуть, как они повытаскивали из баулов разнообразные вина и коньяки. В таких условиях и святой запыет. Мы с Пятилеткиным, конечно, приняли на грудь, чего уж там лицемерить.

В общем, как мы пересекали болгаро-греческую границу, это тоже прошло в тумане. Я потом только понял, чего это мы с Пятилеткиным набрались: будучи в мирных условиях практически непьющими мужиками — иначе хрен с маслом нас бы послали в заграничную командировку, — мы со страху перед зарубежьем с Пятилеткиным набрались; насчет Пятилеткина ничего определенного не скажу, но что до меня, то я вообще прежде подозревал, что сразу за Чопом начинается тот самый океан, в котором плавают три кита, во всяком случае, сразу за Чопом открывается что-то такое непереносимо чуждое русской сути, с чем можно мириться, только пребывая в невменяемом состоянии. Братская Болгария, это еще туда-сюда, но едва стало ясно, что уже Греция за окошком, как со мною произошло что-то вроде нервного потрясения: во-первых,

какое-то полузабытое меня обуяло детское чувство, вот точно я от матери потерялся, и меня может обидеть всякий, кому не лень, во-вторых, лица у всех, кроме милого Пятилеткина, какие-то странные, неродные, в-третьих, еще оттого подозрительно на уме, что ты одновременно и русский и иностранец, в-четвертых, мне закуска ихняя не пришлась. И вот встало у меня в душе колом нечто психическое, как кусок встает в горле колом или в сердце — сердечный спазм. Одним словом, неудивительно, что тут со мной приключилась загадочная история.

А конкретно случилось вот что... Проснулся я под утро — поезд стоит, в купе все спят. Пятилеткин тоже спит и тем не менее просит меня сквозь сон.

— Дай,— говорит,— закурить, а то я в карман залезть не могу, руки у меня окончательно разболтались...

Я было полез за сигаретой в его карман, но тут глянул в окошко и обомлел... Но сначала нужно сказать, что у нас в Бирюлеве-Мневниках, как мне выходить на моей автобусной остановке, стоит газетный киоск и три молодых каштана. Так вот, гляжу я в окошко и вижу: стоит газетный киоск и три молодых каштана! Меня прямо слеза прошибла, думаю — все, отъездились мы с Пятилеткиным по Европе и пьяным делом не заметили, как вернулись. Тогда я подхватываю свою сумку и сломя голову несусь к выходу, чтобы родимую остановку не пропустить. Схожу, топаю к дому, вдыхая сладкий российский воздух, и вдруг — что за притча: на стоянке такси, что у нас сразу за овощным магазином, выстроились друг за другом с десятков, наверное, «мерседесов». Думаю: откуда у нас в Бирюлеве-Мневниках взяться бы «мерседесам»? Да еще в таком неистовом количестве? Да еще такой дружественной расцветки? Подхожу к таксистам, которые по обыкновению сбились в компанию покурить, и спрашиваю у них:

— Скажите, братцы, только честно: это в мое отсутствие страна уже доперестраивалась до «мерседесов» среди бела дня, или я в четвертом измерении нахожусь?

Кто-то мне отвечает:

— Вы находитесь в Греции, в пригороде Афин.

Во мне все сразу потухло, как бывает, когда говоришь с хорошим вроде бы человеком, говоришь, и вдруг становится ясно, что он — мерзавец. Но что характерно: видимо, до того уже оголилась моя душа, что и меня понимают греки, и я их положительно понимаю, как,



наверное, бог понимает всех, только у него эта оголенность — нормальное состояние существа, а у меня — скорее всего психоз. Рассказал я таксистам, какая со мной приключилась гадостная история, а они в ответ покачали сочувственно головами, и кто-то из них спросил:

— Ну и какая теперь у тебя программа?

— Программа,— говорю,— у меня прежняя: пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И с этими словами пехом пошел в Союз, потому что мне ничего другого не оставалось: поезд ушел, валюты у меня не было ни копейки, Пятилеткина я бы в Афинах не отыскал, но, главное, было до боли ясно, что единственный способ вымолить прощение соотечественников за диковинный свой проступок — это разве что пехом прийти в Союз.

И вот я иду, иду, иду, иду — вдруг глядь: стоит неизвестный поезд. Для очистки совести надо сознаться, что тут я смалодушничал, то есть подумал: может быть, скостить расстояние хоть немного, проехать на поезде часть пути... Захожу в вагон безо всякого опасения, потому что зайцем ездить мне не впервой, нахожу купе, где есть свободное место, сажусь, откидываюсь на спину и крепко смежаю веки.

Тут Пятилеткин мне говорит:

— Ты в конце концов дашь закурить, бродяга?..

---

# Смерть французским оккупантам!

Армянин Карен Геворкян, азербайджанец-полукровка Мамед Мирзоев и русский человек Александр Кашлев работали вместе в одной конторе, которая как-то контролировала коммунальные платежи. Сидели они в небольшой комнате полуподвального этажа, за тремя одинаковыми столами. Все трое были бездельники, то есть они круглый год сочиняли отчеты, памятки, никому не нужные ответы на никому не нужные запросы, и это их сильно объединяло. Поэтому сосуществовали они мирно и даже отчасти дружно: вместе ходили обедать в ближайшую забегаловку, весело резались в нарды, когда надоедало валять дурака, бывало, соборно выпивали по предпраздничным дням, и не было случая, чтобы один заложил другого, если, например, посреди рабочей недели Карен отправлялся в родное село за жизненными припасами, Мамед уезжал на Севан рыбачить, а Кашлев неожиданно запивал. Между ними происходили, конечно, трения, главным образом, в связи с положением в Карабахе, и даже дело доходило до отчаянных перепалок, но Кашлев неизменно водворял мир.

— Кончай базарить! — в таких случаях говорил он, и Карен с Мамедом почему-то сразу проникались сознанием мелочности национальных противоречий.

И вот однажды, солнечным будним днем, около одиннадцати утра, когда Геворкян мучительно сочинял никому не нужный ответ на никому не нужный запрос, Мирзоев оттачивал карандаш, а Кашлев сидел за большим листом ватмана и бился над стенгазетой под названием «Коммунальник», — раздался оглушительный, какой-то конечный треск, переходящий в протяжный грохот. Вдруг погас свет, который в полуподвале горел всегда, и наступили мгновения ужасающей тишины. Эти мгновения можно было по пальцам пересчитать — что-то на пятом пальце сверху на полуподвал обрушилась глыба весом, наверное, с Арарат. И опять все замерло,

как скончалось; мрак и безмолвие установились некие глубоководные, неземные.

И вдруг раздается голос:

— Братцы, откликнитесь, кто живой...

Это Кашлев осторожно запрашивал тишину.

Что-то зашевелилось в правом углу, что-то там посыпалось, зашуршало, а затем Геворкян сказал:

— Кажется, я живой...

И после некоторой паузы продолжение:

— Или я уже на том свете и это только так кажется, что живой...

— А Мамед? — с сомнением в голосе спросил Кашлев.

— Про Мамеда я ничего определенного не скажу.

Тут послышался легкий стон, в котором было столько страдания, что Карен с Александром поняли: продолжается земное, материальное, но только очень страшное бытие. Кашлев слышно пополз в ту сторону, откуда донесся стон, и вскорости сообщил:

— И Мамед живой, но, по-моему, не совсем. Сейчас будем оказывать первую помощь, ты, Карен, давай подползай сюда.

— Только ты постоянно подавай голос, а то я обязательно заблужусь.

— А чего говорить-то?

— Да что хочешь, то и говори.

— Я лучше спою.

— Ну пой...

И Кашлев затаил что-то невразумительное.

Когда Геворкян приполз-таки на кашлевскую песню, они стали вдвоем ощупывать тело Мамеда в поисках раны, которая нуждалась бы в перевязке. Мамед все стонал, стонал и вдруг рассердился.

— Я вам что, девушка?! — сказал он.

— Ну слава богу! — воскликнул Кашлев.— А еще потерпевшего разыгрывал из себя...

Мамед без слов взялся за первую попавшуюся товарищескую руку и приложил ее к ране на голове: из нее обильно сочилась кровь. Поскольку это оказалась геворкяновская рука, Карен порвал на себе рубашку и кое-как замотал Мамеду рану на голове.

— Будет жить,— сказал он при этом.

Мамед тяжело вздохнул.

Какое-то время сидели молча; мрак кругом был прежний, непроницаемый, но ужасная тишина вроде

бы понемногу стала сдавать — кажется, кто-то ругался по-армянски в значительном отдалении, что-то пощелкивало за правой стеной, кто-то скребся, должно быть, крысы.

— Интересно, а что это было? — То Кашлев как бы подумал вслух.

Геворкян несмело предположил:

— Наверное, экстремисты из Сумгаита организовали диверсию против мирного населения.

— Ты все-таки думай, что говоришь! — завелся Мамед, насколько ему позволяла рана.

— Кончай базарить! — с чувством произнес Кашлев. — Тут, может быть, существовать осталось считанные часы, а вы разводите межнациональные предрассудки.

— Ну тогда это было землетрясение, — поправился Геворкян.

— Я думаю, что началась третья мировая война, — глухо сказал Мамед, — и американцы нанесли нам ракетно-ядерный удар, какая, понимаете, сволота!..

И всем стало страшно от этих слов, но не просто страшно, не по-обыденному, а, так сказать, героико-трагедийно.

— Ну тогда все, кранты! — упавшим голосом молвил Кашлев. — Кончилась мировая цивилизация! А как жалко-то, братцы, высказать не могу!

— Чего тебе жалко? — почему-то с неприязнью спросил Мамед.

— Да всего жалко! Эчмиадзина жалко, Девичьей башни жалко, Кунсткамеры в Ленинграде — даже Парижа жалко!..

— А ты что, бывал в Париже? — справился Геворкян.

— Нет, в Париже я не бывал. Я, честно говоря, за всю свою жизнь даже в Ленинграде не побывал. Но Парижа все равно отчего-то жалко...

— И нигде-то мы с вами не были, — запричитал Геворкян, — и ничего-то мы не видали... А я даже потомства после себя не оставил, ну какой я после этого армянин?!

Мирзоев ему сказал:

— Ты нормальный армянин, я тебя одобряю. Я только не одобряю, что вот мы на пороге смерти, а жизни не видали как таковой. Клянусь мамой: с дивана на работу, с работы на диван — вот и вся чертова

наша жизни! Ну, на рыбалку съездишь,— а так одно недоразумение и тоска.

— Мало того что мы жизни не видели как таковой,— поддержал его Кашлев,— мы еще подчас отравляли ее межнациональными предрассудками, верно я говорю?

Геворкян с Мирзоевым значительно промолчали.

— Хотелось бы знать: и долго нам здесь сидеть? — немного позже спросил Карен.

Кашлев ответил:

— Если это землетрясение, то нас обязательно откапают. Суток так через пять. А если это третья мировая война, то тут нам, товарищи, и могила. Потому что некогда заниматься заживо погребенными, надо оккупантам давать отпор!

— Даже если это землетрясение,— глухо сказал Мамед,— то мы все равно пять суток не отсидим. В-первых, без воды, во-вторых, прохладно.

— Да еще и разговариваем много,— добавил Кашлев.— Давайте помолчим, будем сберегать силы.

И они замолчали, причем надолго.

Они молчали, молчали, а потом Геворкян сказал:

— Нет, я хоть перед смертью наговорюсь! Всю жизнь молчал, так хоть перед смертью наговорюсь! Мое такое мнение: неправильно мы живем! Точнее сказать, жили, а не живем. Надо было любить друг друга, потому что любовь — это единственная радость, которая имеется на земле. Надо было друг другу ноги мыть и юшку пить, как русские говорят. Вот чего мы с тобой ругались, Мамед,— ответь?

— Дураки были,— сказал Мамед.

— Я приветствую такую постановку вопроса,— на подъеме сообщил Кашлев.— То есть мне межнациональная гармония по душе!

На этом вдруг замолчали, точно у всех и впрямь истощились силы. Сморило парней, должно быть; не прошло и получаса, как они захрапели на разные голоса.

Воспряли ото сна они неизвестно в которое время суток, потому что все трое не курили, и потому не могли осветить часы. Проснувшись, они обменялись несколькими пустейшими замечаниями и прочно задумались о грядущем небытии. Смертные думы уже настолько их захватили, что они и потом не разговаривали почти. Кашлев немного пошел вполголоса, а так

не было ничего. Было настолько холодно и голодно, что кончина представлялась уже приемлемой, если даже чуточку не желанной. Спустия несчитанные часы все трое опять заснули — видать, наступила ночь.

Проснулись они от грохота: кто-то чем-то долбил руины прямо над головой.

— Живем, орлы! — диким голосом закричал Кашлев и по-ненормальному рассмеялся.

— Значит, все-таки землетрясение, — заключил Мирзоев.

— Или диверсия экстремистов из Сумгаита, — сказал задумчиво Геворкян.

— Ты все-таки думай, что говоришь! — завелся опять Мамед.

— Кончай базарить! — вмешался Кашлев. — Снова вы, такие-сякие, принялись за свое!

Как только настала пауза, вызванная сознанием мелочности национальных противоречий, извне донеслись странные звуки, которые вогнали парней в тяжелое удивление; именно — звучал иностранный говор и лай собак.

— Нет, ребята, — горько заметил Кашлев, — и не землетрясение это, и не диверсия, а последняя мировая. Французы выбросили десант! Наверное, сначала американцы нанесли ракетно-ядерный удар, а потом французы выбросили десант.

— Почему ты думаешь, что это именно французы? — спросил его Геворкян.

— Потому что я в техникуме изучал французский язык.

— А как по-французски будет Париж? — зачем-то спросил Мирзоев.

— Да так и будет, только противным голосом.

Вслед за этими словами все трое внимательно прислушались к внешним звукам: лаяли собаки, враги разговаривали ровно, уверенно, как и полагается победителям.

— Что же теперь делать? — сказал Мамед. — Я все-таки офицер запаса, а не белобилетник какой-нибудь!

— Ничего не делать, — ответил ему Карен. — Сдаваться будем на милость победителя. Ничего: французы — народ культурный.

— Я тебе сдамся, я тебе сейчас сдамся! — с угрозой воскликнул Кашлев. — Зубами будем, такие-сякие, врагу глотку перегрызать, пока он нас замертво не

положит! Лично я с французами еще за тысяча восемьсот двенадцатый год, ребята, не расквитался. И знаю я их культуру! Это они у себя в Париже культурные, а в тысяча восемьсот двенадцатом году они из России посуду обозами вывозили! Вот обдерут нас опять как липку, сразу почувствуете западную культуру!

— Это ты зря,— возразил Мамед.— Они, конечно, свое возьмут, но зато наконец наведут порядок.

Геворкян добавил:

— И, конечно же, вернут Армении Карабах.

— В таком случае,— молвил Мирзоев,— я им тоже буду глотку перегрызаты!

Кашлев сказал:

— А потом, Мамед, ты же при их порядке умрешь с голоду под забором. И мы с Кареном помрем при нашей специализации. Нет, ребята, будем стоять, как под Сталинградом, до последнего издыхания! Обидно только, что нам опять поначалу намяли ряшку...

Тем временем внешние враждебные звуки приблизились настолько, что уже можно было разобрать отдельные восклицания.

— А зачем они вообще нас откапывают, не пойму? — заинтересовался вдруг Геворкян.

— Они не нас откапывают,— объяснил ему Кашлев,— а материальные ценности, такая у них культура.

— Ладно,— сказал Мирзоев,— говори про стратегию, про тактику говори.

— Стратегия и тактика у нас будет такая: в каждую руку берем по булыжнику, и пускай они, сволочи, подойдут!

Собственно, так и сделали: когда примерно через час парней откопала бригада французских спасателей, они выкарабкались наружу и тесно встали, держа в каждой руке по камню; к ним было бросились со всех сторон люди, но Кашлев грозно провозгласил:

— Смерть французским оккупантам! — и поднял камень над головой.

— Чего, чего? — изумился кто-то из наших, работавших меж французов.

— Смерть французским оккупантам... — уже неуверенно сказал Кашлев.

Спасатели подумали, что ребята на радостях очумели.

# Чаепитие в Моссовете

В течение последних десяти лет я всю свою зарплату расходовал на такси. Я сорил деньгами не потому, что их у меня было уж очень много, а потому, что я не переношу нашего городского транспорта, а этот треклятый транспорт я, в свою очередь, не переношу вот по какой причине: меня раздражают рожи. Поскольку Россия и безобразия неразлучны, я готов был мириться с тем, что поутру, между семью и восемью часами, втиснуться в наш автобус совсем не просто, и с тем, что «водитель везет дрова», и с тем, что в разных концах автобуса вспыхивают то и дело гадкие перепалки, и даже с тем, что из-за толкотни я постоянно лишался пуговиц, но стоило мне поднять глаза и увидеть рожи — прочные такие рожи, константно кислые, точно мои попутчики не живут, а бесконечно мучаются желудком, — как со мною сразу делалась некая внутренняя истерика. Поэтому-то лет, наверное, десять кряду я всю свою зарплату расходовал на такси.

И вот столица нашей родины опустела: ни автобусов, ни такси, ни очередей в магазинах, ни толп на площади Трех Вокзалов — одинокого прохожего, и то увидишь не каждый день.

Выхожу я как-то утром из дома в родимом Скертном переулке, иду себе в сторону Никитских ворот и на Москву нарадоваться не могу — ну, пристойный город, не будь я, как говорится, Сергей Иванович Большаков! Такое впечатление, что улицам сделали дезинфекцию, и дома выглядят обновленно, и точно дремлют вдоль панелей автомобили, похожие на животных, которым пригрезился луг в цветах, и воздух чист как родственный поцелуй, и зелень буйствует повсеместно, а главное, — тишина. И еще интимное какое-то, транквилизирующее безлюдье: за тридцать минут прогулки я



встретил на углу Тверского бульвара и Поварской одного-единственного прохожего, с которым мы раскланялись самым приветливым образом, хотя разделяло нас метров сто и мы были, разумеется, незнакомы.

В результате добрел я до Скобелевской площади и остановился напротив здания Моссовета. «Зайти, что ли,— думаю,— поболтать с председателем Моссовета, как говорится, о том о сем?» Так я скуки ради и поступил: зашел в подъезд, поднялся по мраморной лестнице на третий этаж, миновал приемную и вторгся к председателю непосредственно в кабинет.

Председатель сидел за столом и что-то писал, скривившись на правый бок.

— Мемуары сочиняете? — с игривостью в голосе спросил я.

— А-а! Сергей Иванович! — воскликнул радостно председатель и с протянутыми руками вышел из-за стола.— Сколько лет, сколько зим!

— То есть как это — сколько лет, сколько зим?..— сказал я, немного оторопев.— Позавчера вроде виделись, говорили о том о сем...

— Гм! Действительно...— замешкался председатель.— Ну, садитесь, рассказывайте, какие новости, как дела.

— Да, собственно, нет никаких особенных новостей...

— Погодите,— перебил меня председатель.— А не выпить ли нам чайку?

В ответ на это предложение я кивнул, и председатель нажал на какую-то специальную кнопку.

— Так вот я и говорю: нет никаких особенных новостей. Хожу, люблюсь на нашу первопрестольную... Между прочим, кнопку вы зря нажимали, все равно никто нам чаю не принесет.

— Тьфу! — сплюнул символически председатель.— Все никак не привыкну, что я один на весь Моссовет и есть.

С этими словами он протяжно вздохнул и сам стал готовить чай.

— Ну так вот,— принялся я за старое, когда чай уже был залит крутым кипятком, хорошенько настоялся и благоухал у меня под носом в старинной китайской чашке: — хожу, люблюсь на нашу первопрестольную. Это поразительно, до чего изменился город!.. Между прочим, где вы брали этот чудесный чай?

— Да напротив, угол Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Совершенно свободно лежит прекрасный английский чай.

— Так вот я и говорю: это поразительно, до чего изменился город! Тишина, спокойствие, достаток, чуткий, трудолюбивый народ — одним словом, цивилизация... Между прочим, Нина-то, ваша бывшая секретарша, что пишет из Мавритании?

— Пишет, что там больше не принимают. Желаете еще чашечку?

— С удовольствием! Ну так вот: цивилизация, одним словом. Я неделю тому назад авоську оставил у Елисеева, возле упаковочного стола. Вчера захожу, а она родимая дожидается меня возле упаковочного стола, только балычок, конечно, уже того... А все почему? Потому что благодаря мудрости некоторых руководителей... — тут я сделал многозначительную паузу, — в Москве теперь народ живет, а не население, разных национальностей, но — народ!.. Между прочим, я давеча статью написал в «Русское слово» о необходимости выхода СССР из Общего рынка. Помилуйте: они там все перецапались меж собой, в Испании бушует черносотенное движение, в Люксембурге процветает воровство на бензоколонках! — опасаясь, как бы наши не переняли.

— Напрасные опасения, — хладнокровно сказал председатель. — Кому перенимать-то? Строго говоря, некому все это перенимать. Желаете еще чашечку?

— С удовольствием! Ну так вот: написал я статью и, знаете ли, доволен — хлестко вышло, основательно, глубоко. Между прочим, вы-то что давеча сочиняли, как я вошел? Неужто действительно мемуары?

— Молод я еще мемуары-то сочинять. Это я писал обращение в Верховный Совет по поводу отмены закона об эмиграции. Ведь к чему все идет: кончится тем, что мы с вами тут только и останемся куковать. Двое москвичей будет на всю Москву: председатель Моссовета и Сергей Иванович Большаков!..

— И очень хорошо! — весело сказал я.

В огромном небоскребе всероссийского страхового общества «Саламандра» на Моховой, в ресторане для вегетарианцев под названием «У Толстого», сидели коллежский советник Болтиков и штабс-капитан Румянцев. Штабс-капитан только еще запивал, а коллежский советникпил уже десятые сутки и совсем не являлся в должность. После большого графина смирновской водки, под которую пошла спаржа, луковый суп, блины, салат из брюссельской капусты, бобы в винном соусе и маринованные маслята, приятелей разморило и, как водится, потянуло на политический разговор.

— Ну и как тебе понравилось последнее заявление Рейгана? — начал разговор Болтиков и вытер салфеткой губы.— Будь я на месте государя, я бы за такие штуки высадил десант где-нибудь во Флориде. Я бы ему показал «империю зла»!

— Господи, да что ты от него хочешь! — сказал Румянцев.— Актер, он и есть актер, да еще, говорят, с неоконченным средним образованием, да еще, говорят, отец у него алкаш. Вотпил я как-то водочку с актером Говорковым, что из Художественного театра,— ну, доложу я тебе, дубина, два слова связать не может! Касательно же десанта где-нибудь во Флориде я тебе скажу так: вооруженные силы империи расстроены в крайней степени, если что, мы даже против какого-нибудь Ирана не устоим. В армии бардак то есть невообразимый, до полной потери боеспособности. Поверишь ли: субалтерн-офицеров солдатня уже посылает матом!

— Ничего удивительного,— сказал Болтиков.— Если во главе военного министерства еще хотя бы год продержится великий князь Константин, именно первый дурак во всем Арканзасе, как в таких случаях выражался Марк Твен, то мы вообще рискуем превратиться в колонию Португалии.

— Собственно, в экономическом смысле мы уже давно колония Португалии,— сообщил Румянцев.— Ну что мы вывозим, кроме хлеба, леса, сырой нефти и каменного угля? А ввозим практически все, от компьютеров до летательных аппаратов!

Болтиков погрузнел.

— А не добавить ли нам, Андрюша? — предложил он после короткой паузы и щелкнул ногтем о стенку графина, который издал неприятный звук.— За то, чтобы Россия исчезла с лица земли.

— Человек! — закричал Румянцев.

Явился половой и выказал почтение внимательным склонением головы.

— Ты вот что, сармат ты этакий,— сказал ему Румянцев, растягивая слова,— подай-ка еще графинчик.

— Пятьдесят восьмого номера-с? — осведомился половой как бы не своим голосом.

— Другого не потребляем.

— Тысячу раз был прав Чаадаев,— продолжал Болтиков,— когда он писал: поскольку, кроме кваса, Россия ничего не дала миру, мир и не заметил бы, если бы она вдруг исчезла с лица земли.

Явился половой и тщательно поставил перед приятелями графин смирновской водки под № 58.

— Что да, то да,— подтвердил Румянцев.— Заклятая какая-то страна, точно господь бог о ней нечаянно позабыл. Взять хотя бы следующий случай: в семьдесят втором году генерал-адъютант Новиков, Петр Евгеньевич, подал в Инженерную комиссию записку о ручном зенитном оружии и через семь лет, вообрази, получает такой ответ — фантазируете, пишут, ваше превосходительство... А французы уже который год держат на вооружении базуки зенитного образца!

— Должно быть, у нас чертежи украли,— предположил Болтиков.

— С них станется,— подтвердил Румянцев.

— Нет, если, конечно, Россией и впредь будут руководить прохвосты и дураки, то мы не только окажемся беззащитными перед Западом, а еще и до четвертой русской революции доживем!

— Эх, прогнали, болваны, в восемнадцатом году товарищей-то, то есть большевиков! А теперь вот извольте пожинать плоды конституционной монархии во главе со взяточниками, казнокрадами и прочей политиканствующей шпаной!

— И никому ничего не нужно! — заявил Болтиков.

— И никому ничего не нужно! — сказал Румянцев.

— Вот я принципиально еще неделю не буду являться в должность! Пускай без меня терзают Россию господа кадеты и октябристы!

— Да они-то тут при чем?! — горячо возразил Румянцев.— Это все жида воду мутят, сбивают нас с истинного пути!

— Жиды и масоны! — заявил Болтиков.

— Жиды и масоны! — сказал Румянцев.

---

# Русская мечта

Русская мечта в отличие от американской будет позаковырестей, посложней. То есть тут у нас наблюдается разнობой и поляризация: если 99% нормальных американцев мечтают одолеть путь от разносчика газет до директора корпорации, то у нас кто мечтает украсть завод, кто чаёт царствия божьего на земле, кто грезит о новом лобовом стекле для своей «шестерки», кто спит и видит себя в ореоле бессмертной славы, кому вообще ничего не надо, дай только как-нибудь пострадать. А вот крайнее проявление русской мечтательности: Михаил Кукушанский бредит идеей летающего дивана.

Михаил Кукушанский, хотя и родился в простой семье, некоторым образом утонченный интеллигент. Это тем более удивительно, что работает он скотником в совхозе имени 10-летия Октября. Но в России, слава богу, утонченный интеллигент — понятие не профессиональное, не родовое, не бытовое, а скорее оно отражает степень расстроенности души. И все же Кукушанский — особый случай: что-то еще в классе пятом, то ли шестом саратовской средней школы он пристрастился к чтению и с тех пор страдает им, как вяло текущим заболеванием; и на ночь он читает, и, проснувшись, читает, и в транспорте читает, и на работе читает, и за обедом читает, и весь свой досуг посвящает чтению; то есть проще было бы сказать, что он не читает, только когда мечтает, а также во время сна. Читает он все, от сказок до монографий, но почему-то отдает предпочтение именно сказкам народов мира. Лет десять тому назад он выменял полное собрание этих сказок на монгольское кожаное пальто, подбитое лисьим мехом, и целую зиму проходил, закутавшись в ватное одеяло. Однако это еще цветочки по сравнению с тем, что его многократно увольняли с работы по собственному желанию, что он вынужден был расстаться с женой, кото-

рая мешала ему читать, вечно вторгаясь со своими мелочными проблемами, что его дочка страдала врожденной близорукостью, что, наконец, ему пришлось мигрировать из города на село.

Этому перелому предшествовало нешуточное событие — Кукушанского посадили. Посадили его, что называется, за язык: как-то под осень он начитался Радищева, выпил с горя и немного набезобразничал в сквере напротив рынка; так ему грозило от силы пятнадцать суток за мелкое хулиганство, но на суде он повел себя вызывающе, и ему вlepили два года, что называется, за язык. Например, судья его спрашивает:

— Как у вас вообще со спиртными напитками?

— Занимаюсь,— с вызовом отвечает Кукушанский.

— И часто занимаетесь?

— Не чаще нашего участкового.

Словом, это было бы даже интересно, если бы ему не вlepили срок.

Выйдя из тюрьмы, Кукушанский некоторое время болтался между землей и небом, а потом от греха подальше решил мигрировать из города на село. Случай занес его в совхоз имени 10-летия Октября, где он устроился вольным скотником и вскоре женился на одной квелой бабенке, которая постоянно дремала, точно была подвержена поверхностной летаргии, и посему не мешала ему читать. Но, главное, в этом совхозе на работу можно было выходить хоть два раза в месяц — и ничего. Немудрено, что прежняя жена Кукушанского получала от него в среднем два рубля алиментов, но зато аккуратно каждое пятнадцатое число.

В доме у Кукушанских, разумеется, ералаш: посуда не мыта, пол не метен, в красном углу свалено нестираное белье, дворняжка по кличке Кукла спит на хозяйской постели, которая не прибирается никогда, а в воздухе шныряет такое количество мух, что это даже невероятно; мухи тут господствуют оттого, что Кукушанский поставил хлев непосредственно у крыльца, чтобы можно было прямо с порога задавать борову положенный рацион.

Когда ни зайдешь к этим оболтусам, такая открывается жанровая картина: хозяйка сидит за столом и дремлет, положив голову Кукушанскому на плечо, а сам Кукушанский в одной руке держит книгу, а другой отгоняет мух; или хозяйка сидит за столом, уронив голову

между чашек, а Кукушанский лежит на диване совместно с Куклой и в одной руке держит книгу, а другой отгоняет мух.

— Миш, а Миш,— скажешь ему, бывало,— какой же у вас бардак!

Он только посмотрит тупо-вопросительно, как спронеся, и в лучшем случае ответит:

— Иди ты к черту...

Но если застать его за мечтой, то с ним бывает можно как-то поговорить.

— О чем мечтаешь? — спросишь его, бывало.

— О летающем диване.

— О чем, о чем?!

— О летающем диване.

— Ну, ты даешь!..

Кукушанский приподнимается на локтях и пускается в объяснения:

— Вот ты думаешь, что это беспочвенная фантазия, а на самом деле это реальный лежательно-летательный аппарат. Представляешь: помещаем вовнутрь дивана — где у меня сейчас свалены старые веники — мощный компрессор, в дне проделываем отверстия, вставляем в них сопла, соединяем их с компрессором и, как говорится,— полный вперед! Только вот придется расширить дверной проем, а то диван в него не пройдет.

— Ну, а дальше что?

— Дальше только кнопки нажимаешь. Нажал одну кнопку: компрессор начинает нагнетать воздух и с огромной силой выталкивает его через сопла — ну и поползли себе потихоньку к двери, а там на крылечко, а там на двор. Нажали другую кнопку: компрессор работает уже с неистовой силой и поднимает диван на нужную высоту. После этого, так и сяк меняя угол расположения сопел относительно горизонта, можно лететь в любом полюбившемся направлении.

— Да куда тебе летать-то, скажи на милость?!

— Да хоть куда! На ферму можно летать, в сельпо — вплоть до районной библиотеки.

— А источник электроэнергии?! Ты представляешь себе, какого веса нужен аккумулятор, чтобы он обеспечивал твоему компрессору соответствующее питание?

— В этом смысле я рассчитываю на солнечные батареи, как на космическом корабле, только расположенные наподобие балдахина. И питание они обеспечивают, и сверху не капает, если что.



— Нет,— говорю,— солнечные батареи, это громоздко будет. Разве что тут на сверхпроводимость приходится уповать.

— Одним словом, летающий диван, согласись, вполне решаемая задача. Это тебе не сорок центнёров с га. Особенно меня окрыляет самоходная печь Емели, который скорее всего был реальный деревенский изобретатель, выдающийся конструктор своего времени, и поэтому народ запечатлел в своих преданиях его технические новинки.

Эта параллель всегда меня настораживает, но тут я спрашиваю себя: а чему я, собственно, удивляюсь? Действительно, идея летающего дивана — это еще не самая вызывающая мечта; вот я знаю одного директора облторга, который четыре года подряд мечтает набить морду султану Салеху Саиду ибн Фаттаху за то, что султан спровоцировал падение цен на сырую нефть.

Юлий Капитонов с детства писал трактаты. Прочие мальчики и девочки его возраста занимались разными бессмысленными делами или ничем вовсе не занимались, а Юлий Капитонов как столкнется с чем-нибудь примечательным, так сейчас сочинит трактат. У него были трактаты о бабочке-адмирал, о самоуправлении комсомола, о почте, о любви, об этике поведения школьников на переменах — ну и так далее в этом роде, всего не имеет смысла перечислять. Разумеется, такая его склонность даром никак не могла пройти: с отроческих лет Капитонов был человеком дерганым и, как говорится, незащищенным. На семнадцатом году жизни он пытался покончить самоубийством, застав свою мать с каким-то неведомым мужиком.

В 1965 году, когда у государственного руля уже стоял туполикий Леонид Брежнев, юный мыслитель поступил на философский таки факультет Московского университета, но в бытность студентом-философом себя особо не показал. Правда, он написал с десятков трактатов о разных разностях, но они не отличались значительной глубиной. Вообще за годы учебы в Московском университете он сделал только два фундаментальных приобретения: он приобрел настоящего друга по фамилии Карабасов и одну таинственную болезнь — в тот самый момент, как он отходил ко сну, ему неизменно являлось привидение деда по женской линии и начинало его душить.

Только из-за того, что, так сказать, государственная философия, которой Юлия Капитонова пичкали в течение пяти лет, прямого отношения к философии

не имела, он вышел из университета закоренелым идеалистом. Хотя в капитоновском идеализме было много от советского образа мышления, например, он признавал все три диалектических закона и очистительное значение революций, но тем не менее своего места в жизни, соответствующего диплому и устремлениям, он так до смерти и не нашел. Он долго мыкал горе по странным организациям, несколько лет перебивался немецкими переводами и наконец устроился в котельной истопником. Поскольку на работу ему нужно было являться через двое суток на третьи, весь свой досуг он уже мог посвятить трактатам. Впрочем, и на работе он находил время для философии: накидает в топку угля, проверит температуру и давление по приборам — и тут же за карандаш. Друг Карабасов на него удивлялся; бывало, зайдет в котельную проведать своего однокашника, застанет его за вечной зеленой тетрадкой, исписанной вкривь и вкось, и сразу принимается удивляться.

— Совсем ты оторвался от жизни, как я погляжу, — бывало, говорил Карабасов, сторожко присаживаясь на ящик из-под вина. — Ну чего ты себя мучаешь, малохольный ты человек?! Ну кому сейчас нужны твои грезы, кроме специалистов из КГБ? Вот бери пример с меня: никакой философии, помимо поведенческой, бытовой, и поэтому налицо полное процветание!..

— Кто любит попа, а кто попову дочку, — хмуро отвечал ему Капитонов.

В 1980 году он закончил свою коренную работу, которую назвал «Новой монадологией», отнес ее в издательство «Мысль» и получил резкую отповедь сразу от нескольких рецензентов. В результате редактор вернул ему рукопись и сказал:

— Вы, честное слово, прямо как на луне живете! В мире свирепствует идеологическая борьба, а вы тут лейбницевщину разводите, подсовываете нам учение о монадах!.. Да уже за одно то, что вы везде приплетаете бога как источник вторичной нравственности, вас на порог допускать нельзя! Скажите спасибо, что вы живете в такое время, а то бы ваш опус быстренько оценили как вылазку, и будьте здоровы — прямым ходом на Колыму!

Делать было нечего: Капитонов забрал свою рукопись и с месяц пропьянствовал то в компании с Карабасо-

вым, то один. О философии они больше не говорили; они преимущественно варьировали ту тему, что Россия — богооставленная страна.

— Эмигрирую я, к чертовой матери! — говорил Капитонов. — Надоело мне до смерти это царство негодяев и дураков!

— И глупо сделаешь, — предупреждал его Карабасов. — Мыслить у нас, конечно, не рекомендуется, но зато у нас интересно жить. Вот был я в семьдесят четвертом году в цивилизованной Югославии — ну, все у них разрешается, хоть на голове ходи, но при этом невыразимая скукота!..

И вот как-то под вечер в котельную к Капитонову заявляется вроде бы иностранец, то бишь и физиономия у него почему-то была среднерусская и выговор среднерусский, но одет он был как форменный иностранец. Заявляется эта личность и просит разрешения познакомиться с «Новой монадологией» на предмет ее издания за границей. Капитонов поинтересовался из праздного любопытства, дескать, каким же образом про нее пронюхала Западная Европа, на что иностранец ему отвечает: приятные новости распространяются со скоростью электричества. Капитонов немного покобенился перед гостем, втайне борясь со своим рудиментарным гражданским чувством, а потом вручил ему рукопись и даже заставил выпить стакан портвейна.

Что-то через неделю в котельной опять появляется давешний посетитель; он вернул Капитонову рукопись и сказал:

— Эта философия на Западе не пойдет. Помилуйте, у вас там бог упоминается как источник вторичной нравственности, а первичная нравственность у вас получается субстанция, абсолют. Нет, христианский мир этого не поймет.

Капитонов, конечно, опять запьянствовал; Карабасов, как правило, деливший с ним горькую чашу, постоянно его подначивал с победным выражением на лице:

— Ну что, по-прежнему собираешься эмигрировать, отщепенец?

— Так точно, — сообщал ему Капитонов.

— А куда ты, собственно, собираешься эмигрировать, в Антарктиду?

— Я знаю, куда, не твоя печаль...

Вечером 21 января 1981 года Карабасов не нашел своего друга в котельной и явился к нему домой. Дверь в квартиру почему-то была открыта; Карабасов осмотрел горницу, спальню, кухню, а затем заглянул в ванную комнату и вот что ему открылось: Капитонов лежал в сухой ванне голый и был аккуратно по соски неприятно-розоватого цвета, точно его покрасили акварелью; вены на обоих запястьях были разрезаны и зияли.

— Надул-таки, эмигрант хренов...— сказал Карабасов и некрасиво взрыднул, как если бы поперхнулся.

1989

# Анамнез и Эпикриз

В нашем отделении проживали два самостоятельных кота по кличкам Анамнез и Эпикриз. Мы, то есть двенадцатая палата, понятия не имели, что это были именно самостоятельные животные, издавна обитавшие на территории инфекционной больницы имени Гамалея, и поэтому купили котов за пятерку у сантехника Константина; этот, видимо, нечистый на руку Константин все продавал почему-то за пять рублей — от таблетки намбутала до смесителей югославского производства; возможно, это у него был такой пункт, вроде клаустрофобии или слепой веры в тринадцатое число. Котов наша палата купила для препровождения времени, поскольку мы тогда еще не успели хорошенько перезнакомиться и нам было не о чем говорить, разве что о нашей общей болезни, до того, впрочем, потешной, равно как и опасной, что о ней не очень-то хотелось и говорить; для заинтересованной публики намекну, что это такая болезнь, при которой спиртное противопоказано под страхом лишения живота; еще намекну, что от нее скончался в Таганроге император Александр I Благословенный.

Анамнез с Эпикризом оказались замечательными котами: они были дружны, как братья, меланхоличны, как продавцы, забавны, как говорящие куклы, и сообразительны, как королевские пуделя. Заведующая отделением Вера Сергеевна Осипчук наших котов гоняла, но они либо прятались от нее в автоклавах, где процедурные сестры стерилизовали медицинский инструментарий, либо вообще исчезали и возвращались в отделение вечером, примерно за пять минут до того, как дежурная сестра запирала ход.

Вот сейчас даже не соображу, что это я зациклился на котях, ведь дело совсем не в них, а в том, что нас в палате собралось шестеро, так сказать, разноплановых

мужиков; сначала мы жили сравнительно мирно, а потом поделались на два враждующих лагеря и кончили отвратительным инцидентом. Собственно, в этом не было ничего удивительного, что мы кончили отвратительным инцидентом, потому что советская больница — и впрямь демократическое учреждение, если исключить специальные лечебницы для ханов, нойонов, нукеров и прочего политического актива, и это немудрено, что в нашей палате оказалось всякой твари по паре да еще и самой разнообразной ориентации в смысле моралитэ. А именно: с левой стороны, как войдешь в палату, лежал милиционер Афанасий Золкин, за ним грузчик из мебельного магазина Сергей Чегодаев и у окна какой-то мелкий профсоюзный работник по фамилии Оттоманчик; с правой стороны, как войдешь в палату, лежал, что называется, ваш покорный слуга, за мною слесарь-наладчик с завода «Манометр» Ваня Сабуров и у окна профессиональный вор Эдуард Маско. Как я уже упоминал, все это были люди в высшей степени непохожие, со своими причудами, слабостями, несимпатичными и приятными сторонами. О каждом из них в отдельности можно рассказать следующее... Милиционер Золкин был славный малый со светлым чубом и как бы взыскующими глазами, хотя с лица немного придурковатый; в отличие от всех нас, он ничего не читал, а просто валялся, часами глядячи в потолок, или ходил стрелять воробьев, вооружившись пригоршней пуль от пистолета Макарова и рогаткой. Грузчик Чегодаев был мало похож на грузчика, ибо и комплекцией он отличался самой обыкновенной, и книги читал по теории малых чисел, и ел деликатно, словно какой-нибудь атташе. Профсоюзный работник по фамилии Оттоманчик представлял собой пожилого, неказистого, лысого человека с аккуратным пузцом, который читал газеты и еще такой был темнила, что мы даже не знали его по имени; мы и фамилию-то его выяснили из какой-то медицинской бумажки, случайно завалившейся на посту. Ваня Сабуров читал что попало, тоже был мужиком в годах, но, как говорится, хорошо сохранившимся, молодежавым, и выделялся тем складом славянской физиономии, которая вызывает безотчетное расположение, плюс еще такая композиция ее черт, точно он все время вспоминал счастливейшие мгновения своей жизни: к нам Иван попал прямехонько из Боткинской больницы, где ему сначала вырезали две трети

желудка, а потом заразили нашей болезнью посредством одноразового шприца. Вор Маско, который, между прочим, нисколько не стеснялся своей профессии, хотя и не особенно ею хвастал, был невзрачный мужичок лет тридцати пяти с брезгливым выражением на лице и оттопыренными ушами; он носил шелковый домашний халат с китайским иероглифом на спине и читал исключительно детективы, которых у него была целая походная библиотека, но говорил таким путаным, уродливым языком, точно он перенес инсульт. О себе я не стану распространяться.

К нашей компании нужно еще прибавить тихого сумасшедшего Виктора Семеновича Перцинского из четвертой палаты, который вечно ходил к нам играть в шахматы и в буру.

Время мы следующим образом проводили: утром — процедуры, кому какие, потом хождения по коридору, курение в туалете, звонки домой по единственному телефонному автомату, висевшему при выходе из нашего отделения, занятия с котами — наконец завтрак, на который нам всегда давали манную кашу; после завтрака чтение, игривые разговоры с дежурной сестрой Ниной, единственной из сестер, вступавшей с нами в игривые разговоры, хождения по коридору, курение в туалете, самовольные прогулки компаниями вокруг корпуса, занятия с котами и вот наконец — обед, на который нам давали воду с капустой, котлетку с перловой кашей и преподобный кампот из... вот даже и не скажешь, из чего точно, а впрочем, вор Маско уверял, что кормят нас куда лучше, чем подсудимых и тем более заключенных; вторая половина дня проходила содержательнее, занятней: в так называемый тихий час мы разбирались по своим койкам и брались за книги, но почти сразу же их откладывали, потому что сами собой заводились веселые разговоры.

— Вот интересно, — предположим, заведу я, — почему у тебя, Афанасий, такое ископаемое имечко — Афанасий?

Наш милиционер мне ответит:

— Потому что мой дед был из староверов Рогожского древлеправославленного согласия. Я-то еще что, вот у моего брата имечко — Януарий, вот это да!

— Вообще с этими предками одно горе, — скажем, вступит Иван Сабуров. — Дед мой, представьте, в тридцать шестом году под машину попал, потом отец на



войне под машину попал, потом старший брат Николай тоже под машину попал, причем под «скорую помощь», потому что они ездят как чумовые. А я вот сейчас лежу и удивляюсь, что у меня оказалась язва желудка, от которой я, наверное, и помру. Я почему удивляюсь: потому что под машину попасть, это у нас вроде как наследственная болезнь.

Потом настаивал черед профсоюзного деятеля Оттоманчика, который всегда рассказывал разные необыкновенные истории, например:

— А вот у меня в семьдесят четвертом году была какая-то несуразная, загадочная болезнь, я ее даже до поликлиники не донес — вот какая была болезнь! Иду я, значит, как-то по улице и что-то мне страсть захотелось пить — дело-то было летом, в умопомрачительную жару. Значит, напился я из-под крана в какой-то уборной, потому что повсюду были несуразные очереди за газированной водой, и иду себе дальше, иду, иду и вдруг — здравствуйте, я ваша тетя: что-то во мне внезапно заговорило!.. Вот прямо так и заговорило ясным голосом в области живота, как будто у меня там радио завелось. Так, значит, прямо и говорит: «А вот если бы инженер по технике безопасности, товарищ Ломейко, добросовестно исполнял свои непосредственные обязанности и следил бы за изоляцией проводов...» — «Погоди! — значит, говорю я этому чуждому голосу.— Ты, собственно, кто такой, и почему ты из меня рассказываешь про технику безопасности?» Голос мне соответственно отвечает: «Я,— говорит,— сменный мастер с завода «Электролит» Григорий Аркадьевич Иванов, а ты кто такой?» Я говорю: «А вот это не ваше дело! Какой тоже, понимаешь, нашелся гусь, залез контрабандным образом в человека и еще вопросы разные задает!..»

— Ну, волки позорные! — иногда заорет Маско на самом затейном месте.

В таком случае кто-нибудь его спросит:

— Ты чего это неистовствуешь, Эдуард?

— Да вот у этого... как его...— И Маско поворачивает книгу к себе обложкой: — у *Буалонерсежака*, менты ихние... в плане делового одного прихватили на ровном месте. Ему бы, дураку, это... временно затаиться, а он, бес такой, на рожон! Его и взяли за суету! Ну, повсеместно свирепствуют менты, хоть ты эпоха застоя, хоть ты это... капитализм!

Милиционер Золкин непременно на это скажет:

— Мало вас, гадов, дают! Моя бы власть, я бы всю вашу шоблу сгноил на урановых рудниках!

А Маско в ответ:

— Это ты умоешься, мент позорный!

— Да погодите вы, честное слово! — предположим, Чегодаев погасит склоку.— Дайте дослушать про загадочную болезнь...

— Ну, значит, я ему говорю,— продолжит Оттоманик с воодушевлением в голосе: — «Какой тоже, понимаешь, гусь, залез контрабандным образом в человека и еще вопросы разные задает!» Он мне отвечает, но уже без гонора, а как бы примиренчески отвечает: «Положим, я в вас не по своей воле залез, а в силу круговорота воды в природе. Потом, у меня масса вопросов накопилась к социалистическому способу производства. Почему в полном загоне находится техника безопасности? Почему рабочему человеку платят гроши? Почему станочный парк у нас на уровне фантастики восемнадцатого столетия?» Я тогда ему говорю: «Поскольку я являюсь профсоюзным работником, то на такие злопыхательские вопросы отказываюсь отвечать. И вообще я по своей линии отвечаю только за спецодежду. Но поскольку со спецодеждой у нас никак, то я, считай, ни за что конкретно не отвечаю». — «То-то и оно! — говорит этот зловредный голос.— Что ни за что вы, баламуты, не отвечаете и поэтому до ручки довели бывшее великое государство! Вас бы всех по-хорошему надо разбросать по овощным базам картошку перебирать, пока вы не развалили СССР до международного положения какой-нибудь Эфиопии». — «Я,— говорю,— отказываюсь слушать такую махровую антисоветчину, да еще исходящую непосредственно из меня! Это возмутительно,— говорю.— Я человек партийный, беззаветно преданный делу социалистического строительства, а вы из меня делаете какого-то диссидента! Я,— говорю,— сейчас в милицию пойду, сволочь антисоветская!..» Голос отвечает: «От вас-то и все наше народное горе, от преданных социалистическому строительству, потому что вы сами не знаете, что это за овощ и к чему его прикажете отнести. А в милицию ты иди, я там при дежурном еще не такое скажу, чтобы тобою заинтересовались компетентные органы. Ведь тебя, дурака, в Лефортово упекут!»

В это время, то есть что-то посредине тихого часа, к нам в палату обычно приходит сумасшедший Перцин-

ский, молча усаживается за стол и начинает расставлять шахматные фигуры.

— В милицию я, конечно же, не пошел, поскольку это был бы несуразный поступок: ну как я докажу компетентным органам, что это не я распространяю заведомую клевету на наш общественный строй, а та зараза, которая засела внутри меня! А он все зудит, понимаете ли, зудит в разрезе обывательских настроений... Делать нечего, думаю, надо идти в нашу районную поликлинику, пускай врачи разбираются, что к чему, все-таки у них существует врачебная тайна, и, может быть, эта катавасия до Лефортова не дойдет. И тут мне вдруг захотелось по малой надобности. Ну, нету мочи терпеть, а до ближайшей общественной уборной, как вы сами понимаете, минимум четыре троллейбусных остановки. Делать нечего: помочился я в первой попавшейся подворотне. И вот ведь чудеса какие: только я помочился, как чуждый голос во мне замолк. Вот что это было?! Лично я до сих пор не могу понять, какая это обрушилась на меня несуразная, загадочная болезнь...

Я могу на это предположить:

— Возможно, вы перенесли временное помешательство, вот как бывает временный паралич, но только, так сказать, мимолетное, вроде секундного обморока на ногах.

— Нет,— возразит Перцинский,— это что-то другое было, в литературе по психиатрии такие случаи не описаны. Я это со всей уверенностью заявляю, потому что по психиатрии я прочитал все. Потом, вы, товарищ Оттоманчик, совершенно на сумасшедшего не похожи. Они все квелые какие-то и одновременно враждебно-задумчивые, точно они вынашивают план политического убийства.

— А ты откуда знаешь? — обязательно подначит его Маско.

— Как же мне не знать, когда я сам сумасшедшим был! Я, товарищи, извините за откровенность, все психбольницы прошел и даже после этого жив остался. В Куйбышеве, например, отличные условия, там и не знали, что это за животное — тараканы. А в Матросской Тишине по палатам ходит медбрат вот с такой здоровенной плеткой — как вдарит разок, так сразу позабудешь, какой у тебя диагноз! А диагнозы у многих ребят были заковыристые, потому что у них и пункты

заковыристые были: один у Ганнушкина даже всю дорогу разговаривал на панкрите<sup>1</sup> — он, наверное, себя Буддой воображал.

— Ничего себе медбрат,— задумчиво скажет Ваня Сабуров.— Это по-настоящему медвраг какой-то, а не медбрат!..

— Кстати, о Будде,— поддержит разговор Чегодаев.— Это, скорее всего, в тебя, Оттоманчик, по случайности вселился дух какого-то мертвеца. Ведь у буддистов человеческая душа то и дело переселяется в разные предметы и организмы, скажем, из человека в дерево, из дерева в рыбу, из рыбы в воду...

— Ну, это уже мистика пошла! — открестится от чегодаевской гипотезы Оттоманчик.

— Ну почему? — не согласится с ним Чегодаев.— Недаром же тот самый мужик, который по ошибке в тебе засел, обмолвился насчет круговорота воды в природе. Небось, был себе, действительно, Григорий Аркадьевич Иванов, сменный мастер с завода «Электролит», а потом его убило током по недосмотру инженера Ломейко, ответственного за технику безопасности, потом Иванова похоронили и душа его, согласно буддийскому учению, ушла в грунтовые воды, потом ты, Оттоманчик, сменного мастера, так сказать, выпил, и он в тебе начал критику наводить. А в финале ты от него освободился, пописав в первой попавшейся подворотне. По-моему, вполне логическая вырисовывается картина...

Оттоманчик, предположительно, будет некоторое время соображать, как бы ему опровергнуть эту фантастическую теорию и заодно отомстить насмешнику, но ему ничего не придет на ум, и он только отвернется от нас к стене, притворяясь, будто его охватила дрема.

После тихого часа и вплоть до ужина наши играли на двухкопеечные монеты в шахматы и в буру, иногда устраивая краткосрочные перерывы, потому что обычно в это время наших игроков навещали, так сказать, пришельцы из большой жизни — знакомые и родня. Только меня, бедолагу, ни одна собака не навещала, а впрочем, я сам запретил строго-настрого таскаться ко мне в больницу, ибо стеснялся показаться уважающим меня людям в той шутовской, издевательской униформе, в которую облачают у нас больных; я имею в виду исподнюю рубаху солдатского образца, какие, наверное, но-

---

<sup>1</sup> Разговорный язык древних ариев.

силы еще суворовские чудо-богатыри, широченные шаровары из байки бледно-пасмурного оттенка и прекомичную курточку с подростковыми рукавами, которая прилична разве что вокзальному попрошайке. Чтобы отвлечься от тихой тоски по ослушнику-посетителю, я начинал заниматься с котами и сразу же забывался. Это немудрено: Анамнез, вроде бы беспорядочно ширкая лапами, умел из спичек складывать разные геометрические фигуры, а Эпикриз их по вредности разрушал; или я сажал котов на постель и пересказывал им «Алису в стране чудес», а они внимательно слушали и, сдается мне, глазами отыгрывали сюжет; или я учил их делать стойку на голове, чего они, правду сказать, терпеть не могли, однако же терпели из почтения к человеку.

Самой томительной, грустной порой было время от ужина до полуночи, когда отделение отходило ко сну и постепенно распространялась какая-то именно больничная, хворающая тишина. Мы бродили поодиночке, мусоля в голове невеселые свои мысли, то и дело курили в уборной и подолгу смотрели в черные окна, предвкушая кто бессонницу, кто кошмары. До сна мы еще успевали устроить коллективное сафари на комаров, которых в нашем отделении водилось неистовое количество, и уничтожали таковых до последней особи из того законного опасения, что они переносят заразу с пятого этажа, где у нас угасали больные спидом. Ближе к полуночи вору Маско начинались экзотические звонки, и он удалялся на пост для каких-то своих темных переговоров — это при том, что пользоваться служебным телефоном больным категорически воспрещалось; затем Иван уходил к сестре Нине, с которой они запирались в помещении, обозначенном табличкой «Лаборатория»; затем являлась медичка из административного корпуса и делала Чегодаеву загадочную инъекцию — Чегодаев лукавил, будто ему колят некий сомнамбулин — отчего лицо его в скором времени приобретало несвойственные черты и начинало изображать такое глубокое удовлетворение, точно он лежал, а голос свыше нашептывал ему приятные предсказания. Что-то около полуночи мои однопалатники засыпали, постепенно умиротворялось и все наше обширное отделение, вообще смолкали все звуки жизни, и только тихий сумасшедший Перцинский еще долго бродил по коридору туда-сюда и разговаривал сам с собой. Ночью бредили

почти все; не знаю, бредил ли я, но, когда мне вдруг случилось проснуться посреди ночи, в палате, можно сказать, стоял дикий бессвязный говор.

— Руки за голову, ноги на ширину плеч... — положим, командовал милиционер Золкин.

— Козел! — свирепо шипел во сне Ваня. — Тут же резьба ноль два, а ты взял плашку на ноль четыре!..

— Кворума нет, нет кворума!.. — неприятно взвизгивал Оттоманчик.

Маско снился лагерь, и он орал:

— Пятый отряд, становись на шмон!..

Утром мы просыпались по той причине, что дежурная сестра совала нам градусники, и день начинался по заведенному образцу.

А потом мы поделились на два враждующих лагеря и довраждовались со временем до того, что дело закончилось отвратительным инцидентом. Уже сворачивалась весна, была середина мая, и я отчетливо помню, что накануне похолодало, и вдруг вылезла защитная зелень дуба. В тот памятный день мы всей палатой нарочно ходили смотреть на эту причуду отечественной природы, то есть мы еще до завтрака отправились к двум молодым дубкам, которые произрастали у входа в морг, причем Эдуард Маско даже несколько раз погладил новорожденные листочки своими несправедливыми руками; и чего это на нас напала такая ботаническая чувствительность — не пойму, но, возможно, она напала из-за того, что наша палата как бы эмблемизировала жизнь если не угасающую, то неверную, и нас с нехорошим уклоном в ревность волновала жизнь практически здоровая, молодая.

Вернувшись в палату, мы разлеглись по койкам, и только Ваня Сабуров сказал, ни к кому отдельно не обращаясь:

— А чего это сегодня лекарства нам не несут? — как в нашу палату зашла дежурная сестра Нина и объявила, что медикаментозное лечение временно отменяется, поскольку лекарства не завезли. Маско на это объявление невнятно заголосил, так как он вообще трепетно относился к любому ущемлению своих прав, но мы его успокоили — дескать, не завезли, и не надо, и хрен с ним, что не завезли. Однако Афанасий Золкин все же поинтересовался:

— Хотелось бы знать, между прочим, почему это сегодня лекарства не завезли?

Нина ему сказала:

— Вопрос не ко мне. Вопрос к нашему главврачу, который в Ильинском возводит дачу.

— Это, ребята, целая славянская тайна! — с печальным восторгом заметил я. — Ну кому на Западе будет понятна такая зависимость: больные в больницах болеют, в частности, потому, что главные врачи себе строят дачи... Это для Запада прямо головоломка, вот как если бы было доказано, что Луна вращается вокруг Земли по причине отсутствия в продаже стирального порошка...

— Просто у них там мозгов по две чайных ложки на человека, — откликнулся на мое замечание Оттоманчик. — Поэтому им ничего не понятно, а нам — благодаря смекалке — все понятно как божий день.

До завтрака к нам еще заглянул Константин, сантехник, и предложил купить у него за пятерку целую подшивку больничных бланков, которые приобрел Эдуард Маско; при этом он поинтересовался у Константина, почему на все его товары установлена одинаковая цена, но сантехник таинственно промолчал.

После завтрака был обход: явилась заведующая отделением Вера Сергеевна Осипчук в сопровождении длинноногой дежурной врачихи, которую мы не знали по имени-отчеству, и они стали нас по очереди обходить. Когда очередь дошла до вора Маско и Вера Сергеевна по обыкновению спросила его:

— Как дела?

— он ответил на своем ломаном языке:

— Дела все у Чебрикова. Мы... у нас... это — одни делишки.

Когда очередь дошла до милиционера Золкина, он заявил претензию.

— Ну у вас порядки, Вера Сергеевна, — сказал он. — Вы в курсе, что сегодня в отделение лекарства не завезли?

— Ничего, — сказала ему Вера Сергеевна, — не помрете. Вот в наш овощной магазин вторую неделю овощи не завозят, и ничего, как-то продолжаем существование. Тем более что лекарства вам дают, так сказать, для проформы, потому что ваша болезнь медикаментозно все равно не лечится, а проходит сама собой. Для вас настоящее лекарство — это только покой и сон.

На это я сказал:

— Отлично устроилась советская медицина!

— А чем вы, собственно, недовольны? — обратилась ко мне длинноногая врачиха и недобро скривила бровь.

— Да нет, я, собственно, всем доволен, и даже счастлив: глаза видят, уши слышат, сердце гоняет кровь — то есть выживу я у вас, и на том спасибо. Я единственно изумляюсь на советскую медицину, которая только и знает, что наблюдать за деятельностью природы. Или это у нее такое стратегическое направление? Или она у нас тоже дошла до ручки?

— По бедности это все,— как-то скучно сказал Иван.— Они, может быть, и рады нас всевозможными лекарствами завалить, да где ты их возьмешь при такой разрухе...

Длинноногая врачиха дала совет:

— В вашем положении, товарищи больные, надо тихонечко лежать и думать о приятном, а не критику наводить.

— И вообще хворать не надо,— добавила Осипчук.

И они ушли, ненароком позабыв осмотреть Чегодаева и меня.

В полдесятого мы позавтракали, потом ходили звонить домой, курили в уборной, заводили игривые разговоры с Ниной, бродили по коридору и читали кто что, разобравшись по своим койкам. После того как у меня открылась жестокая рябь в глазах — мой томик Кляйста был издан до реформы правописания,— я затащил на свою постель Анамнеза с Эпикризом; намерение мое было продолжить пересказ «Алисы в стране чудес», но что-то коты меня слушали без внимания; тогда я умолк и призадумался на тот счет, что быть котом это не самая скверная участь, не самая скверная хотя бы по той причине, что нормальный кот безошибочно ставит себе диагноз, абсолютно точно выходит на нужное лекарственное растение и, следовательно, ему нипочем разные главврачи, которые строят дачи; за несколько минут до обеда ход моих мыслей уперся в то, что, может быть, создатель дал маху, избрав именно обезьяну как полуфабрикат для совершения человека.

После обеда, во время тихого часа, в нашей палате случился диспут, который и привел нас к расколу на два враждующих лагеря, о чем я уже выше упоминал.

— Главное, что пожаловаться практически некому,— вдруг начал говорить Оттоманчик,— они там наверху в гробу видали наши жалобы и предложения, это я по горькому опыту говорю. Куда я только в свое



время не писал, вплоть до штаб-квартиры ЮНЕСКО, и то они мне прислали из-за границы бюрократическую отписку, дескать, так и так, не имеем права вмешиваться в ваши внутренние дела, хотя они у вас как сажа бела,— это известно всем...

Чегодаев его прервал:

— Я, командир, не ожидал от тебя таких отщепенческих настроений, а, главное, я от тебя переписки с врагами не ожидал.

— Так ведь я на что жаловался? — начал отбояриваться Оттоманчик.— Я ведь не на Советскую власть жаловался, а вскрывал отдельные безобразия, искажающие лицо развитого социализма! Значит, как-то произошел у нас такой случай...

— Опять кто-нибудь в тебя вселился? — спросил его Иван и сделал как бы юмористическое лицо.

— Ну дайте человеку договорить! — возмутился Золкин.— Пускай он договорит, а потом вы ему хоть «ласточку» сделайте, если он что-нибудь нереальное наплетет.

— Ты... это...— сказал Маско,— ты, в натуре, отвечай за свои слова. Все-таки ты не в дежурной части. Оттоманчик продолжил свою историю:

— Так вот, году, что ли, в восьмидесятом, открылась у нас, значит, вакансия начальника управления. Бывший начальник попался на крупной взятке, то есть он кому-то не тому дал, и его потихоньку ушли на персональную пенсию со всем набором номенклатурных благополучий. Поэтому у нас открылась вакансия начальника управления. Ну, мы все, конечно, в трансе, поскольку неизвестно, какого крокодила накачают на нашу шею. Старый-то был миляга: он и взыщет, и приласкает, и не выдаст, и наградит — и все это, значит, как-то по-родственному, точно он тебе не начальник, а шурин по женской линии.

Обычно такие назначения затягиваются как минимум на квартал, а тут буквально на третий день является несуразный такой человечек лет тридцати пяти, причесанный, аккуратненький, и прямым ходом занимает кабинет начальника управления. Мы все, конечно, в трансе, потому что уж больно он несуразный какой-то, неположительный, я бы сказал — чреватый, и, главное, на номенклатурного работника вот столечко не похож...

И Оттоманчик показал ноготок на своем мизинце.

— Ну ладно: день проходит нормально, второй про-

ходит нормально, а на третий день начинается Вавилон! Оказывается, этот хмырь придумал какую-то неистовую организацию труда, при которой лишний раз не перекинешься словом с товарищем по работе. Значит, вместо нормального производственного процесса, крутимся все, как белки в колесе, думаем до седьмого пота, какие-то графики составляем, одним словом,— началась древне-египетская эксплуатация человеческого труда. И если тебя, положим, застали за вязанием или ты смотался куда на часок-другой, то сразу будьте любезны, заявление по собственному желанию...

Терпели мы, терпели, а потом начали строчить жалобы. Я даже в штаб-квартиру ЮНЕСКО заявление написал, потому что наши инстанции никак не реагировали на действия этого врага народа, но капиталисты мне прислали бюрократическую отписку, дескать, не имеем права вмешиваться в ваши внутренние дела, хотя они как сажа бела,— это известно всем. Пробовали также испытанное оружие пролетариата, то есть деятельно игнорировали производственные обязанности, но и это не помогло: просто наш новый хмырь взял и выкинул на улицу с десятков отцов семейств, обре... обре... ну, как это говорится,— обрекая малолетних детей на голодное прозябание. Вроде бы он полностью демаскировал себя как вражеского наймита, но наши инстанции ни гугу.

И вот что-то через полгода, когда мы уже давали такой экономический эффект, что к нам прислали проверку из министерства, вдруг выясняется, что наш иуда на самом деле Лжедмитрий и самозванец. Один мужик из отдела кадров как-то охотился вместе с одним влиятельным референтом и по пьяной лавке его спроси: что это вы — положим, Иван Иванович,— такого к нам сельджука прислали, от которого народ стонет и разбегается кто куда? А референт по пьяной лавке ему в ответ: никого мы к вам покуда не присылали, кандидатура на пост начальника управления еще только прорабатывается в верхах. «Как же не присылали,— интересуется кадровик,— когда нам был ответственный звонок из Совета Министров, когда сам — положим, Петр Петрович — нам этого бандита рекомендовал?..» Тогда референт, в свою очередь, интересуется: а кто этот самый Петр Петрович будет? И тут выясняется, что черт его знает; кто он есть такой, этот самый Петр Петрович!

Словом, вывели гада на чистую воду! Оказывается, он был простой кандидат наук, который выдумал прямо древнеегипетскую систему эксплуатации человеческого труда и пошел на прямой подлог личности, чтобы внедрить эту систему в жизнь. Конечно, пришили ему, мерзавцу, какое-то постороннее преступление, кажется, подделку облигаций государственного займа, и вклеили солидный срок. Если я не ошибаюсь, лет семь усиленного режима.

— Это...— отозвался Маско на прослушанную историю,— при усиленном режиме тоже, это самое... ничего. В плане, если ты деловой, то клали мы с прибором на их режим.

Золкин сказал:

— Скоро нам разрешат стрелять по деловым без предупреждения. Вот тогда ты запляшешь, как вошь на сковороде!

— Господи! — сказал я.— Как интересно жить!

— Это вы о чем? — почему-то настороженно спросил меня Чегодаев.

Я немного задержался с ответом, потому что в тот момент к нам в палату зашел тихий сумасшедший Перцинский и начал расставлять шахматные фигуры.

— Я о том,— после паузы сказал я,— что вот опять наступила пора разброда, а в такие эпохи всегда интересно жить. Ведь у нас испокон веков так: пятьдесят лет прозябания, потом — жизнь, пятьдесят лет прозябания, потом — жизнь. Христиане против язычников, Суздаль против Новгорода, опричники против земцев, крестьяне против дворян, красные против белых, разная сволочь против нормальных людей — разве это не интересно?!

— Сволочь, это вы про кого? — спросил меня Оттоманчик.

— Не про кого,— уклончиво сказал я.

— Нет, вы точно мягкотелая интеллигенция,— обратившись ко мне, заявил Иван.— Я на вас надежды не возлагаю, я возлагаю надежды на всесоюзный пролетариат, который рано или поздно отберет власть у политических мандаринов!

— Вы уже один раз отбирали власть,— ехидно сказал ему Чегодаев.— И так вы ее хитроумно взяли, что до сих пор не понятно, где она находится и кому на самом деле принадлежит.

— У меня, честно говоря, тоже закралась такая

мысль, — сознался Оттоманчик с убитым видом. — Вот мне один генерал армии рассказывал, которых у нас, между прочим, всего пять человек на страну, что собрался он, значит, отдохнуть на Крымское побережье, да, как говорится, не тут-то было. Посылает он предварительно своего порученца за железнодорожным билетом, а тот возвращается и докладывает: нету, мол, билетов вплоть до четвертого ноября. Генерал дал порученцу несколько суток ареста и самолично звонит в свою военную кассу — требует билет на крымское направление. А ему, понимаете ли, отвечают: нет билетов и не предвидится вплоть до четвертого ноября. Он туда, сюда, уж и ЦК партии подключил — все-таки он генерал армии, а не хвост собачий — и, значит, в конце концов своего добился, дали ему билет на какой-то несуразный, строго закрытый поезд специального назначения. Собрался он, приехал на Курский вокзал, нашел свой закрытый поезд, зашел в вагон, а там, представьте себе, сплошь чернявые ребята с Центрального рынка, которые распродали дары природы и едут от трудов праведных отдыхать. Спрашивается: кто же у нас в действительности командует парадом? Я прямо весь в раздумье — ведь надо же как-то подстраиваться под реальность, под тех, кто действительно правит бал...

— Что правда, то правда, — сказал Иван. — Как только дали народу понюхать волю, сразу все кверху ногами перевернулось, то есть какая-то туманная пошла жизнь.

— А это... менты распоясались... это как?! — подхватил Маско. — В плане раньше ему это... столытник в зубы, и все дела. А теперь они, волки позорные, даже разговаривать не хотят!.. Зарплату им прибавили, что ли...

— Держи карман шире! — озлился Золкин. — Под ваши бандитские пули идем, можно сказать, за нищенскую зарплату. И вообще, кто кого сегодня искореняет — в смысле милиция уголовный элемент, или уголовный элемент милицию — это еще вопрос!

На этих словах в палату как раз заглянула дежурная сестра Нина и сказала нашему милиционеру, что его пришла навестить невеста. Золкин взбодрился, то есть он моментально избавился от огорченного выражения на лице, заинтересованно рассмотрел себя в зеркале, пригладил волосы, выщипнул из носа несколько волос-

ков, одолжил у Чегодаева приличные тапочки и отправился на свидание, что-то мурлыча себе под нос.

— Если бы не мать-старушка,— сказал вдруг Перцинский, который все еще расставлял шахматные фигуры,— я бы в этой жизни минуты лишней не задержался. Открыл бы кингстоны, и на дно.

— Ты у нас прямо человек-пароход,— сказал ему Чегодаев.— Ты не Нетте будешь случаем по фамилии?

— Вы, Перцинский, оставьте эти суицидальные настроения,— сказал я,— не к лицу это приличному человеку. Первая обязанность приличного человека состоит в том, чтобы жить. Вторая его обязанность состоит в том, чтобы жить прекрасно. А третья — чтобы никому не мешать жить прекрасно. Вот вам и все заповеди приличного человека.

— Ну, прямо Нагорная проповедь,— опять съехидничал Чегодаев.— Ваша фамилия случаем не Христос?

— А чего ты все подначиваешь?! — вступился за меня Ваня.— Подначиваешь-то ты чего?! Или тебе очень весело здесь лежать? Так я тебе быстро настроение-то испорчу. Думаешь, я не понимаю, что никакой ты не грузчик из мебельного магазина, а жулик чистой воды, враг трудового народа и паразит?! Ну чего ты на меня смотришь, как лошадь на велосипед, ща как вот стулом дам по балде, сразу придешь в себя!

— Ты... это... мужик, в натуре! — сказал Маско.— Ты лучше закройся... в плане не сучи ногами, а то я тебя умою.

— И ты утихни, паразит, ворюга! — стоял на своем Иван.— Я, если понадобится, вашу шайку безо всякой милиции разгоню!

Тут, легок на помине, вернулся в палату милиционер Золкин, задумчивый и печальный.

— Ты что это, Афоня, такой печальный? — спросил его Оттоманчик.

— Да ну ее, дуру! — ответил Золкин и как-то отрезанно махнул рукой.— Дай, говорю ей, хоть подержаться-то за интимные места — не дает!.. Говорит, ты заразный, подцепишь еще чего.

— А ты бы ей сказал,— посоветовал Оттоманчик,— что, во-первых, мы давно уже не заразные, а во-вторых, что через щупанье никакая зараза не пристает. Вот, мол, спидники с пятого этажа, вот этих, мол, обходи.

— Да я ей все доходчиво объяснил! Все равно не дает — ну, дура душой, чего с нее взять!

— Чего ж ты такую выбрал?

— А я и не выбирал, я ее выручил, когда человек пятнадцать пацанят ее насиловать собрались. Ну, она потом сама приходит в общежитие и говорит: «Давай, герой, будем с тобой дружить».

— Во, гады, что делают! — с чувством сказал Иван. — Бабам уже никакого прохода нету, хоть ты их выгуливай на укороченном поводке!..

— Распоясались, мерзавцы, это точно, — подтвердил я. — Пора, ох пора, эту публику приструнить.

— Ну, это, положим, напрасны ваши совершенства, — сказал мне Чегодаев как бы из одолжения. — Сильные люди неистребимы, это я вам по-соседски, со всей откровенностью говорю. Пока существует ваш бардак — а он существовал вечно и будет существовать вечно — до тех пор хозяином жизни останется сильный, предприимчивый человек. Так что не нервничайте понапрасну, как говорят в Одессе, не рвите сердце.

Золкин спросил Чегодаева с откровенной ненавистью на лице:

— А про РП-73 ты слышал?

— Это еще что такое? — живо заинтересовался Чегодаев и даже приподнялся в своей постели.

— Это такое против вас новое оружие: резиновая палка длиною в семьдесят три сантиметра!

— Испугал ежа голой ж...! — горестно ухмыльнувшись, сказал Иван. — Да ты что, Афоня, в своем уме? У них на вооружении, небось уже легкая артиллерия, а вы собираетесь от них палками отбиваться!

— Забубенная какая-то у нас страна, — тоже с горечью сказал я. — И милиция наша — бедствующий отряд неимущего населения...

— Ну ничего, — заявил Иван, — булыжник, он тоже оружие пролетариата. Если каждый рабочий возьмет по булыжнику, то эту уголовную сволочь даже тяжелая артиллерия не спасет.

— Это ты умоешься, работяга, — спокойно сказал Маско.

На некоторое время все замолчали, а потом Перцинский сделал интересное примечание:

— Какие же мы, русские, между собой недружественный народ! Вот венгры или немцы все между собою по петушкам, и египтянин за египтянина будет стоять горой, а русские ведь недолюбливают друг друга, безо

всякой даже классовой подоплеки, а просто недолюбливают, и все.

— Есть за что, — мрачно сказал Иван.

— Ну что вы, ребята, все ссоритесь, да ссоритесь! — взмолился вдруг Оттоманчик. — Вот поглядите на наших котов: и они тоже русские, а сидят себе на подоконнике и сидят...

Действительно, Анамнез с Эпикризом дружественно возлежали на подоконнике, соединившись в один меховой клубок, и грелись под майским солнцем.

— Ну да! — сказал Чегодаев. — Ты им только кошку подпусти, тогда посмотрим, какие между ними сложатся отношения.

Золкина живо заинтересовал этот эксперимент, и он побежал отыскивать для него кошку. Он что-то очень быстро сыскал ее на больничном дворе, и я даже не успел получить ответ на вопрос:

— Интересно, зачем вы воруете, Эдуард? Ведь все равно сейчас ничего не купишь...

— как Золкин явился с потасканной кошкой, которую он брезгливо нес за загривок, и поместил ее на подоконник рядом с нашими огольцами. Анамнез с Эпикризом решительно оживились, однако дальше так называемых телячьих нежностей дело у этой троицы не пошло: коты просто-напросто облизали нечаянную подругу, да и то с прохладцей, как будто для профилактики, или по какому-то кошачьему неписаному закону, или же с тем подтекстом, чтобы мы оставили их в покое.

От разочарования наши принялись за шахматы и за излюбленную бурю. А я прикорнул и проснулся уже в результате скандала, который разгорелся к тому времени за столом.

— Ты... это... — говорил Маско бедняге Перцинскому на какой-то нежно-опасной ноте, — сумасшедший-то ты сумасшедший, а это... как здравомыслящий, выгоду свою в состоянии понимать. В плане ты зачем вместо семерки трэф сбросил пикового короля? Или ты это... думаешь, я гудок?! Вот тоже бес, в натуре, выдает себя за придурка, а шельмует, как деловой.

— Что вы себе позволяете?! — воскликнул Перцинский, и в голосе у него навернулось психопатическое рыдание. — Я, конечно, человек душевнобольной, но жульничать я сроду не жульничал, потому что я еще и порядочный человек.

Чегодаев сказал:

— Оставь его, Эдик. Если этот пассажир бравировует тем, что он порядочный человек, значит, он точно душевнобольной.

— Ну нет, братишка.— с чувством возразил Ваня,— ты, пожалуйста, не передергивай! Душевнобольные — это вы, жулики разные и ворье, а Перцинский сравнительно нормалёк, потому что он не обидит даже невозной мухи.

— Ты, бес, это... совершенно раздухарился,— грозно сказал Маско.— Если ты, в натуре, не возьмешь себя в руки, то я тебе голову оторву!

Тут в перепалку вмешался я:

— Послушайте, Эдуард, вы все-таки тоже держите себя в руках.

— А гнилой интеллигенции мы вообще не давали слова,— отбрил меня Чегодаев.

— Откровенно говоря, уже две статьи налицо,— объявил Афанасий Золкин и бросил карты: — угроза применения насилия и словесное оскорбление. Хотите, сукины дети, чтобы вас прямо из больницы в наручниках увезли?!

— Ты... это...— начал было Маско, но Чегодаев его прервал:

— Остынь, Эдик,— посоветовал он,— а то этот придурок действительно вызовет наряд и нас с тобой забьют в изоляторе за день до того, как начнут раздавать конфеты.

Маско нехотя скрепил сердце, но Золкин, судя по всему, серьезно загорелся своей идеей.

— Нет, я вас спрашиваю: хотите, сукины дети, чтобы вас прямо из больницы в наручниках увезли?!

Трудно сказать, чем бы закончился наш скандал, если бы на этой угрозе к нам в палату не явился сантехник Константин и не предложил за пятерку десять разрозненных томов Брокгауза и Ефрона. Я приобрел эти книги и заодно поинтересовался:

— А не продадите ли вы мне за ту же цену подержанный автомобиль?

Константин изобразил глазами нечто такое, из чего могло следовать, что у него найдется и пятирублевый автомобиль, что он даже принимает к сведению мою неистовую заявку.

На нас этот эпизод произвел умиротворяющее воздействие: внезапно палата угомонилась, и все взялись за свои книги, исключая Афанасия Золкина, который



достал из тумбочки рогатку и пошел стрелять воробьев на двор, а также беднягу Перцинского, который еще немного посидел среди нас, влажно глядя в какую-то интересную точку на потолке, и затем тяжелой, нездоровой походкой потащился в свою палату; по всему было видно, что обвинением в нечистой игре он остался нешуточно оскорблен.

Часа через два мы уже ужинали, строго глядя в свои тарелки, потом наступило то, самое томительное, время суток, когда некуда себя деть, ну, положительно некуда себя деть, тем более что из-за размолвки мы в тот вечер не устраивали сафари на комаров. Часов так в десять с мелочью Ваня Сабуров сходил к дежурной сестре Нине, около одиннадцати Нина сама заглянула к нам и сказала Маско:

— Маско, тебя вызывает по междугороднему Монте-Карло...— и больше примечательного не было ничего. Однако что-то нехорошее витало в пахучем больничном воздухе, что-то предвещающее, коварное, или это ломалось атмосферное давление, или же просто я себя чувствовал нездорово. Ближе к полуночи наша палата уже спала, и только я один томился в своей постели. Я уже помаленьку стал соловеть, когда Анамнез с Эпикризом вдруг затеяли какую-то диковинную, пугающую игру: они то с некошачьим ревом подпрыгивали на невероятную высоту, то бросались на стены, царапая их когтями, то ползали... по-пластунски, что ли, на животах, издавая при этом змеиный шип. Я на них цыкнул и, нацепив шлепанцы, отправился в коридор, надеясь нагулять сон. Какая-то возле четвертой палаты суматоха происходила — сестры метались, мудреные медицинские аппараты привозили и увозили, являлись и исчезали незнакомые мне врачи; я направился к месту действия, раззадоренный любопытством, и, заглянув в четвертую палату, прежде всего увидел, что койка Перцинского пустовала, и даже постельные принадлежности унесли, и даже полосатый матрас был свернут.

— А Перцинский-то где? — спросил я у случайно подвернувшегося кардиолога, который катил перед собой явно кардиологический аппарат.

— Загнулся твой Перцинский,— немного помедлив, ответил тот.— Только что отправили его в морг.

Сказав это, кардиолог ловким движением вправил себе неожиданно вывалившуюся челюсть.

— Жалко мужика,— сказал я, и по мне пробежало

то, что всегда пробегает по человеку, когда он внезапно сталкивается с кончиной недавно еще бродившего, говорившего, игравшего в буру, оскорблявшегося тебе-подобного существа, то есть вроде бы и жутко и одновременно легкомысленно сделалось на душе; причем какая-то часть меня, предположим, одна шестая, пристыдила прочие пять шестых за то, что они не так уж и потрясены кончиной тебе-подобного существа.— А отчего он умер-то, бедолага?

— А шут его знает,— сказал кардиолог.— Мы в таких случаях пишем: «острая каронарная недостаточность». Но это, конечно, то же самое, что удавку назвать причиной смерти самоубийцы.

И он опять вправил себе вывалившуюся челюсть. Тут только я заметил, что кардиолог пьян, как говорится, до положения риз, и, вероятно, упал где-нибудь или ему вышибли челюсть в драке; впрочем, пьян он был чисто по-медицински: если бы не вывихнутая челюсть, не странная бледность лица и не замедленная реакция на вопросы, сроду не скажешь, что он был пьян.

Напоследок я его ни с того ни с сего спросил:

— Вы случаем не знаете, почему здешний сантехник продает вещи за пять рублей? Он что, дальше пяти не выучился считать?

— Да нет,— последовало в ответ,— просто тут у нас в угловом магазине торгуют портвейном по четыре пятьдесят две.

Я сказал:

— Логика, разумеется, никакой.

— Да уж какая там логика! — с возмущением разделил мою позицию кардиолог.

Смерть Перцинского на меня, конечно, действовала угнетающе, но, вернувшись в палату и улегшись в свою постель, я еще долго на себя удивлялся, дескать, какой я все-таки толстокожий, бесчувственный человек, дескать, товарищ умер, а я как ни в чем не бывало интересуюсь логикой прохиндеев. Через некоторое время я прикорнул, и мне приснилась такая гадость, что я проснулся в липкой испарине от испуга; снилось мне, будто заведующая отделением Вера Сергеевна Осипчук что-то решила постричь мне ногти и, вооружившись огромными портновскими ножницами, принялась отстригать напрочь фаланги пальцев. Проснувшись, я вытерся полотенцем и опять отправился в коридор. Там

было по-неприятному тихо и сумрачно, как в пещере, освещенной отдаленным смоляным факелом, поскольку ночами в нашем коридоре горела только лампа над конторкой поста, дававшая какое-то именно средневековое освещение. Я походил немного туда-сюда, а потом уселся возле открытого торцового окошка и закурил; я сидел, курил, смотрел в темный больничный двор, из которого тянуло майским благоуханием, и небрежно, так сказать, спустя рукава, размышлял о том, что на крайний случай всегда остается смерть в качестве выхода из пикового российского положения. Потом ко мне подошел грузин из третьей палаты и попросил закурить — я угостил его сигаретой; потом подошла сестра Нина и попросила закурить — я угостил ее сигаретой; потом подошел Перцинский и тоже попросил закурить — я и его наделил сигаретой, но при этом задал вопрос:

— Вы ведь, кажется, некурящий?

— Тут закуришь,— злобно сказал Перцинский и немедленно испарился.

— Позвольте!..— произнес я вслед, сообразив, что только что разговаривал с привидением, но было поздно, и мое восклицание нелепо повисло в воздухе, как парус в безветренную погоду; самое любопытное это то, что явление Перцинского меня несколько не ошеломило, и я даже не могу сказать, почему оно меня не ошеломило — не ошеломило, и все дела.

Наутро я проснулся оттого, что дежурная сестра сунула мне градусник и таким образом разбудила. Я сел в постели и сказал товарищам по болезни:

— Ребята, я сегодня ночью видел настоящее привидение! Причем даже на том свете у нас бардак: представьте, привидение приходило стрельнуть сигарету — значит, и у них там бедность и дефицит.

— А чего вы удивляетесь, что встретили привидение? — не без ехидства охладил меня Чегодаев.— Если у нас можно купить за пять рублей подержанный автомобиль, то привидения, это так же неудивительно, как бедность и дефицит.

Ваня мне сказал:

— Ты, парень, еще, наверное, не проснулся.

— А? — заикнулся я.— То есть да, конечно. Я хотел сказать, что Перцинский вчера скончался.

— Не понял? — как-то ответственно сказал Золкин.

— Я говорю, Перцинский вчера ночью умер от ост-

рой каронарной недостаточности, ты что, не понимаешь русского языка?

Какое-то время прошло в молчании, а затем Ваня Сабуров воскликнул, указывая в сторону Маско чугунным жестом Юрия Долгорукого:

— Это ты, паскуда, до смерти его довел! Сам воюга, а хорошего человека шулером обозвал! Ведь Перцинский точно умер от переживаний, в смысле оттого, что ты, собака, его шулером обозвал!

— Ну... это... все! — грозно сказал Маско. — В плане терпение мое лопнуло! Щас я буду тебя мочить... Я предупредил:

— Только попробуйте тронуть Ивана пальцем!

— А ты помалкивай, пассажир, — пригрозил мне Чегодаев и полез под подушку — возможно, даже за пистолетом; к счастью, оказалось, что под подушкой он просто держал конфеты.

— Не бэ, ребята! — сказал нам с Иваном повеселевший Афоня Золкин. — Сейчас я эту мафию укрощу.

Понятное дело, тут началось побоище. Сначала битва была ручная, а впоследствии в ход пошли стулья, бутылки из-под глюкозы, разная мелкая больничная утварь и даже шахматная доска. Золкин спрашивал Оттоманчика в пылу боя:

— А ты чего отлыниваешь, не борешься за интересы трудящихся? Еще называется — профсоюз!..

— Нет, — отговаривался Оттоманчик, — я погожу пока. Я погляжу, куда ветер дует.

Меня Афоня Золкин, так надо полагать, изначально не брал в расчет, как представителя мягкотелой интеллигенции, не способного физически бороться за справедливость; и правильно делал, что изначально не брал в расчет.

Между тем Анамнез с Эпикризом были до такой степени запуганы нашей дракой, что в панике забились под мою тумбочку и только выглядывали из-под нее, выказывая на мордах смесь жути и детского удивления. А я призадумался вдруг о том, что коты, должно быть, счастливейшие подлунные существа; мало того, что они наделены кое-какими сверхъестественными качествами с точки зрения человека, например, способностью дематериализации сразу же после смерти, они еще и сравнительно мирно сосуществуют в своей среде...

Вообще я страдаю дурной повадкой воспарять мыслью, как нарочно, при самых неблагоприятных

щих обстоятельствах. Вокруг бушевала схватка, стекла звенели, трещала, ломаясь, мебель, свирепые выкрики будоражили отделение, а я лежал в своей койке и умственно присматривался к следующей идее: видимо, принципиальное отличие русского народа от всех прочих народов состоит в том, что русские... как бы это выразиться поосторожнее — друг друга не обожают. Вот голландцы друг за друга стоят горой, и скорее папа римский отречется от католичества, чем голландец отречется от соголландца. Даже ворон ворону глаза не выклюет, а русский русского не упустит при случае наказать.

Я думаю, такая недружественность имеет свою историческую подоплеку: в силу некоторых особенностей нашего прошлого мы зарвались в своем развитии, мы до того доразвивались за последние двести лет, что у нас вывелись десятки подвидов русских, одни из которых суть безусловно русские, а другие тоже русские, но иначе. Скажем, на Западе бытуют только два подвида человека разумного: работники и акционеры, между которыми возможны персональные неудовольствия, у нас же шагу нельзя ступить, чтобы не нарваться на чужака. Отсюда, конечно, разных масштабов умышленное вредительство, разбой среди бела дня, боевые выражения физиономий и, главное, халатное отношение ко всему. Причем сумма противоречий, созревшая между различными подвидами русского человека, настолько сугуба и многозначна, что противоречия между трудом и капиталом в сравнении с ней — милые ссорятся, только тешатся.

Итак, что же следует предпринять, чтобы воссоединить русскоязычное население? Нужна какая-то объединяющая идея. Но, конечно, не в духе Николая Федорова с его пунктом коллективного воскрешения мертвецов, и, конечно, не «грабь награбленное», а нечто не в такой степени бредовое и разбойное, нечто деликатное, общедоступное и, главное, легко исполнимое, как утренний туалет. Это может быть религиозная идея, которая худо-бедно вывозила нас в стародавние времена, в нашем же случае идея повторного крещения Руси во имя сугубо русского бога — вот только народ уж больно изверился и вряд ли положится на горнее провидение, поскольку он не доверяет даже своей родне. Тогда это может быть политическая идея, дескать, да-вайте, товарищи, возьмем пример с котов и прекратим

развиваться в разрушительном направлении; давайте, сохраняя чувство человеческого достоинства, даже отступим на десять шагов назад, к аристократии, которой можно доверить власть, к понятию «несчастный», под которым у народа проходили уголовные элементы, к авторитетам, которые создаются гениальностью и убийственными трудами, а не средствами массовой информации, к баснословной оплате умственного труда... ну, и так далее, вплоть до Первого философического письма, чтобы хорошенько присмотреться, где уважаемый Петр Яковлевич действительно сгустил краски, а где угодил, как говорится, не в бровь, а в глаз. Или это может быть простая экономическая идея, дескать, поскольку все же бытие определяет сознание, ни слова, ни полслова из красноречивого сборника заклинаний, ни единого вздоха с идеологической подоплекой, покуда на каждом гражданине не появятся положительные штаны и не нужно будет бороться за элементарные блага цивилизации; вот оденемся, обуемя, отъедемся, тогда и наговоримся всласть о преимуществах социалистического способа производства.

Вот только есть опасение, что в одетом, обутом, сытом обличье нам уже не так захочется сердечно поговорить. И вообще: чем нам, собственно, не угодил текущий момент?.. Ну, не любят русские друг друга, ну, идет к распаду национальный модус вивенди, ну, бедность, синдром безотцовщины, повальная меланхолия — ну и что?! Всегда это было, как говорится, на том стоим, свидетельницей чему наша литература, но зато, господи боже мой — как интересно жить! Наверное, дело в том, что мы слишком люди для своего времени, поскольку развиваемся очертя голову и все норювим проскочить то ли поперед батьки в пекло, то ли впереди бога в рай, и поэтому в русской среде созревают противоречия такой исполинской силы, что ужасно заманчиво просто жить. Вот по ту сторону Эльбы только и развлечений, что с толком потратить деньги, а у нас... ну точно мы преждевременно завершили штатный виток развития и ввалились в бодрюю античную жизнь только под другим знаком: то у нас то, то се, то пятое, то десятое, того и гляди опять древляне что-нибудь учудят, а главное, с замиранием сердца все время чего-то ждешь — не то великолепного праздника, не то трубного знака архангела Гавриила.

Так, может быть, в том-то наше преимущество и судьба, что мы живем в таком животрепещущем, остром стиле? Тогда не надо нам никаких объединяющих идей, кроме родного русского языка, который помимо наших слепых усилий сам все решит и все определит на свои места. Вон как Анамнез с Эпикризом безотчетно вверяются древнему инстинкту, так и нам следует беспрекословно ввериться русскому языку...

Как раз на этом месте мне в голову нечаянно угодили бутылкой из-под нарзана, и я потерял сознание. Впоследствии мне рассказывали, что схватка продолжалась минут пятнадцать, покуда наших бойцов не разняли врачи и сестры. Результаты побоища были внушительными: у меня обнаружили сотрясение мозга, у Ивана Сабурова были множественные раны на голове, у Маско — смещение таза относительно позвоночника, у Чегодаева оказалось кровоизлияние в брюшной полости и перелом предплечья, у Оттоманчика, которого сгоряча задели стояком капельницы, — ушиб генитальной части; Золкин же как профессионал отделался синяками.

К обеду нас всех доставили в клинику имени Склифасовского, и вот что самое интересное: положили нас снова в одну палату...

# Повести



— Ну, братцы, теперь нам хана! — сказал человек, похожий на вахтера Толстосумова, и вытащил предлинный поварской нож.

У Стаканова оборвалось сердце. Он подумал, что уж если такой неумный зверь, как человек, похожий на вахтера Толстосумова, считает, что все кончено, значит все кончено — спасенья нет. На всякий случай он взглянул в окошко: с десятков милиционеров выламывали дверь, колотя в нее сапогами и рукоятками пистолетов. Правда, хана... Стаканов подумал, что теперь, пожалуй, ему остается только наложить на себя руки, чтобы избежать тюрьмы, а затем сумы, и стал копаться в карманах, отыскивая средство самоубийства. В карманах ничего подходящего не нашлось, но зато на лацкане пиджака он обнаружил значок, изображающий знаменитый парусник «Катти Сарк». Грот-мачтами парусника вполне можно было бы вскрыть себе вены, но когда Стаканов отколол значок и приговорительно взял его в правую руку, ему вдруг пришло на ум, что, возможно, настоящие и последующие несчастья так же миниатюрны, как изображение знаменитого парусника, и он напрасно торопит смерть. Тем более что в банду он попал совершенно случайно, и его как честного человека вообще могут не посадить. Но спрятаться все-таки не мешало: начнется перестрелка, то-се, и в силу «закона подлости», по которому безвинным всегда достается горше, чем виноватым, его наверняка либо пристрелят в первую очередь, либо, в лучшем случае, жестоко намнут бока. Стаканов внимательно осмотрелся: вокруг был громадный гимнастический зал с облупившимися стенами и окнами, забранными частой металлической сеткой; в ближнем углу громоздились пудовые гири, а дальний был завален какими-то смер-

дящими лоскутами. Как ни отвратительно было прятаться среди них, он все же направился в дальний угол, но в это время тяжело пала дверь, подняв клубы ржавой пыли, и в гимнастический зал ворвалась милиция. Стаканов прильнул к стене, превратившись при этом без малого в невидимку, и панически принялся сочинять защитную речь, которая должна была предупредить роковую пулю. Он собирался сказать, что в банду он попал совершенно случайно, легкомысленно польстясь на кругосветное путешествие, которое ему обещали в обмен на мелко-безнравственные услуги, и при этом сделать особый акцент на том, что, в сущности, он порядочный человек. Но ничего этого сказать ему не пришлось; какой-то юный милиционер с усилием разглядел его на фоне стены, причудливо улыбнулся и навел лоснящийся пистолет. Несмотря на то, что Стаканов моментально воздел руки над головой и постарался изобразить глазами максимум непричастности, юный милиционер нажал на собачку: грохнул выстрел, и пуля, описав медлительную дугу, впилась Стаканову в правый глаз.

Хотя ему было очевидно, что он убит, его почему-то не покинули ощущения, и он явственно чувствовал, как из правого глаза потекла обильная струя крови, как затем в голове образовался густой туман, как наконец, ему стало дурно, точно он очень, очень болен...

— Ваня, ты что? — вдруг кто-то сказал у него над ухом.

Стаканов насторожился. Он стал вопросительно озираться по сторонам, но тут в голове у него посветлело, и он проснулся. Жена сидела на постели, глядя на него в некотором смятении.

— Ты чего кричишь, говорю?

— Знаешь, мне сейчас такая гадость приснилась!.. — сказал Стаканов и помотал головой. — Как будто я попал в банду и меня пристрелили милиционеры...

Он был безобидным и достаточно нравственным человеком, но ему вечно снилось, будто он совершает отвратительные поступки и даже форменные преступления. Это была целая ночная, или, так сказать, сновиденческая жизнь, которая доставляла ему такие мучения, что ложился он, как правило, с тяжелым-тяжелым чувством.

— Пить надо меньше, — сказала жена и отправилась в туалет.

Некоторое время Стаканов бездумно разглядывал потолок, а потом гравюру, изображавшую знаменитый парусник «Катти Сарк». Тут зазвонил будильник.

Сначала Стаканов сел, затем он сел таким образом, чтобы свесились на пол ноги, затем он стал нащупывать ими шлепанцы и, обувшись, пошел к окну. Накануне, дня за три, что ли, лег первый снег, который называется старозаветным словом «ззимок», и за окошком было белым-бело. Вид оцепеневших домов, деревьев, автомобилей, поставленных напротив детской площадки, навеял ему что-то лирическое и печальное, как поминки, и это было совсем некстати, поскольку в таком расположении духа ему было ни за что не заставить себя приняться за утреннюю гимнастику. «Ладно,— сказал внутренний голос,— номер с гимнастикой отменяется». Он еще немного постоял у окна, потом надел махровый халат и поплелся в ванную.

По пути он заглянул в детскую комнату: младший Александр собирал портфель, старшая Катерина сидела на постели, поджав под себя ноги, и задумчиво теребила пододеяльник.

— Кать, ты чего? — сказал Стаканов.

Катерина медленно перевела на него глаза.

— Ничего...

— Как ничего, когда время уже половина восьмого?!

В ответ Катерина посмотрела на него с тем особенным выражением полубрезгливости и истомы, которое Стаканов частенько замечал за женщинами исключительной красоты, и, поскольку он понятия не имел о том, что именно оно могло бы обозначать, ему стало немного не по себе.

В ванной Стаканов первым делом посмотрел на себя в зеркало. Ему откликнулась, что называется, помятая физиономия, как нельзя более идущая человеку, которого только что пристрелили. «Пить действительно надо меньше»,— подумал он, пронзительно глядя себе в глаза. Затем он погладил морщины, затянувшие лоб, провел ладонью по подбородку и вдруг сказал:

— А бриться мы сегодня не будем принципиально!

Испугавшись его голоса, откуда-то выскочил таракан и заметался в раковине по принципу броуновского движения. Стаканов было начал его ловить, но потом подумал, что нехорошо начинать день с убийства, и решил оставить бедную тварь в покое. «Хотя это, конечно, черт знает что! — сказал его внутренний голос.—

Скоро в ванной головастики заведутся. Надо будет сделать жене внушение».

Закончив утренний туалет, Стаканов вернулся в спальню, открыл платяной шкаф и стал присматривать рубашку с относительно свежим воротничком. Такая рубашка нашлась почти сразу, но, на беду, к ней не шел ни один из трех галстуков: ни серый в голубую полоску, ни голубой в мелкую крапинку, ни коричневый со звездой. Стаканов надел рубашку и в качестве эксперимента повязал коричневый со звездой,— как он и предполагал, комбинация вышла положительно безобразной.

В передней зазвонил телефон; Стаканов проследовал через всю квартиру и поднял трубку.

— Иван Александрович? — сказала телефонная трубка голосом младшего научного сотрудника Опекунова.— Это Опекунов. Я не очень рано?

Стаканов смолчал. Во-первых, он смолчал потому, что звонить в такую рань было, конечно, хамство, а во-вторых, ему неожиданно пришло в голову, что он стоит в рубашке при галстуке и в трусах, то есть в совершенно юмористическом виде, чему был виной опять же Опекунов.

— Я, Иван Александрович, потому так рано звоню, что сегодня ночью мне пришла одна великолепная мысль...

Стаканов уже давно свыкся с тем, что младшему научному сотруднику Опекунову то и дело являются великолепные мысли, и это сообщение его несколько не увлекло.

— Давайте ближе к делу,— сказал Стаканов.

— Дело вот в чем: сегодня ночью мне пришло в голову, что если в процессе превращения обезьяны в человека труд и сыграл какую-то роль, то второстепенную или даже третьестепенную, вроде тех, которые называются — «кушать подано»...

— Послушайте, Опекунов! — на сердитой ноте сказал Стаканов.— Вы, кажется, занимаетесь ганзейскими городами. Почему вас постоянно тянет куда-то в сторону?! То вы доказываете, что Гомер начинал как разбойник с большой дороги, то теперь взяли за происхождение человека!.. Вы что, палеонтолог?

— Нет, я мидиевист.

— Ну, и занимайтесь ганзейскими городами! И вообще мне давно пора завтракать.

— Хорошо,— согласился Опекунов.— Этот разговор мы договорим на работе. Только я сегодня приду во второй половине дня.

— Это уж как вам будет угодно,— сказал Стаканов и положил трубку.

Затем он вернулся в спальню, надел свой расхожий костюм и примерно без четверти восемь явился на кухню к завтраку.

— Во сколько тебя сегодня прикажешь ждать? — спросила его жена, как только он сел на свое обычное место и взялся за бутерброд.

Стаканов пожал плечами.

— Имей в виду,— продолжала жена,— еще одно ночное явление Христа народу, и я выставляю за дверь твои чемоданы!

— Послушайте! — сказала старшая Катерина.— Как вам не надоело ссориться?! Только глаза продрали, а уже ссоритесь!

— Это называется не «ссориться»,— поправил ее Стаканов.— Это называется «милые бранятся — только тешатся».

— Милые...— с набитым ртом сказал Александр.— Им уже по сто лет, а они все милые.

Стаканов улыбнулся, Катерина фыркнула, а жена, как косила на эмалированный чайник, так и косила.

После завтрака Стаканов еще раз заглянул в ванную, чтобы сделать себе окончательный смотр, потом надел плащ, взял портфель и отправился на работу.

## 2

Путь его был сложен, даже витиеват. Сначала ему нужно было с четверть часа тащиться автобусом, затем проехать одну станцию электричкой, затем следовало метро, занимавшее минут двадцать, еще одна автобусная эпопея и наконец пешая прогулка длиной приблизительно в километр. В итоге дорога туда и обратно стоила ему около двух часов жизни в день. Это время Стаканов, как правило, коротал, занимая себя разнообразными поверхностными размышлениями; читать в транспорте он не мог и всегда искренне удивлялся людям, которые это могут.

Первая мысль, что в тот день посетила его дорогой, была вызвана следующим: в ожидании автобуса на остановке собралась порядочная толпа. Представив себе,

какая при посадке начнется давка, он подумал о том, что подхалимов, нахалов, лгунов, предателей, одним словом, всяческих негодяев, видимо, не существует как таковых, что их преобразуют из нормальных людей неблагоприятные обстоятельства и если бы автобусы, положим, ходили не как бог на душу положит, а через каждые тридцать секунд, то москвичи, наверное, были бы самой обходительной этнической группой восточного полушария. Стаканову так понравилась эта мысль, что он уже собрался ее развить, но тут к нему обратился мужчина в собачьей шапке:

— Скажите, товарищ: Гвинея,— это демократическая страна?

— Какая Гвинея вас интересует? — рассеянно спросил Стаканов.— Собственно Гвинея или Гвинея-Бисау?

— А черт ее знает! — сказал мужчина в собачьей шапке.— Тут у нас вчера гвинейский негр заблудился. Проводил я его до метро и как интернационалист пожелал его родине всяческого процветания. А теперь думаю: не совершил ли я политическую ошибку?..

Тут как раз подошел автобус, и эта странная беседа прекратилась сама собой.

Следующая мысль, которая развлекала Стаканова во время первой автобусной эпопеи, заключалась в том, что нынешнее падение нравов объясняется, возможно, не чем иным, как сложностями передвижения в условиях городов. На это соображение его натолкнуло то обстоятельство, что в результате толчеи он был накрепко зажат сразу между тремя женщинами, которые, в свою очередь, ничуть этим обстоятельством не смущались. Затем ему пришло в голову, что вообще женщина дома и женщина в общественном транспорте,— это две совсем разные женщины. Женщина в общественном транспорте — существо вольное, откровенное, озорное, в то время как дома она тише воды, ниже травы. Наконец, Стаканов подумал о том, что это правило, между прочим, распространяется на жену, и ему стало немного горько.

В электричке он пришел к выводу, что городской топонимикой должен был бы заниматься специальный научно-исследовательский институт. Он печально смотрел в окно, за которым тянулись белоснежные новостройки, отдававшие во что-то кладбищенское, нежилое, прикидывал, какими нелепыми именами окрещены тамошние улицы и проезды, и в конце концов пришел

к выводу, что городской топонимикой должен заниматься специальный научно-исследовательский институт.

В метро он ни о чем не думал. Он до такой степени недолюбливал этот вид транспортных сообщений, что даже думать в нем, и то был не в состоянии. Некоторое время он просто изнывал, потом он выискивал симпатичные лица, которые от скуки можно было понаблюдать, потом через соседское плечо заглянул в какую-то книгу. «...Товарный фетишизм имеет глубокие корни в товарном производстве, где труд товаропроизводителя непосредственно выступает как труд частный, и его общественный характер проявляется лишь в обмене товарами...» — чем только люди не занимаются, с ума сойти можно! Вагон сонно покачивало, что-то поскрипывало и стучало, и вдруг из этого покачивания, поскрипывания и стука стала возникать явственная мелодия, отчетливая настолько, что Стаканов перепугался. Он прислушался, — это была «Темно-вишневая шаль».

Во время второй автобусной эпопеи Стаканов думал о том, что хорошо было бы приобрести подержанный автомобиль, а его внутренний голос твердил при этом: «Хороша Маша, да не наша», — намекая на ограниченные возможности. Наконец, во время пешей прогулки он обдумывал план рабочего дня.

### 3

Первым, кого он встретил из сослуживцев, был, как всегда, вахтер Толстосумов. Стаканов как бы впопыхах с ним не поздоровался и, таким образом, отомстил вахтеру за то, что он ему давеча явился в кошмарном сне.

Миновав Толстосумова, Стаканов поднялся на второй этаж, прошел по переходу на другую лестницу, которую по старинке здесь называли черной, спустился пролетом ниже и очутился в чрезвычайно длинном, высоком и запущенном коридоре, где в комнате под номером 312 «А» помещался его отдел.

Заведующий отделом уже был на месте. Он носил классическую литературную фамилию — Чичиков, но к ней до того привыкли, что, когда говорили — Чичиков, ни у кого не возникало законных ассоциаций, а сразу возникал образ тощего человека в очках, кото-

рый кругло, по-польски, выговаривает букву «л», часто сморкается и немного приволакивает левую ногу.

— Приветствую вас, Иван Александрович! — сказал Чичиков и посмотрел на часы.— Ставлю вам восемь пятьдесят четыре.

Поскольку научно-издательская деятельность отдела не имела прямых границ и вообще производила на свежего человека, как правило, опешивающее впечатление, Чичиков принципиально нажимал на служебную дисциплину и по утрам составлял реестрик явки сотрудников на работу, а по вечерам реестрик промашек и нарушений. Впрочем, все более-менее наплевательски относились к утренней канцелярии, так как еще не было случая, чтобы из реестрика опозданий вытекло то, что у нас называется организационными выводами; другое дело — реестрик промашек и нарушений.

Стаканов сел за свой стол и стал разбирать портфель. Пока он его разбирал, один за другим явились товарищи по работе, а именно: Сергей Сергеевич Цивилюк, заместитель заведующего отделом, совершенно бесхребетный старик, Вера Алексеевна Старопанская, вдова действительного академика, Коля Кусков, симпатичный молодой человек, но редкий бездельник, и секретарша Лена, девушка скучная, вялая, какая-то неживая. Каждому из них заведующий Чичиков сообщил время появления на работе, меняя выражение голоса и лица по мере того, как опоздания становились все более значительными, и если опоздание Сергея Сергеевича Цивилюка было встречено более-менее снисходительно, то на секретаршу Лену, которая пришла позже всех, Чичиков посмотрел таким образом, точно вот он сейчас возьмет вилку с ножом и начнет ее есть.

После того, как все собрались, началось совещание из тех, что еще в двадцатые годы ядовито прозвали «пятиминуткой». Ничего существенного на этом совещании сказано не было. Более того: оно как-то незаметно вылилось в продолжительный разговор, не имевший к деятельности отдела даже косвенного отношения, в разговор о том, как предположительно смотрелись бы искусственные челюсти из слоновой кости. На эту тему натолкнулись следующим образом: Сергей Сергеевич Цивилюк обмолвился на тот счет, что некоторые работники отдела будто бы не читают периодики по направлению, а читают всякую дрянь; Чичиков добавил,



что некоторые работники отдела даже газет не читают; Вера Алексеевна Старопанская, сказала, что если Чичиков не преувеличивает, то это ужасно, так как в газетах, помимо всего прочего, встречаются кроссворды, разные курьезные сообщения, что газеты вообще помогают скоротать жизнь; наконец, Коля Кусков заметил, что на днях он вычитал в газетах курьезное сообщение о краже из музея Смитсоновского института вставной челюсти Джорджа Вашингтона, которая была сделана из слоновой кости, и все сразу заговорили о том, как бы предположительно смотрелась такая челюсть. Толковали об этом, в общем, без зазрения совести, так как отдел вел переписку со Смитсоновским институтом.

Когда тема была исчерпана и отдел пришел к выводу, что челюсть из слоновой кости, по всей вероятности, смотрелась бы диковато, все принялись за дела. Коля Кусков, правда, попытался еще раз ввергнуть отдел в посторонние обсуждения, сказав, что для искусственных зубов лучше всего подходит западногерманская фарфоровая смесь, но ему ответило сосредоточенное молчание. Чичиков ушел в свой закуток о чем-то совещаться с Цивилюком — впоследствии оказалось, что речь шла о том, чтобы подвести под выговор Колю Кускова, который два раза терял официальные бланки и один раз явился на службу в нетрезвом виде; Вера Алексеевна читала газету, а Стаканов очинивал карандаши; секретарша Лена сразу после «пятиминутки» куда-то исчезла.

Когда Стаканов очинивал карандаши, это значило, что он что-нибудь сочиняет. На этот раз он сочинял докладную записку, в которой нужно было обосновать тематику следующего квартала. Поскольку эта тематика не имела логических рамок, ее не то, что обосновать, сформулировать было довольно-таки мудрено.

— Иван Александрович! — обратилась к нему Вера Алексеевна Старопанская. — Тут такой кроссворд мне попался, что без вашей помощи не решить. Вы, случайно, не знаете, кто написал марш «Прощание славянки»?

— Агапкин, — сказал Стаканов.

— А редкоземельный элемент, первая буква «м»?

Стаканов отшвырнул карандаш, косо посмотрел на Веру Алексеевну и от греха отправился проветриться в коридор. Вслед за ним вышел и Коля Кусков.

— Эти бабы,— сказал Коля,— хуже керосину! Пойдемте покурим с горя.

На лестничной площадке, снабженной ящиком с песком, куда выбрасывались окурки, и увешанной пожарными плакатами, среди которых как-то затесался один железнодорожный, курило человек десять.

— Так какое у вас горе? — спросил Стаканов, прикуривая у Коли.

— А вы что, не видели? Чичиков с Цивилюком пошли совещаться, как бы мне насолить. Вот только интересно: что они мне припишут?..

— Как что? А кто бланки терял? Кто на работу приходил в невменяемом состоянии?

— Ну, положим, бланки я не терял,— сказал Коля Кусков и сделал предупредительный жест, как бы отгораживающий его от этого обвинения.— Бланки у меня Цивилюк украл, это я знаю точно. Что же касается того, что будто бы меня видели на работе в нетрезвом виде, то это еще требуется доказать. Экспертизы-то не было! Поди докажи, что я пил! А может быть, я переутомился? Может быть, у меня был приступ холецистита?!

Стаканов ухмыльнулся и неодобрительно мотнул головой.

— А что делать, Иван Александрович?! Только и остается, что изворачиваться да интриговать. С волками жить, по-волчьи выты! Если так пойдет дальше, то я вообще стану дурака валять, да еще таким манером, что комар носу не подточит. Еще окажется, что эти два друга — склочники и любители наводить тень на плетень. Вот нарочно в обед пойду в парк пить пиво! А после обеда пойду играть в шахматы в международное рабочее движение! И пускай они рвут и мечут!..

Стаканов собрался было сказать, что Коля, собственно, и так валяет дурака, но в этот момент на курительную площадку явилась Вера Алексеевна и позвала его к телефону.

Звонил сын Александр. Сначала Стаканов перепугался, подумав, не стряслось ли чего-нибудь, но Александр первым делом сказал, что он звонит просто так.

— Давай мы с тобой условимся,— сказал Стаканов.— Или ты мне звонишь более-менее регулярно, или не звонишь вообще. Иначе можно сделаться бесноватым.

Только Стаканов положил трубку, как телефон зазвонил снова. На этот раз звонила старшая Катерина. Эта звонила по делу: ей понадобилось два рубля на кино, и она спрашивала, где лежат деньги.

— А почему именно два рубля?! — поинтересовался Стаканов.

— Как почему?! — ответила Катерина. — То да се...

Стаканов сказал, где найти деньги, и, положив трубку, подумал о том, отчего это ему никогда не звонит жена?

Затем он вернулся к злополучному обоснованию. Он взял в руки лезвие, карандаш и с завистью припомнил то, что Сергей Сергеевич Цивилюк намерен ухитрится обосновать насущность брошюры «К пониманию изречения Владимира Святого: «Веселие Руси питие есть». Тяжело вздохнув, он принялся очинивать карандаш, но минутой спустя заведующий Чичиков несколько раз ударил в ладоши и закричал:

— Товарищи, обеденный перерыв! Как говорится, война войной, а обед обедом!..

#### 4

— А что, Иван Александрович,— сказал Коля Кусков,— может быть, составите мне компанию в смысле пива?

Стаканов неопределенно пожал плечами; от пива его вечно клонило в сон, а, кроме того, его, как последствие, смущал алкогольный запах, на который заведующий Чичиков имел абсолютный нюх.

— Если вы сомневаетесь насчет запаха, то напрасно,— сказал ему Коля и вытащил из нагрудного кармана мускатный орех.

Стаканов еще раз пожал плечами и согласился.

Пивом торговали в небольшом парке, который находился неподалеку: напротив через дорогу и немного наискосок. В праздники и выходные дни это было довольно бойкое место, но по будням парк бывал до такой степени пустынен и тих, что на человека немедленно нападало какое-то сиротское чувство.

Пивной ларек стоял на берегу небольшого пруда; возле него торчало с десятков высоких столиков на одной ножке, похожих на фантасмагорические поган-

ки. Если не считать какого-то старика в драном пальто, народу кругом не было ни души.

— Этот старик всю дорогу здесь ошивается,— сказал Коля Кусков и пошел брать пиво.

Стаканов от нечего делать осмотрелся по сторонам. Прямо перед ним, чуть не у самых ног, стояла черная, студеная, задумчиво-неподвижная вода пруда, который был сильно запорошен опавшими кленовыми листьями. У дальнего берега, прибившись к плавучей будке, дремал черный лебедь. Дальше, за деревьями, окаймлявшими пруд, виднелось мертвое «чертово колесо».

— Ну вот,— сказал Коля Кусков, ставя на столик шесть кружек пива.— А после обеда я пойду играть в шахматы в международное рабочее движение. Принципиально!

— Послушайте, Коля,— сказал Стаканов.— Я насчет этого старика. Он что, нищий, что ли?

— Ну конечно! Нищий!.. Прохиндей он и попрошайка, а никакой не нищий! Откуда у нас теперь нищие-то? Слава богу, не сорок шестой год!

Старик в драном пальто, видимо, услышал или почувствовал, что толкуют о нем, и приветливо улыбнулся. Затем он допил кружку пива и направился к столику, занятому Стакановым и Кусковым.

— Мое почтение! — сказал он, подойдя, и ласково заглянул в глаза тому и другому.

— Здравствуйте, отец,— сказал Стаканов, а Коля Кусков показательно поморщился и отвернулся.

— Вы, товарищ, зря беспокоитесь,— объявил старик Коле.— Мне вашего пива совсем не нужно.

— А не нужно, так и ступай себе с богом! — сказал ему Коля довольно зло.

— А, может быть, я поговорить хочу,— возразил старик.— Что уж теперь, и поговорить нельзя?!

— Ну почему? — сказал Стаканов.— Давайте поговорим.

Наступило молчание. Стаканов с Кусковым молчали выжидательно, а старик несколько напряженно, точно его сбили с мысли. Стаканов решил вывести его из затруднительного положения и заговорил первым:

— Скажите, отец, сколько вам лет?

— Сколько лет?.. А черт его знает! Должно быть, не очень много. Семидесяти мне нет, это точно.

— Все равно годы,— сказал Стаканов.— Наверное, повидали на своем веку?

— Это конечно, — ответил старик. — Повидал.

— Послушайте, дед! — вступил Коля Кусков. — Что вы нам можете сказать конкретно?

— Конкретно могу сказать, что я кончил курс в Оксфордском университете.

Коля Кусков залился противным смехом, похожим на сдерживаемые рыдания. Старик кашлянул в кулак и обиженно посмотрел в сторону.

— Ну что смешного в том, что человек кончил курс в Оксфордском университете? — сказал он, все еще обиженно глядя в сторону.

— Действительно, Коля? — согласился Стаканов. — Что здесь смешного?

— А то, что он врет, как сивый мерин!

— Это можно легко проверить, — сказал Стаканов и затем обратился непосредственно к старику: — Вы, надо полагать, говорите по-английски?

— Как по-русски, — сказал старик.

— Вот вы нам и отчубучьте что-нибудь по-английски, — с ехидной веселостью предложил Коля.

— Пожалуйста: I have not met such a morron even at the Oxford university<sup>1</sup>.

— Ну, положим, английский язык можно выучить и в Казани, — сказал Коля. — Вот вы нам лучше ответьте на ряд специальных вопросов. Например, сколько колледжей составляют Оксфордский университет?

— Тридцать девять. Из них пять женских, пять смешанных и двадцать девять чисто мужских. Я учился в Сейнт-Питерз колледж.

— Как называются ректоры колледжей? То есть ректоры они называются, или проректоры?

— Они называются — провосты. Я всегда говорил — прохвосты.

— Какого цвета университетская спортивная форма?

— Темно-синего.

— Гм!..

После этого «гм» наступило неожиданное молчание, которое в прежние времена комментировали словами «тихий ангел пролетел», а теперь говорят — «милиционер родился».

— И как же вы дошли до жизни такой? — поинтересовался Стаканов.

---

<sup>1</sup> Такого идиота я не встречал даже в Оксфордском университете (англ.).

— В общем незаметно,— ответил старик.— Лет так тридцать, или, на другой счет, примерно одиннадцать тысяч дней, я ничему не придавал значения. Ничему. Я эти одиннадцать тысяч дней точно проспал. Один раз просыпаюсь: а я уже, оказывается, холостой. В другой раз просыпаюсь: на мне уже пальто, подобранное на помойке...

— Да...— протянул Стаканов.

— Да...— согласился Коля Кусков.

— Нет, если вы думаете, что я об этом скорблю, то вы глубоко ошибаетесь. Одиннадцать тысяч дней как одна ночь,— ведь это победа! Ведь это нужно быть избранником, чтобы на тебя свалилась этакая-то благодать! Вникайте: одиннадцать тысяч раз проснуться с мыслью о том, что все зря, одиннадцать тысяч раз совершить поездку в треклятом общественном транспорте, где тебя пихают и норовят как-нибудь оскорбить, одиннадцать тысяч раз увидеться с сослуживцами, которых век бы не видеть, потом еще одиннадцать тысяч обратных транспортных истязаний, одиннадцать тысяч объяснений с женой и одиннадцать тысяч отходов ко сну с мыслью о том, что вся зря. Это вспотеешь жить!..

— Если так рассуждать,— сказал Коля Кусков,— то и жить-то незачем. Вешаться надо.

— Это не обязательно,— заметил старик.— Можно просто ничему не придавать значения, и жизнь пролетит, как новогодняя ночь. Ведь из чего кипятимся, ребята?..

— Мы лично из того кипятимся,— назидательно сказал Коля,— что жизнь прекрасна и удивительна.

— Ну, помогай бог,— сказал старик и печально глянул на кружку с пивом; Стаканов пододвинул ее к старику; тот благодарно кивнул, сделал большой глоток и стал продолжать: — Только, хоть убейте, не понимаю, что вы находите в ней прекрасного. Удивительна — это ладно, но почему прекрасна? Или вы имеете в виду выходные дни? Шесть удивительных дней и один прекрасный? Если вы имеете в виду выходные дни, то моя жизнь много прекрасней вашей, потому что у меня все дни выходные.

— Извините, отец,— сказал Стаканов,— нам надо идти.

— Да, пора,— подтвердил Коля Кусков и посмотрел на часы.

— Позвольте прощальное слово,— сказал старик.—

Вот вы говорите, что жизнь — это прекрасно и удивительно, а между тем это и не прекрасно и не удивительно; это просто смешно. Пример: вы жалеете меня, а я вас. Другой пример: между самыми противоположными противоположностями подчас существует чисто терминологическая разница — разве это не смешно? Разве не смешно, что между вами и мной существует такая ничтожная разница?

— Ну, положим, в этом случае разница все-таки довольно большая,— сказал Коля Кусков.

— Отнюдь! — возразил старик.— В сущности, между нами даже и терминологической разницы никакой. Разница только в том, что ваши пальто куплены в магазине, а мое подобрано на помойке.

— Послушайте, дед,— сказал Коля,— на что вы, собственно, намекаете?

— Это я намекаю на то, что пиво несвежее,— ответил старик и вылил на землю полкружки пива. Затем он довольно воинственно нахохлился и, не поправавшись, побрел вдоль берега пруда, хрустя свежим снегом и оставляя после себя неопрятный след. Стаканов с Кусковым молча проводили его глазами.

Покончив с пивом, они направились в противоположную сторону. Стаканов рассеянно думал о старике в драном пальто, а Коля Кусков насвистывал какую-то знакомую песенку.

— Самое интересное,— вдруг сказал он,— что в семьдесят первом году я был на стажировке в Оксфордском университете.

— Ну и что: старик все верно сказал?

— Все верно, в том-то и дело!..

Коля опять стал насвистывать свою песенку, но внезапно еще раз оборвал ее и весело рассмеялся.

— Полгода я в Оксфорде проторчал,— сказал он сквозь смех,— а по-английски ни бум-бум, только и умею, что делать на лице английское выражение.

И он сделал на лице английское выражение.

Как и следовало ожидать, от пива Стаканова разморило. Вернувшись в отдел, он было снова взялся за обоснование, но тут на него напала такая истома, что он не заметил, как прикорнул. Несмотря на то, что

спал он очень недолго, его посетило сложное сновидение. Будто бы к нему подходит Вера Алексеевна Старопанская и говорит: «Вот вы опять спите, а между тем давно пора поджигать нашу организацию». — «Да бог с вами, Вера Алексеевна! — восклицает Стаканов. — Зачем нам с вами ее поджигать?» — «А затем, что вы потеряли квартальный отчет. Если обнаружится, что вы его потеряли, то вас выгонят по статье, а так — концы в воду. Мне-то, собственно, что? Я из сострадания только записываюсь в поджигатели; можете и не поджигать». Тем не менее она всучает Стаканову увеличительное стекло. Стаканов с отвращением берет его двумя пальцами и наводит на кипу каких-то важных бумаг. Сначала появляется только черная точка, как будто муха наделала, затем из точки начинает валить дымок, затем появляется робкое оранжевое пламя, которое, постепенно нагняя, охватывает всю кипу, перекидывается на соседнюю, с соседней кипы на шторы, и вот уже весь отдел весело полыхает, испепеляя тайну исчезнувшего отчета. Вдруг в отдел заходит стакановская жена и говорит: «Я всегда знала, что ты подлец».

На этом неожиданном повороте зазвонил телефон, и Стаканов проснулся; он ошалело огляделся по стоном, потом встряхнул головой и взял трубку.

— Иван Александрович, это Опекунов, — сказала трубка голосом младшего научного сотрудника Опекунова. — Я, видимо, сегодня вообще не приду. Голова от мыслей словно чужая, да еще температура поднялась, да еще видения какие-то, — одним словом, сегодня я не приду.

— Ну и не приходите, я-то тут при чем?

— А при том, что мне необходимо с вами посоветоваться.

— Ну, советуйтесь... — сказал Стаканов и, тяжело вздохнув, уставился в потолок.

— Во-первых, меня смущает отсутствие альтернативы. Как-то не по-нашему все выстраивается, не научно. Ведь как по-нашему: спички украл Сидоров, а не Петров и не Иванов — так? А у меня получается, что спички украл не Иванов, не Петров, и не Сидоров, а... черт его знает кто?!

— Что-то я не пойму: при чем здесь спички?

— Спички здесь, действительно, ни при чем, это такая аллегория. Имеется в виду, что не труд создал человека, а неизвестно что.



— Напрасно вас это смущает,— сказал Стаканов.— Если бы Лобачевский только и доказал, что геометрия Евклида никуда не годится, он все равно остался бы Лобачевским,— ну, вы понимаете, к чему я клоню...

— Да? Вы так думаете? Ну, слава богу, прямо гора с плеч свалилась!..

— Правда, это еще нужно уметь доказать.

— За этим дело не станет: поседею, а докажу. Главное, есть идея.

— Вот вы с утра долдоните про идею, а что за идея — в сущности, непонятно.

— Собственно, идея заключается в том, что к пришествию Великого Ледника, который, по старым понятиям, совершил человека из недочеловека, человек уже, собственно, существовал. То есть все человеческое уже, как говорится, имело место быть до пришествия Ледника. Логика здесь до того простая, что это даже подозрительно. Как известно, с изменением внешних условий жизни все способное к приспособлению выживает, а все неспособное к приспособлению самоустраняется. Человек выжил. Но он выжил не как явление природы, которое, например с постепенным понижением температуры постепенно обзаводится волосяным покровом, а, напротив, в пику природе, противопоставив ей разум, заменивший ему и быстрые ноги, и теплую шкуру, и убийственные клыки. Следовательно, разумное начало было свойственно человеку еще до пришествия Ледника. Ибо, с точки зрения природы, было бы логичнее, если бы человек либо постепенно обзавелся клыками и шкурой, либо капитулировал и самоустранился.

— Извините, но этого никто не отрицает.

— Но тогда у нас получается, что человечность зарождается в человеке в ту, я бы сказал, романтическую эпоху, когда у него еще нет никаких оснований делаться человеком, поскольку необходимости трудиться было у него не больше, чем у саблезубого тигра. И тем не менее она народилась — вот в чем петрушка! И еще не известно, каков был, так сказать, объем народившейся человечности, может быть, он уже включал в себя и сомнение, и нежность, и сочувствие, и восторг? Даже скорее всего включал, ибо я на плахе не соглашусь, что сострадание музыке может быть следствием сложных производственных операций. Таким образом, человечность зарождается до пришествия Лед-

ника, а это значит, что не труд создал человека, а неизвестно что.

— Послушайте, Опекунов, вы в последнее время читали что-нибудь о происхождении человека? Только честно,

— Не читал. Но какое это может иметь значение? Если человеку на роду написано сделать открытие, то он его сделает. Ему яблоко на голову упадет, он и сделает. Нет, уважаемый Иван Александрович, чтение — это, конечно, лучшее учение, но к науке оно прямого отношения не имеет. Прямое отношение к науке имеет разрешение вопроса, что́ было это самое «неизвестно что». Если хотите знать, это «неизвестно что» просто отравляет мне существование, я по его милости уже видения всякие вижу, как алкоголик какой-нибудь!..

— А я вам скажу, что было это самое «неизвестно что», как говорится, облегчу душу. Всем культурным людям это давно известно, но для вас повторю. Ваше «неизвестно что» представляет собой закономерности биологического развития вида, в результате которого на каком-то определенном этапе происходит превращение количественных характеристик в качественные...

— Вы меня извините, Иван Александрович, но это белиберда. Это то же самое, что сказать о человеке, бросившемся с десятого этажа: он умер в силу закона всемирного тяготения. А, может быть, покойный страдал лунатизмом, может, у него была такая жена, может быть, он вообще выбросился от избытка чувств? Ну, скажите на милость, какая такая закономерность могла превратить количественно клыкастого полуживотного в качественно блаженное существо, которое смотрит на свое отражение в воде и говорит: «Вот я, и зачем-то я есть, и что-то это все-таки означает...» Как хотите, а такое превращение подразумевает какой-то толчок, какое-то свидание...

— Это вы намекаете на инопланетян?

— Ну почему обязательно на инопланетян, мало ли что могло послужить толчком... Года три или четыре тому назад я где-то читал, что «неизвестно что», это, оказывается, повышенная радиоактивность, ибо очаги мировой цивилизации якобы затеплились в зонах повышенной радиоактивности. Они бы еще написали про синильную кислоту...

— Послушайте, Опекунов, вы, кажется, хотели со мной посоветоваться... Вот вам совет: или бросайте к

чертовой матери науку и начинайте писать стихи, или займитесь делом. Довольно изобретать велосипеды, довольно смешить людей, вам уже сорок четыре года, а вы все младший научный сотрудник! Ведь это срам!

Опекунов молчал.

— Вы меня слышите или нет?!

— Слышу.

— Тогда отвечайте, черт побери!

— Я вам попозже позвоню, вы, наверное, еще не обедали,— сказал Опекунов и положил трубку.

«Ну и дурак!» — подумал Стаканов и тоже положил трубку. Затем он посмотрел на часы и пригорюнился: до конца рабочего дня оставалась еще целая вечность. Стаканов потянулся, вылез из-за стола и отправился покурить на курительную площадку.

На душе было как-то трепетно, беспокойно, как бывает, когда вам основательно насолили, но кто насолил, за что — это покрыто мраком. Закурив сигарету, Стаканов стал думать о причинах этого странного беспокойства и в конце концов пришел к выводу, что причиной его был младший научный сотрудник Опекунов. Собственно, и с самим Опекуновым, и с его завиральными идеями все было ясно, но все-таки давешний разговор таил в себе нечто покоелишительное, какой-то расстраивающий намек. Стаканов было стал разбираться в том, что именно в нем таилось покоелишительного, намекающего, но тут на курительную площадку явились две известные балаболки из отдела планирования и сбили его с мысли своей уморительной болтовней.

— А я сижу себе и сижу,— говорила одна,— мне и невдомек, что это совсем другой семинар.

— Ну, ты тоже хороша! — говорила другая.— Надо было по плакатам посмóтреть; по ним сразу видно, какой это семинар — пожарная безопасность или гражданская оборона.

— В том-то и дело, что плакаты везде одинаковые! Везде нарисованы какие-то зеленые мужики. Так я чужой семинар и отсидела. Сегодня подаю Завьялову справку, а он говорит: «Лидия Борисовна, да вы совсем не тот прослушали семинар! Вам придется опять идти». А я говорю: «Знаете что, Николай Степанович, или давайте я буду заниматься противопожарной безопасностью, или планированием издательского процесса!..»

На этом месте Стаканов швырнул окуроч в ящик с песком и пошел в отдел. Вернулся он кстати,— только

он появился, как Вера Алексеевна Старопанская протянула ему телефонную трубку и при этом довольно ядовито предположила, что звонит, скорее всего, жена. Звонила... вот даже так прямо и не скажешь, кто в этот раз звонил; звонила женщина, которая в национальном отношении была весьма редкостный экземпляр: она была на четверть армянкой, на четверть украинкой, на четверть англичанкой, на четверть русской; вероятно, именно по причине туманной национальной принадлежности ей дали космополитическое имя Офелия; Стаканов был с ней в приятельских отношениях, даже немного больше.

— Иван,— сказала Офелия,— ты чем сейчас занят?

— Как чем? Работаю,— ответил Стаканов.

— А ты можешь соскочить? Только прямо сейчас?

— А что случилось?

— Да в принципе ничего. Просто у меня есть ка-нистра молодого вина.

— Может быть, все-таки подождем до вечера? До темноты?

— А чего тянуть? Раньше ляжем, позже встанем.

Хотя Стаканову было ясно, что это всего лишь фраза, что-то отвлеченное, как «тридевятое царство, тридесятое государство», заключительные слова его приятно разволновали.

— Ладно,— сказал он,— попробую что-нибудь сочинить...

Это легко было сказать: «Попробую что-нибудь сочинить» — на самом деле все, что можно было сочинить, давно уже было сочинено и в разное время пущено в ход с более или менее досрочно-освободительным результатом. В сущности, оставалось только отправиться на поклон к Коле Кускову, который был первый пройдоха в том, что касается досрочно-освободительных сочинений, и Стаканов отправился разыскивать Колю по этажам.

Найдя Колю Кускова в отделе кадров, где он объяснял двум молоденьким девушкам принцип игры в «железку», Стаканов вызвал его в коридор и попросил что-нибудь сочинить.

— Есть еще такой вариант,— сказал Коля, пощипывая себя за ухо.— Я сейчас звоню в наш отдел. Подходит Чичиков. Я ему говорю: «Это из «Огонька». Нам нужно срочно встретиться с товарищем Стакановым, он на месте?» — «На месте»,— говорит Чичиков и подзывает вас к телефону. Вы берете трубку, и я вам рас-

сказываю анекдот. Вы все время киваете, а потом говорите Чичикову, что вас просят срочно заехать в редакцию «Огонька» на предмет консультации по вопросам земельной ренты. Только вы не смейтесь, когда я буду рассказывать анекдот.

— Чичиков вас сразу узнает,— сказал Стаканов.

— А я покрою трубку носовым платком, он и не узнает. Это старинный способ, голос так изменяется, что не только начальство, родная мать, и то не узнает. Только вы мне одолжите ваш носовой платок.

Стаканов вручил Коле Кускову свой носовой платок и, вернувшись в отдел, стал ожидать звонка. Звонok раздался минут через пять после его прихода. Хотя кусковский план с самого начала показался Стаканову ненадежным, все произошло в скрупулезном соответствии с этим планом: Чичиков, ласково улыбаясь, позвал Стаканова к телефону, и тот стоически выслушал анекдот про интеллигента и продавца, после чего заявил, что его просят срочно заехать в редакцию «Огонька» на предмет консультации по вопросам земельной ренты. Чичиков его, разумеется, отпустил.

## 6

Когда за Стакановым захлопнулась тяжелая дверь и он оказался на улице, припорошенной подмокшим снегом, от которого, кажется, пахло выстиранным бельем, на душе у него стало так привольно, так хорошо, что захотелось спеть, расхохотаться, сказать кому-нибудь комплимент. На радостях он решил по пути заглянуть в кафе «Звездочка» и пропустить граммов сто французского коньяку.

В «Звездочке» Стаканов застал из посетителей только какого-то лысого мужика. Видимо, ему было томительно одиноко, потому что не успел Стаканов получить свой коньяк, как лысый мужик обратился к нему со следующими словами:

— Слушай, друг, у тебя когда-нибудь было горе?

— Горе? — переспросил Стаканов. — Конечно, было.

— Тогда давай познакомимся. Константин.

Стаканов назвал в свою очередь и спросил:

— Так что у вас, собственно, произошло?

— А то и произошло, что я последний мерзавец и негодяй! Гад я ползучий, вот я кто! Вот ты мне ответь: почему люди пьют до безобразного состояния?

Стаканов снял с себя плащ, переобулся в домашние тапочки и вслед за Офелией прошел в небольшую комнату, где сидело человек пять гостей, причудливо освещенных настольной лампой под сиреневым абажуром.

— Рекомендую,— сказала гостям Офелия.— Это Иван, мой хороший приятель. Он какой-то там... ну, не знаю, одним словом,— ученый.

— Я тоже ученый,— сказал один из гостей, полный мужик с маленькими глазами и пышными бакенбардами.— Но я из тех ученых, за которых двух не битых дают.

— Однако вернемся в наших баранам,— сказал другой гость, молодой человек с крайне исхудалым лицом, до такой степени исхудалым, что при разговоре кожа его лица натягивалась и лоснилась.— Так вот я утверждаю, что все это надувательство и полная чепуха.

— А я утверждаю, что это вовсе не чепуха,— горячо возразила женщина с тюрбаном на голове.— Другое дело, что современная наука еще не в состоянии этого объяснить, но это точно не чепуха. Вот давайте спросим ученого, чепуха это или не чепуха? Скажите, как вы относитесь к спиритизму?

Стаканов смутился.

— Я, знаете ли, никогда об этом не думал,— ответил он.— Но вообще я материалист.

— Я тоже материалист,— сказал полный мужчина,— но я из тех материалистов, которые этимологически происходят от «материального благополучия».

— Я не понимаю, чего вы спорите?! — сказала Офелия.— Давайте поставим эксперимент, то есть проведем спиритический сеанс, и сразу станет ясно, чепуха это или не чепуха.

— Только чтобы без обмана! — потребовал молодой человек с исхудалым лицом.

— Да уж какой тут обман,— сказала Офелия.— Хочу только предупредить, что кое-кто стоит на пороге крушения материалистических идеалов.

— Ну, это мы еще посмотрим! — раздалось сразу несколько голосов.

— И смотреть нечего,— отрезала Офелия, направляясь в соседнюю комнату, видимо, за оборудованием для спиритического сеанса.

Сразу наступила нервная тишина. Полный мужик с бакенбардами злорадно улыбался, молодой человек

— Не знаю,— сказал Стаканов.

Он и правда не знал, почему люди пьют до безобразного состояния.

— Так я человек как человек,— продолжал Константин.— В интимной компании я и спеть и сплясать могу, но стоит мне только принять на грудь, как мне уже все на свете вразрез души!.. Или это климат как-нибудь действует?.. А, может быть, у нас такой специальный обмен веществ?

— Все наши беды происходят оттого,— сказал Стаканов,— что мы не понимаем простых вещей. Вот я закончил Московский университет, но тоже не понимаю простых вещей. Например, я не понимаю, в силу какой необходимости человек развился до такой степени, что стал явлением вне природы; почему хорошего человека по лицу видно; зачем во мне сидят явно не биологические возможности, если я все равно умру...

— Ты меня, Ваня, извини,— сказал Константин,— но так жить нельзя! При такой умственной нагрузке, даже если не работать, все равно причитается трудодень, потому что это получается уже не жизнь, а целое производство. Надо проще жить, Ваня, проще и веселей. Вот, скажем, лампочка горит; почему она горит? А хрен ее знает! Горит и горит, и всенародное ей за это спасибо!

— Может быть, вы и правы,— сказал Стаканов.— Даже скорее всего, что правы, поскольку жизнь, осмысленная вплоть до места моего «я» во вселенной,— непереносима, и жизнь, не осмысленная вообще,— тоже непереносима.

— Ты, главное, особенно не переживай! — предложил Константин.— Если желаешь развеяться, то я даже бутылку могу поставить. У меня еще пять рублей на повестке дня.

— Да нет, мне пора,— сказал Стаканов и протянул Константину руку.— Прощай! Ты хороший мужик, дай тебе бог здоровья!

— И ты хороший мужик, я отвечаю! Вдумчивый мужик, то, что надо!

Стаканов с чувством пожал Константину руку, расплатился за коньяк и ушел.

В метро с ним ничего интересного не случилось.

— Ну вот и ты! — сказала Офелия, впуская Стаканова, и поправила безымянным пальцем очки, которые у нее вечно сползали с носа.

с исхудалым лицом несколько раз кашлянул в кулак, а женщина с тюрбаном на голове сказала:

— Не знаю, как вам, а мне что-то страшно.

В правом углу комнаты, на маленьком диване, сидели еще двое, мужчина и женщина, но они не проронили ни единого слова; собственно, они целовались, и им было не до чего.

Офелия вернулась с миниатюрным столиком об одной ножке, на котором помещался листок бумаги, накрытый прямоугольным куском стекла, склянка какого-то масла, блюдце и карандаш. На листке были нанесены слова «да» и «нет», десять арабских цифр и все тридцать три буквы русского алфавита. Поставив столик посреди комнаты, Офелия натерла маслом стекло, затем нанесла карандашом черточку на обратной стороне блюдца и сказала гостям:

— Прошу всех к столу!

Гости повскакали со своих мест и с шумом стали рассаживаться вокруг спиритического прибора. Когда все окончательно расселись, вдруг наступила такая прозрачная тишина, что сделалось слышно, как целуется пара, оккупировавшая диван.

— Иван,— сказала Офелия,— принеси из прихожей свечи.

Стаканов отправился за свечами и заодно заглянул в туалет. Когда он мыл руки в ванной, он нарочно негромко гаркнул, чтобы проверить, водятся ли у Офелии тараканы. Тараканов не было.

— А зачем, собственно, нужны свечи? — спросила женщина с тюрбаном на голове в тот момент, когда Стаканов вернулся в комнату с двумя бронзовыми шандалами, изображавшими Геркулеса.

— Так...— многозначительно сказала Офелия и чиркнула спичкой.

Вдруг сама собой выключилась настольная лампа,— то ли в ней лампочка перегорела, то ли что-то случилось с пробками, то ли это был фокус, нарочно предусмотренный для таких случаев,— но только она вдруг выключилась, потом затрещали свечи, и стало действительно страшновато, нехорошо. На стенах и потолке зашевелились гигантские тени, и один бакенбард полного мужика лег на занавеску дымчатым профилем привидения.

— Кого будем вызывать? — спросила Офелия, поправив безымянным пальцем очки, и посмотрела по сторонам.



Все молчали.

— Давайте вызовем дух Петра Яковлевича Чаадаева? — вдруг предложила женщина, которая до этого исключительно целовалась.

— А почему именно Чаадаева? — спросил молодой человек с исхудалым лицом.

Женщина пожала плечами.

— Хорошо, а что мы у него спросим?

Женщина опять пожала плечами.

— Например, у него можно спросить, что такого он написал в своих «Философических письмах», что их невозможно достать ни за какие деньги? — сказал полный мужик.

— Чаадаева, так Чаадаева, — согласилась Офелия. — Протягивайте руки над блюдечком, слегка касаясь его кончиками пальцев. Легче, легче!..

— А вы почему не протягиваете? — спросил Офелию молодой человек с исхудалым лицом.

— Потому что я буду записывать буквы, на которые укажет блюдечко, вот почему.

— Нет уж, давайте я буду записывать буквы, знаем мы вас, субъективных идеалистов! — И он отобрал у Офелии карандаш.

— Хорошо, записывайте вы, — сказала Офелия. — Только внимательно следите за меткой на блюде. На какую букву метка укажет, ту вы и записывайте. Ну, начнем!

Участники сеанса замерли, соединив руки над блюдцем и вперившись в него такими настороженными взглядами, что через несколько секунд у всех перед глазами поплыли какие-то подозрительные круги.

— Вызываем дух Петра Яковлевича Чаадаева! — сказала Офелия на довольно фальшивой ноте, и спиритам стало сильно не по себе.

Сначала блюде никак не отозвалось на эти слова, но вот проходит минута, другая, и вдруг, ко всеобщему изумлению, блюде стало выказывать признаки потусторонней жизни, то есть зашевелилось. В этом шевелении было что-то живое, во всяком случае, органическое.

— Здесь ли вы, дайте знать?! — сказала Офелия на все той же фальшивой ноте.

Блюдце дернулось в одну сторону, в другую, потом сделало чуть ли не полный круг и окаменело.

— Оно показывает на «да»! — прошептал молодой человек с исхудалым лицом. В его глазах была такая

потерянность, что это было почти смешно. А тут еще пламя свечей одновременно поникло и затрепетало, точно по комнате прошло неощутимое дуновение.

— Спрашивайте,— сказала Офелия.

— Что спрашивать-то? — прошептала женщина с тюрбаном на голове.— Не про «Философические письма» же?.. Может быть, спросим его, будет ли в новом году повышение цен?

Офелия кивнула.

— Спрашиваем дух Петра Яковлевича Чаадаева! — сказала она.— Будет ли в новом году повышение цен?

Блюдце немного помедлило, точно оно крепко задумалось над этим вопросом, но потом начало так резко крутиться и бегать по стеклу, что все испугались, как бы оно не свалилось на пол. И вдруг блюдце снова окаменело.

— Ну что у вас получилось? — спросила Офелия у молодого человека с исхудалым лицом. Тот сначала рассеянно погладил себя по голове, потом прочитал:

— Эл, а, эм, а... Ерунда какая-то!..

И тут он необыкновенно радостно улыбнулся, изобразив на лице какое-то погожее летнее утро.

— Я же говорил, что этот ваш спиритизм — надувательство и полная чепуха!

— Но тогда почему оно крутится? — возразила ему женщина с тюрбаном на голове.

— Руки трясутся, вот оно и крутится!

— Дело в том,— сказал Стаканов,— что по-французски l'âme, значит — душа.

— А что это буквосочетание значит на суахили? — ядовито спросил его полный мужик.

— Между прочим, нет ничего удивительного в том, что Чаадаев ответил нам по-французски,— сказала Офелия.— Он даже «Философические письма» написал по-французски. Он, наверное, со своими крепостными объяснялся через переводчика...

— Душа...— проговорил молодой человек с исхудалым лицом.— Однако!..

Все как-то сникли.

— А давайте еще кого-нибудь вызовем? — примерно через минуту предложила женщина с тюрбаном на голове.

— Сейчас все вызывают Адама,— сказала Офелия.— Давайте вызовем дух Адама?

— Ага! — сказал молодой человек с исхудалым лицом. — Мы его вызовем, а он будет с нами разговаривать на иврите?!

— Так ведь он жил до Вавилонской башни, — возразила Офелия. — А тогда был только один язык, и, значит, он нам ответит так, что все будет яснее ясного.

Процедура повторилась сначала, включая замешательство с вопросом к духу Адама; было предложение спросить его, есть ли жизнь на других планетах, было предложение поинтересоваться подробностями первого грехопадения, но в конце концов молодой человек с исхудалым лицом настоял на вопросе — кто был создателем первого человека.

Дух ответил — «чудо», правда, записав это слово с грамматической неточностью, через «ю». После этого молодой человек с исхудалым лицом бросил карандаш, вышел из комнаты и, судя по звукам, закрылся в ванной.

Стаканов нервно зевнул.

— А можно вызвать дух обыкновенного человека? — спросил он после короткой паузы у Офелии, которая сидела от него по правую руку; ему вдруг пришло на ум вызвать дух своего отца.

— Разумеется, можно, — сказала Офелия, — хоть водопроводчика вызывай.

— Тогда вызови, пожалуйста, дух Александра Сергеевича Стаканова.

— А кто был этот Стаканов? — спросила женщина с тюрбаном на голове.

— Это не важно.

Офелия минут пять вызывала дух стакановского отца, — тот почему-то не откликнулся. Наконец, блюдечко указало на «да», и Стаканов открыл было рот, чтобы спросить одну чрезвычайно важную вещь, но Офелия сделала ему знак молчать, так как блюдечко внезапно заволновалось. Вопреки всяким правилам, дух, не дожидаясь вопроса, заговорил сам. Блюдце подергалось, побегало и застыло. Вышло: «сукин сын».

«Почему сукин сын? — с обидой подумал Стаканов. — Что я такого сделал?»

— У меня есть предложение, — сказал полный мужик. — Давайте напоследок вызовем дух Александра Македонского?

— А что мы у него спросим? — поинтересовалась Офелия.

— Мы у него спросим, дадут нам, наконец, в этом доме обещанного вина, или как?

Все засмеялись, а Офелия всплеснула руками и полетела на кухню за угощением. Минут через пять явились: пластиковая канистра молодого вина, блюдо какой-то травки и буханка ржаного хлеба, нарезанная, что называется, по-французски. Вообще Офелия была не хозяйка.

Вино оказалось таким противным, что вскоре все стали посматривать на часы. Стаканов тоже время от времени посматривал на часы, но тут подразумевалось совсем иное: он думал, что вот сейчас все уйдут, а он останется, и, возможно, в результате окажется, что фраза «раньше ляжем, позже встанем» это не просто фраза.

— Чего вы все скисли-то? — сказала Офелия. — Хотите, кому-нибудь погадаю?

— Ну уж нет! — воскликнула женщина с тюрбаном на голове. — Ты когда гадаешь, то вечно предсказываешь всякие неприятности. Примера не было, чтобы у тебя все вышло благополучно!

Наступила скучная пауза. Офелия встала и зажгла большой свет — вспыхнула резь в глазах, и всех посетило чувство разочарования, точно присутствовавших только что здорово обманули. Кто-то тяжело вздохнул, кто-то зевнул, кто-то проговорил «м-да...». Наконец, все стали подниматься со своих мест и потихоньку потянулись в прихожую одеваться. Один Стаканов как сидел на своем стуле, так и сидел. Уже из прихожей долетело сопение, одежные шорохи и постукивание каблуков, уже выгудили из ванной молодого человека с исхудалым лицом, который, как оказалось, там с огорчения прикорнул, уже Стаканов решил, что фраза «раньше ляжем, позже встанем» определенно не просто фраза, как в комнату заглянула Офелия и сказала:

— А ты что сидишь?

Стаканов притворно вздрогнул, чтобы показать Офелии, что он нечаянно призадумался и только поэтому не пошел вместе со всеми в прихожую одеваться, затем пробормотал что-то невразумительное и отправился одеваться. «Никому не нужен! — сказал его внутренний голос. — Ну, ни одной живой душе, даже этой дуре, и то не нужен!»

— А я думал, вы остаетесь, — обратился к нему полный мужик, когда гости высыпали на лестничную площадку.

— Рад бы остаться, да не оставляют,— сказал Стаканов и засмеялся; он подумал, что если сдобрить горькую правду смехом, в ней сразу появится кое-что от неправды.— Несчастный я человек!

— Я, видимо, тоже несчастный человек,— сказал полный мужик.— «Видимо» потому, что я могу быть из тех несчастных, которые об этом не подозревают.

7

На улице стоял легкий морозец, градусов в пять или немного больше. Фонари горели нервным, противоестественным светом, под ногами музыкально поскрипывал снег, было пустынно.

Стаканов, не торопясь, дошел до метро, но когда впереди пригласительным светом замаячила буква «М», ему стало тошно при мысли о получасовой подземной поездке и, несмотря на то, что денег у него было в обрез, он решил отправиться на такси.

Водитель ему попался неразговорчивый, даже мрачный. Он мусолил во рту потухшую папиросу и смотрел строго перед собой.

— Скажите, пожалуйста, какой у нас нынче день? — поинтересовался Стаканов с тем только, чтобы наладить рассеивающий разговор.

— Пропаций, вот какой! — на горькой ноте сказал таксист.— Оторвать и бросить! А вообще пятница.

— Случилось что-нибудь? — спросил Стаканов, закуривая сигарету.

— Вот именно, что ничего не случилось! Навару сегодня — ноль целых, ноль десятых. Вот вез я одного перед вами: на счетчике три рубля пятьдесят четыре копейки. Представьте себе: он мне дает ровно три рубля пятьдесят четыре копейки! Я ему говорю: «Что же ты делаешь, гад?!» Он отвечает: «Я вас, крохоборов, ненавижу, и всегда назло отстегиваю копейка в копейку». Вопрос: кто из нас получается крохобор?

Таксист подождал, не ответит ли ему Стаканов на этот вопрос, но Стаканов смолчал.

— Или вот вез я недавно одного ученого мужика. Так вот он мне сказал, что человеческая жизнь,— это в среднем двадцать пять тысяч дней. Подумать только: двадцать пять тысяч дней! — курам на смех! Но, с другой стороны, оказывается, что это не так уж и мало. Я посчи-

тал: если сбросить на детство шесть тысяч пятьсот, то остается восемнадцать тысяч пятьсот полновесных дней. Дальше такая арифметика: если я, положим, делаю в смену на круг «чирик» навару, то выходит, что за восемнадцать тысяч пятьсот дней, я могу, помимо зарплаты, иметь сто восемьдесят пять тысяч рублей, ноль-ноль копеек! Это, брат, не баран чихнул! Это можно всю жизнь намазывать хлебешек маслом с обеих сторон! Так я говорю или не так?

Стаканов опять смолчал. Он в это время смотрел в окошко, за которым бежала темная, безлюдная улица, и думал о том, что дома его ожидает скорее всего скандал.

Когда такси остановилось возле его подъезда, он вручил водителю все наличные деньги и торопливо выскочил вон, так как чаевых он наскреб всего-навсего пятнадцать копеек.

8

Поднявшись на свой этаж, Стаканов достал ключи и с отчаянными предосторожностями отпер входную дверь. Несмотря на не такой уж и поздний час, в квартире было темно и тихо, только где-то чревовещательно звучали водопроводные трубы и раздавалось близкое, но едва слышимое шуршание,— наверное, в детской комнате рассыхались обои. Стаканов беззвучно разделся и пошел в кухню.

На столе, что называется, немым укором стоял простывший ужин, накрытый вафельным полотенцем. Стаканов из любопытства приподнял полотенце за уголок, потом сел к окошку и закурил. Он выкурил одну сигарету, вторую и уже нацелился достать третью, как в прихожей громоподобно зазвонил телефон; прежде чем он успел зазвонить во второй раз, Стаканов умудрился унести его в кухню и плотно прикрыть за собою дверь; вслед за этим он поднял трубку.

— Добрый вечер, Иван Александрович! — сказала телефонная трубка голосом младшего научного сотрудника Опекунова.— Это Опекунов. Извините за поздний звонок.

— Не извиняйтесь, потому что я еще не ложился,— ответил Стаканов и, приподняв краешек вафельного полотенца, немного отщипнул от рыбного пирога.— Ну что скажете новенького?

— Даже не знаю, с чего начать! Такая масса накопилась соображений, что прямо не знаю, с чего начать! Пожалуй, начну с того, что, возможно, отнюдь не разум — первая отличительная, центральная человеческая черта. Видите ли, если взрослый человек, не сморгнув глазом, пойдет на красный свет светофора, отлично зная, что это грозит ему смертельным исходом, если матерый волк, не сморгнув глазом, перепрыгнет через красные охотничьи флажки, зная, что это надувательская преграда и, напротив, будет плохо, не перепрыгни он через эти флажки,— то, извините, разум — отнюдь не центральная человеческая черта.

— Это вы к чему? — спросил Стаканов и смахнул с губы крошку от рыбного пирога.

— Да все к тому же! К тому самому «неизвестно что», которое превратило в человека нечеловека. Но прежде нам надо договориться, что есть, собственно, человек? То есть что безусловно отличает его от всех прочих форм органического бытия? Не знаю, как вы, а я считаю, что безусловно его отличает только самосознание. То есть человек есть прежде всего единственное существо в природе, которое осознает себя во времени и в пространстве. Все прочее понятия не имеет о том, что оно существует. Отсюда неизбежно следует сознание исключительной ценности собственного бытия, другими словами, обожествление себя в частности и человека вообще. Это следствие самосознания называется — человечность. Вы тут со мной согласны?

В ответ Стаканов только протяжно вздохнул.

— Но самый главный вопрос заключается в том, что именно пробудило это самосознание в полузвере? Что подвинуло его в тот момент, когда он однажды увидел в воде свое отражение, призадуматься на ту тему, что, дескать, вот я, и зачем-то я есть, и что-то это все-таки означает...

— Ответ у вас, понятное дело, готов?

— Ответ, действительно, готов. Все дело — в противоестественном отборе...

— Удивляюсь я на вас! — перебил Стаканов.— Что ни день у вас, то открытие!

Опекунов пропустил это язвительное замечание мимо ушей.

— Причем самое интересное, — продолжал он, — что человечность могла быть совсем даже и не прямым, а побочным продуктом противоестественного отбора. И это

обстоятельство — козырной туз на руках у материализма...

— Погодите, — опять перебил Стаканов. — А почему, собственно, противоестественный?

— Потому что в начальной стадии становления человека из нечеловека природа отбирала в качестве перспективных именно ненормальные особи тогдашнего нечеловека. Например, это могли быть уроды. Конечно, с точки зрения неандертальца — уроды, то есть особи, уродившиеся не такими безлобыми, сутулыми, волосатыми, особи, которые были гораздо ближе к современному человеку. Но, с точки зрения неандертальца, они были такими же уродами, как с нашей точки зрения, олигофрены, карлики и сиамские близнецы.

— Ну и что?

— А то, что, например, в тех семьях, в которых не без уродца, уроды-то, например, горбуны, как раз самые тонкие, отзывчивые, вникающие, словом, человеческие домочадцы. Это вам скажет мать любого уродца. По той же самой логике шло и становление человека. Эти бедные уроды, надо полагать, подвергались таким настойчивым гонениям извне, то есть со стороны сородичей, и так страдали комплексом своей биологической неполноценности, что со временем стали на порядок выше неандертальцев. Как известно, если зайца бить, он спички может зажигать, и, я думаю, если в течение десяти тысяч лет преследовать самое тупое и безобидное животное, оно начнет мыслить. То есть можно сказать, что человек стал человеком с большого горя.

— Вообще я вас не поздравляю с этим открытием, — сказал Стаканов.

— Я себя тоже не поздравляю. Но что делать, Иван Александрович? — истина превыше всего. А истина, с моей точки зрения, заключается в том, что именно, так сказать, биологическое горе пробудило в проточеловеке самосознание. Недаром первые детские воспоминания, с которых начинается человек как существо, осознающее себя во времени и в пространстве, это воспоминания, как правило, связанные с болью или бедой. Я, например, помню себя с того момента, как нечаянно наступил на горячий утюг.

— А я помню себя с того момента, как мне подарили лошадку из папье-маше.

— Вы, Иван Александрович, вообще благополучный



человек, с вас — взятки гладки. Если бы наши предки все были такими, как вы, мы до сих пор бродили бы в бассейне Москвы-реки, вооруженные каменными топорами. Извините.

— Ничего, ничего!

— Так вот вначале было биологическое горе. Затем становление человечности продолжалось уже по принципу, так сказать, обреченного отбора, поскольку уроды, главным образом, женятся на уродах; а потом оказалось, что уроды — это неандертальцы, а наши уроды — вовсе и не уроды. И вот мы уже имеем целые племена предков современного человека, которые в биологическом, духовном и социальном отношениях развивались чрезвычайно быстро, так как самовоспитание трудом у них сочеталось с самовоспитанием человечностью. Это сочетание в конечном итоге выпестовало и разум, но вовсе не тот разум, который позволяет извлекать квадратные корни, а тот разум, который утверждает, что всеобщее счастье, построенное на смерти всего одного ребенка, не стоит выеденного яйца. А неандерталец самоустранился, потому что единственным способом его биологического развития было примитивное производство; и уже из того, что он самоустранился, мы заключаем, что в становлении человека труд играет далеко не первостепенную роль. Впрочем, не появившись наши уроды, неандерталец, пожалуй, где-нибудь в девяносто шестом веке текущей эры и превратился бы в человекоподобное существо, способное на некоторые интеллектуальные операции. Из этого, между прочим, следует вот какое симпатичное замечание: не все то человек, что умеет извлекать квадратные корни. Алло?! Алло?! Это что, телефон барахлит или вы кашляете?

— Наверное, телефон барахлит,— ответил Стаканов,— потому что кашляю я исключительно по утрам.

— Тогда обождите минутку, я через минутку перезвоню.

Стаканов положил трубку и еще раз отщипнул от рыбного пирога. Затем он подошел к окну: на улице тихо, морозно, настораживающе пустынно. Вдруг где-то поблизости, вероятнее всего, в соседнем дворе, раздался тревожный крик, и у Стаканова испуганно сжалось сердце. В это мгновение зазвонил телефон.

— Алло?! — сказала трубка голосом младшего научного сотрудника Опекунова.— Это вы? А это опять

я. Так вот мы с вами остановились на пороге одного поразительного, я бы даже сказал, страшного заключения... Видите ли, сама возможность одновременного рождения нескольких пар уродов, затем возможность их встречи, соединения и плюс еще такие игреки, как необходимая плодовитость, выживаемость потомства,— в смысле теории вероятности составляет слишком сложную математическую задачу. В принципе, осуществление всех этих вероятностей почти так же маловероятно, как маловероятно, чтобы ребенок, играя в счетные палочки, случайно решил теорему Ферма. И тем не менее это произошло! Мы есть, стало быть, это произошло! С одной стороны, это, может быть, и нормально, потому что единожды в вечность обязана осуществиться самая невероятная невероятность, потому что, если человек — мерзавец, он рано или поздно получит по физиономии, но, с другой стороны, это ужасно страшно!..

— Да чего тут страшного-то, не пойму?! — сказал Стаканов с некоторым раздражением.

— Страшно вот что: если неразрешимая задача создания человека практически из ничего была все-таки решена, то, значит, это было необходимо, значит, человек — это какая-то миссия... Кому-то или чему-то зачем-то понадобилось, чтобы природа прошла немислимый путь от бактерии до Толстого! Десять миллионов закономерных случайностей, и в результате мы имеем такое волшебное превращение,— разве это не чудо?! То есть никаких сомнений быть не может, что существование человека подразумевает какую-то миссию!.. Вот только вопрос — какую?!

— Надо полагать, и на этот вопрос у вас найдется ответ...

— На этот вопрос у меня ответа покуда нет. Но мне почему-то кажется, что его следует искать в том, что эволюция человека отнюдь не закончилась, что эволюция продолжается. Ведь, с точки зрения вечности, человечество только полчаса как в курсе, что грех убивать людей! А, может быть, ответ следует искать в том, что те самые десять миллионов случайностей, которые породили человека практически из ничего, неповторимы во времени и пространстве; такое могло произойти только однажды и только в одном пункте бесконечной вселенной,— ведь за всю историю человечества не было двух людей с одинаковыми отпечатками

безымянного пальца,— это нам о чем-нибудь говорит?! Но скорее всего, ответ в продолжении эволюции. Вообще я выдвигаю лозунг: «Давайте эволюционировать!»

— В добрый час,— сказал Стаканов.— Если у вас еще что-то есть, то давайте отложим это назавтра. Ночь на дворе.

— Действительно, ночь...— покорно согласился Опекунов.

— До свидания,— попрощался Стаканов и положил трубку.

Выкурив еще одну сигарету, он на цыпочках пошел в спальню. Жена спала, как говорится, без задних ног. Тем не менее и раздевался и влезал в постель Стаканов с большими предосторожностями. Заснул он почти мгновенно.

Во сне ему почему-то привиделся зоопарк. Получилось так, что будто бы он украл у жены сердоликовое ожерелье и его посадили за это в специальный вольер. Самое неприятное было то, что его демонстрировали; экскурсовод, похожий на вахтера Толстосумова, подводил к вольеру толпы зевак и коротко объяснял:

— А тут у нас сидит просто один сукин сын. Из семейства млекопитающих. Он умеет разговаривать. А ну скажи что-нибудь товарищам экскурсантам!

И Стаканов тараторил не своим голосом:

— Давайте эволюционировать! Давайте эволюционировать!..

Это было так обидно, что он проснулся.

За окном белело раннее утро.

Сначала Стаканов сел, затем он сел таким образом, чтобы свесились на пол ноги, затем он стал нащупывать ими шлепанцы... ну, и так далее.

---

# Чистая сила

## 1

Как говорил профессор Грановский, врагов еще надобно заслужить. Как, в свою очередь, убедился самоучка Василий Иванович Пятаков, смерть, оказывается, тоже надобно заслужить. Самоучка записал результаты своих исследований в ученической тетрадке за три копейки и вскорости скончался во всей полноте возможного, тем самым подтвердив экспериментально свою идею. Суть ее, коротко говоря, состояла в том, что души, отягощенные преступлениями, чрезмерно энергетичны и поэтому они столетиями влачат отвратительно превращенное бытие, пока не иссякнет их нечестивый потенциал, в то время как душам чистым обеспечен именно вечный сон; то есть они тютелька в тютельку настолько энергетичны, что дело выливается в вечный сон.

А жил Василий Иванович Пятаков в рабочем поселке Химволокно, который представлял собой совершенно омерзительный населенный пункт районного подчинения — они до Октября заштатными назывались — поселчишко в такой степени гадкий, что жить в нем было бы оскорбительно для всякого мало-мальски цивилизованного человека. Ну посудите сами: посреди поселка стояло единственное трехэтажное здание, когда-то принадлежавшее купцу Рукосуеву, а впоследствии приспособленное под рабочее общежитие, все облупленное какое-то, с двумя кирпичными трубами, из которых росли березки, с нематыми окнами, поколотыми во многих местах и либо замазанными цветным пластилином, либо снабженными латками из фанеры, с разбитым парадным, откуда тянуло, как изо рта неопрятного человека, наконец с большим каменным львом у парадного, раскрашенным масляными красками в неистовые цвета — пару ему по пьянке взорвали динамитом здешние огольцы; напротив рабо-

чего общежития стояла церковь без куполов, где до войны помещался клуб, потом был склад горюче-смазочных материалов, потом еще что-то, а в начале семидесятых годов церковь прибрало к рукам отделение «Сельхозтехники»; третьим по счету каменным зданием была одноэтажная столовая, возведенная пленными итальянцами, и в ней, действительно, чудилось что-то тирренско-ионическое, не наше, а четвертым и последним — жилой дом коробочкой, в котором обитало поселковое руководство; все прочие строения были деревянными, избоподобными в большинстве, и глядели на мир так кисло, как если бы им было противно самих себя. К тому же улицы в поселке отличались ничемной, избыточной шириной, в самых неожиданных местах оказывались заросшими муравой, или загроможденными свалкой тактического значения, или просто-напросто непроезжими ни по какому времени года, и которую улицу ни возьми, вечно посредине нее что-нибудь да виднелось почти с одинаковыми интервалами, положим: коробка передач, за нею — бочка из-под солянки, далее — пластиковый ящик из-под вина, там — детская металлическая кровать... и так до самой линии горизонта; поскольку поселок лежал в степи, улицы его всегда упирались в линию горизонта. Понятное дело, домашняя птица разгуливала где ни попадя, изредка попадались накоротке привязанные бычки, и стаи подоидчавших собак сторожко трусили с краю проезжей части, по-человечески глядя по сторонам, потому что их скуки ради отстреливали здешние огольцы; дохлых собак подбирали потом цыгане и шили из них на продажу шапки.

В общем, вид поселка Химволокно навевал гнетущее впечатление, и даже вдвойне гнетущее, так как заметная часть его жителей была не чужда самосознания европейца. Уж на что Василий Иванович Пятаков был забубенный домосед, никогда не выдавший чужих столиц, да и свою-то выдавший проездом, мельком, и то в регулярных беседах с учителем математики Адиноковым на темы, нужно заметить, трогательно-отвлеченные, он в другой раз с горечью восклицал:

— Да о чем мы, господа, говорим! Вы только поглядите вокруг: ведь это же чистая Амазония, разве что людей пока не едят!..

— Это за нами не заржавеет, — отзывался Адиноков и сумрачно глядел вдаль.

А впрочем, в наружности поселка Химволокно, несмотря на многочисленные пакостные черты, угадывалось нечто в высшей степени непростое и одновременно родимое, согревающее, как радость; логически этот феномен не получится объяснить, но вот какое сравнение приходит на ум, если прибегнуть к помощи аллегории: в самом неуклюжем детском рисунке более угадывается души, чем в отточенной живописи иного профессионала.

Собственно поселковая жизнь была довольно однообразной и редко отличалась событиями сколько-нибудь запоминающегося масштаба. Ну, отчудят что-либо здешние огольцы, скажем, посшибают на кладбище часть крестов, или донага разденут компанию девушек, бредущих с вечерней смены, или какого-нибудь командированного отлупят до полусмерти — а так невеселая была жизнь. Только в пятьдесят четвертом году, после смерти генералиссимуса, когда народ немного голову потерял, в поселке Химволокно возникло тайное общество читателей Помяловского. Дело было так: в пятьдесят четвертом году в книжный ларек, примостившийся в уголке продуктового магазина, завезли четыре пачки романа «Молотов», который был написан Помяловским в самом начале века; не успели разойтись и с полдюжины экземпляров, как налетел тогдашний уполномоченный Холодков и наложил вето на сей роман, заподозрив в нем пасквиль на одного из вождей партии и народа; однако проданные шесть экземпляров пошли по рукам и произвели на поселковых такое задорное, что ли, впечатление, что в пику Холодкову само собой сложилось тайное общество читателей Помяловского; общество это существовало со всеми сопутствующими обстоятельствами, то есть с конспиративными читательскими конференциями, нелегальной исследовательской литературой собственной фабрикации, подпольными кличками по именам излюбленных персонажей и прочими атрибутами тайных обществ; просуществовало оно безнаказанно вплоть до двадцатого съезда партии, и это, наверное, был случай единственный в своем роде — обычно у нас такие штуки безнаказанно не проходят.

Вот в этом-то поселке и жил мыслитель-самоучка Василий Иванович Пятаков. Биография его была невидная и ее в принципе можно было бы опустить, кабы не то фундаментальное обстоятельство, что именно

в пятаковской биографии все и дело. Итак, родился он в 1922 году в большом торговом селе под Пермью. Отец его был ломовой извозчик и держал собственную конюшню, которую национализировали в двадцать восьмом году, а мать занималась исключительно по хозяйству, как это тогда было заведено. Еще до коллективизации семья Пятаковых переехала в Пермь: тут Пятаков-старший устроился на кладбище камнетесом, а Василий Иванович закончил школу первой ступени, и на этом его учение пресеклось; только гораздо позже Василий Иванович продолжил образование самоучкой, обратившись, главным образом, к мыслителям давних лет,— особенно он почему-то Шеллинга полюбил. В годы же тридцатые, предвоенные, он был от этой материи более чем далек и просто-напросто работал токарем по металлу. В сорок втором, как раз после разгрома наших на южном фланге, Василия Ивановича взяли в армию. При первом же столкновении с неприятелем Василий Иванович упал в обморок — возможно, с ним случился сердечный приступ,— и его направили в штрафной батальон по приговору военного трибунала. Но и во втором бою, уже в составе подразделения штрафников, с ним обратно случился сердечный приступ, и, если бы его не ударил в спину залетный осколок мины, дело могло кончиться очень нехорошо. Поскольку из-за ранения у Василия Ивановича открылся туберкулез, в середине сорок третьего года его вчистую комиссовали.

По возвращении с фронта Василий Иванович поселился в родимом селе под Пермью, и его сразу избрали председателем маленького колхоза. Сняли его с этой должности что-то довольно скоро, так как в ущерб государственным поставкам он по-человечески оплачивал трудодень и колхозники сидели не только на лебедь; почему Василия Ивановича за такую вольность не посадили — это одна из загадок его каверзной биографии. И все же от греха подальше он вторично мигрировал в Пермь, но тут особенно долго не задержался: после войны, в пору разрухи и разгула кровавого бандитизма, его слишком мучила человеческая беда урбанистического, многотысячного размаха. Сначала он переехал в один тамбовский поселок, где нанялся сторожем при продовольственном магазине, потом в тамбовскую же деревню, где служил заведующим по хозяйственной части в начальной школе, однако разнообразные сель-

ские безобразия также его терзали, и в 1961 году он отправился на строительство химического комбината в пограничье России и Казахстана.

Тут время сказать самое главное — Василий Иванович был хороший, нравственный человек. То есть он благоговел перед самым именем — человек; то есть он во всех случаях поступал, сообразуясь не с внешними обстоятельствами, побудительными в какую угодно сторону, а с природной предрасположенностью к добру; то есть помыслы его были чисты, и, если грешным делом в сознание закрадывалась какая-нибудь пакостная задумка, он гнал ее вон с омерзением и стыдом; то есть даже совершенные им непрезентабельные поступки, которые, впрочем, можно по пальцам пересчитать, объяснялись слабостью человеческой, простым несовершенством зоологического вида, классифицированного Линнеем как хомо сапиенс; то есть главным страданием его жизни было страдание по поводу этого простого несовершенства.

После того, как, отработав свое в военизированной охране химического комбината, Василий Иванович вышел на пенсию, ему стало ясно, что тут только и начинается правильная жизнь. Правильность ее прежде всего состояла в том, что он мог подолгу не выходить из дома без крайней необходимости и, стало быть, почти не видеть загаженного поселка и здешних, год от года дичающих обитателей; в результате у него образовалась масса свободного времени, которое он употребил на чтение субъективных идеалистов. Странно сказать, но чтение это иногда производило самые материалистические последствия — например, Василий Иванович как-то ходил скандалить к председателю поссовета на предмет отсутствия в поселке Химволокно телефонной связи, водопровода, канализации и торговли.

— Ведь двадцатое столетие на исходе,— говорил он председателю, ужасаясь,— а у вас народ живет, как при Владимире Мономахе!

Ответ ему был такой:

— При Владимире Мономахе народ, небось, электричества не имел. А советская власть дала ему электричество!

— Электричество народу дал Кулон, и советская власть тут практически ни при чем.

— А вот за это высказывание я вас смело могу привлечь!



• При таком повороте сюжета разговор терял смысл, и Василий Иванович удалился.

После этого визита в поселковый совет он ни с кем долгое время не говорил, чтобы без дела не огорчаться. Он избегал даже простого обмена репликами и, положим, в поселковом магазине предпочитал здороваться известным движением головы, а продавщице указывал на нужный антитовар перстом; он самым искренним образом опасался во время даже простого обмена репликами услышать какое-нибудь отвратительное словцо, которое может бросить тень на кьеркегоровскую теорию абсолютного «я», или на знаменитые кантовские доказательства, или на учение Лейбница о монадах.

Тем более странно, что именно в это время Василий Иванович нечаянно познакомился в очереди за кефиром с учителем математики Адиноковым. Поскольку Василий Иванович что-то побаивался чужих стен, учитель Адиноков сам заглаживал к нему изредка, обычно по вечерам. Они по-старинному садились за самовар и пускались в трогательно-отвлеченные разговоры.

— Вот у нас Конфуция ругают за якобы реакционность, — например, говорит Василий Иванович, — за якобы апологию социальному неравенству и охранительному началу. А между тем, что же плохого в том, чтобы водопроводчики занимались водопроводом, а государственные мужи — благодеянием государства? С другой стороны, что же хорошего в том, что у нас водопроводчики занимаются чем угодно, только не водопроводом, а государственные мужи норовят управлять искусствами и наукой?!

Адиноков в ответ:

— Разумеется, в этом смысле эволюция предпочтительней революции, но, как говорится, чего хочет женщина, того хочет бог.

— То есть? — недоумевает Василий Иванович.

— Я говорю, что если ход развития Российской империи привел ее к Великой Октябрьской социалистической революции, то она ни в коем случае не могла не произойти. И, значит, это законообразно предопределено, чтобы наши водопроводчики манкировали водопроводом, а государственные мужи муштровали художников и ученых. Видимо, со временем из этого хаоса должен будет выстроиться какой-то космос, явиться какой-то положительный результат, который был бы не-

достигим при любой иной расстановке сил. По принципу: минус на минус — плюс.

Василий Иванович:

— С этим я кое-как могу согласиться, тем более что у Лосского сказано: суть истории — в грехе, смысл истории — в искуплении греха. Мне вот только непонятен сверхъестественно жесткий объем греха, который у нас нуждается в искуплении...

И вдруг разговор приобретает практический оборот:

— Что да, то да,— соглашается Адинок.— Страна доведена без малого до разрухи, в верхах «честь» — иностранное слово, в низах совесть — исключительный раритет. А повальное воровство? А разгул преступности? А недоброжелательность всех ко всем?!

— Хоть это и правда,— говорит Василий Иванович,— я тем не менее не нахожу особых оснований для пессимизма. Дело, видите ли, в том, что народная нравственность, если мы берем ее в качестве самодовлеющей категории, неистребима, как... ну, я не знаю — как какой-нибудь химический элемент. По моему глубочайшему убеждению, энергия ее такова, что она способна пережить любые сатанинские времена, что ей нипочем любые государственные катаклизмы, как... ну, я не знаю — как шампиньонам асфальтовое покрытие...

— Давайте лучше чай пить.

— К чему это вы?

— Да к тому, что ваше убеждение — дело веры.

— Вам нужны доказательства? — вскипает Василий Иванович.— Вот вам, пожалуйста, доказательства!.. В тысяча шестьсот третьем году, в пору полной хозяйственной разрухи и повсеместного бандитизма, матери своих детей ели, мужья за ломоть хлеба жен отдавали на растерзание стрельцам — и ничего: был потом Пушкин, жены декабристов и тысячи бледных юношей, ищущих пострадать.

— Это, не спорю, было,— с готовностью соглашается Адинок.

— И было, голубчик, именно потому, что народная нравственность вечна и бесконечна! Иначе чем мы объясним Пушкина, жен декабристов и тысячу юношей, ищущих пострадать... Следовательно, и теперь нет особых оснований для пессимизма. Даже если мы с вами останемся вдвоем среди двухсот миллионов негодяев и прощелыг, то за будущее нации можно не беспокоиться.

К счастью, будущее за нами. Будущее, к счастью, всегда за нами.

Адинок делает примечание:

— Только ведь в этом случае выходит, что мы с вами народ, по логике-то вещей, а прочие двести миллионов — просто негодяи и прощелыги... Вас это не смущает?

— Меня это ни капельки не смущает. В нравственном смысле не все то народ, что нарождается в пределах какого-то государства: есть народ, а есть, извините, сброд. То, что есть носитель родовых этических принципов,— то народ, а все остальное — сброд. В нашем конкретном случае: если ты живешь духом, книгой, сомнениями, состраданием к богооставленному отечеству, искренней любовью к самому явлению — человек, хотя бы ты и водочку пил,— то ты-то и есть народ.

— Критерии, должен заметить, сомнительные,— отзывается Адинок, и разговор постепенно возвращается к трогательно-отвлеченному направлению...

Таким образом дни шли за днями и вот настало 21 февраля. В тот день Василий Иванович отправился со двора, чтобы приобрести бутылочку керосина, так как у него ни с того ни с сего завелись клопы. Суток так за двое перед этим вдруг грянула оттепель, и, когда Василий Иванович шел мимо дома купца Рукосуева, давным-давно приспособленного под рабочее общежитие, ему на голову свалилась сосулька значительных габаритов. Но это было еще начало.

## 2

Давеча вечером Федор Наумов явился домой в безобразном виде; с порога он обложил мамашу неподобающими словами, а по пути к своей койке убил ударом сапога двухнедельного котенка, сорвал со стола скатерть, разбил кулаком окно, хотя оно было вовсе не по пути, потом — откуда только силы взялись — изодрал в клочья вьетнамское покрывало и рухнул на постель прямо в ушанке, ватнике, клетчатых брюках и сапогах.

Наутро Федор проснулся с таким ощущением во всем теле, точно накануне его долго и сильно били. Он протер глаза окровавленными кулаками, крихтя, сел в постели и тупо-изумленно уставился на мамашу, как если бы увидел ее впервой.

— Алконавт чертов! — сказала мать. — Кончится твоя пьянка когда-нибудь или нет?!

Федор кашлянул и сказал:

— Цыц...

Затем он, кряхтя же, поднялся с койки, подошел к столу, выдул полный чайник воды, покашлял и отправился на работу.

Конечно, на химический комбинат, где Федор работал водителем автопогрузчика, пути в тот день не было, потому что в глазах у него стояла слегка огненная пелена, а в голове — мерный шум, словно там разместились какое-то мелкое производство. Федор кое-как добрал до столовой, где по утрам собирались пострадавшие в результате канунных пьянок, но тут за ранним временем не было ни души; Федор прошелся по карманам, нашарил два рубля с мелочью и, прислонившись к колонне с ионической капителью, стал дожидаться товарищей по беде. В девятом часу, когда только-только начало развидняться, к столовой притащились два парня из ПМК, ремонтник и крановщик. Первым делом сообща посчитали деньги, жалобно выговаривая друг другу за мелкий пай, и после того как со скрипом набрали искомые семь рублей, Федор поспешил к старухе Быковской, которая гнала забористый самогон.

Пили его в столовой, еще пустой, если не считать огромной бабенции, дремавшей за кассовым аппаратом, и холостяка Мамолкина, который так энергично поедал макароны с жареным свиным салом, точно он боялся, что вот их сейчас отнимут. Крановщик внимательно посмотрел на него и сказал:

— Жрешь ты, Петрович, ну ровно боров. А еще общественник, активист...

Мамолкин на это юмористическое замечание отмолчался, однако покончив с макаронами и утерши рот носовым платком, он как бы между делом, но строго поинтересовался:

— А чегой-то вы, ребята, не на работе?

Мамолкин заведовал в поселке народным контролем, и этот воинственный вопрос задел всех троих, что называется, за живое.

— А ты-то сам не на работе чего? — ядовито спросил Мамолкина крановщик.

— Мне во вторую смену.

Ремонтник предположил:

— А может, и нам во вторую смену?

— Чего тут гадать,— строго сказал Мамолкин.— Проверим, и все дела. Плюс факт распития спиртных напитков в общественном месте — это я тоже беру, ребята, на карандаш.

И с этими словами он ушел из столовой, оставив по себе какую-то материализованную угрозу.

— Вот гад! — сказал ему вслед ремонтник.— Как будто не видит, что люди лечатся! Подговорить, что ли, мелиораторов, чтобы они ему холку намылили за активность?..

— А они могут? — с наивностью в голосе спросил Федор.

Крановщик ответил:

— Они все могут. За литр самогона мелиоратор родную сестру на поток поставит. Нет, в натуре, пускай они его пошерстят!

— Только где этот литр взять? — с философским выражением на лице произнес ремонтник и вперился в потолок.

— Или не в России живем? — спросил приятелей крановщик.— На что на что, а на ханку деньги всегда найдутся!

Ремонтник сказал в раздумье:

— Например, можно снять «дворники» с новой «татры», или загнать канистру автола, или, на крайний случай, продать диспетчерше румынские сапоги. Моя *контора* вчера на последние купила себе румынские сапоги! Ну, кто она после этого?!

Крановщик сказал:

— Я предлагаю все три подпункта осуществить.

Дело, однако, выгорело лишь с «дворниками» и канистрой автола, так как ремонтникова жена, точно по предчувствию, намертво запрятала румынские сапоги. На вырученные деньги купили у Быковской литр самогона, но по слабости не донесли его до мелиораторов, а выпили самогон в той же столовой, только за дальним, угловым столиком, и сторожко, дабы опять не нарваться на какого-нибудь поселкового активиста.

— Я интересуюсь,— говорил уже крепко нетрезвый Федор,— мы с вами все-таки лечимся или пьем?

Крановщик спросил:

— Это для тебя принц... принципиально?

— Принципиально! — горячо сказал Федор.— Я вообще не понимаю, чего мы пьем!

— Я, например, пью, потому что я в душу раненый,— пояснил ремонтник.

— А я лично пью,— сказал крановщик,— потому что я пью, безо всякой, как говорится, идеологической подоплеки.

Федор ни с того ни с сего сказал:

— Надо Горбачеву написать, чтобы он газеты позакрывал. Ну нет моих сил читать, как клонится к нулю советское государство! Я вот только одни «Известия» выписываю, и то весь извелся, а как быть тем лицам, которые выписывают все, вплоть до «Социалистической индустрии»?

— Наплюй! — посоветовал крановщик.— Лучше у нас никогда не было, а хуже уже не будет.

Далее беседа развивалась неровно, нервно и, как этого следовало ожидать, уперлась в необходимость продолжить пьянку. Отправились к мелиораторам в надежде у них что-нибудь увести, однако, кроме брошенного канавокопателя, ничего стоящего обнаружить не удалось; наверное, можно было бы пропить и канавокопатель, да уже не осталось сил на организацию сложной сделки. Заодно договорились с мелиораторами, чтобы они наказали Мамолкина за активность, посулив в тот же вечер доставить им в общежитие самогон.

Делать было нечего — в третий раз отправились к старухе Быковской в надежде, что старуха поверит в долг. Но в долг она не поверила и даже не пустила просителей на порог.

— Ну, карга, сейчас ты у нас слезами умоешься! — предупредил ее крановщик.

Эту угрозу крановщик осуществил следующим образом: с ловкостью кристально трезвого человека он забрался к Быковской на крышу и, стянув с себя ватник, заткнул трубу; дым какое-то время пробивался множественными токами, а потом вдруг сник.

Минут пятнадцать, наверное, приятели дожидались, когда старуха с воплями выскочит во двор, чтобы от сердца похохотать, но так и не дождалась — видно, она уже ко всему притерпелась при своем вредительском ремесле.

Кончили в тот день клеем БФ; ремонтник украл в магазине бутылку клея, и на базе ПМК ребята извлекли из нее все лишнее посредством электродрели. По-братски поделив извлеченный спирт, компания разошлась: ремонтник с крановщиком потащились назад к столо-

вой, а Федор пошел домой. Едва войдя к себе в горницу, он обложил мамашу неподобающими словами, по пути к койке сбил ногою ведро воды, сорвал со стены портрет брата, работавшего на шахтах в городе Воркуте, и рухнул на постель прямо в ушанке, ватнике, клетчатых брюках и сапогах.

Что-то ему было нехорошо. Не сон наваливался, а какая-то тягостная, жаркая дурь, которая наполняла его тело неведомым прежде чувством. Федор напугался, отверз широко глаза, нервно вздохнул и умер.

### 3

Быковская в тот день по старчеству встала рано — в шестом часу. Первым делом она отворила ставни, а затем вскипятила чайник, заварила свежего зверобоя и пила его из граненого стакана до начала седьмого часа. Потом она прибиралась в доме, хотя прибирать особенно было нечего, потом слезила в подпол проверить готовность браги, заключенной в большой алюминиевой бочке из-под чешского пива, потом скуки ради села было ревизовать свои накопления, которые она держала буквально в старинном фельдекосовом чулке, но что-то на шестой тысяче в дверь забарабанили первые покупатели. Быковская вынесла мужикам бутылку самогона, заткнутую бумажкой, и вернулась к ревизии накоплений; однако с прежним, подробным удовольствием уже не считалось, — видимо, покупатели сбили старуху с чувства. Тогда она спрятала чулок с деньгами под крайнюю половицу и уселась на кровать в раздумье, чем бы таким заняться. Ну нечем было заняться: в печи стояла полная кастрюля вчерашних щей, самогону было заготовлено на несколько дней торговли, брага подходила сама собой. В конце концов Быковская надела плюшевую кацавейку, повязалась оренбургским платком, сунула ноги в валенки и отправилась в магазин.

В том самом продовольственном магазине, где некогда продавался «Молотов» Помяловского, старуха внимательно осмотрела полупустые полки и, фальшиво пригорюнившись, сделала продавщице следующее заявление:

— Что я скажу: совсем довела нас до ручки диктатура пролетариата.

Продавщица в ответ:

— Ты, старая, кончай разводить тут враждебную агитацию! Ну чего тебе не хватает? Все, что нужно для поддержания жизни,— все есть. Хлеб есть, соль есть, рожки есть, даже свиная тушенка есть...

— Мыла нету,— перебила ее Быковская.

— Мыла вот, правда, нет...

Больше разговаривать было не о чем, и Быковская отправилась восвояси. Придя домой, она уселась подле окошка, подперла голову кулачком и так просидела чуть ли не до обеда; раза два ее отвлекали покупатели самогона, но всякий раз она возвращалась к окошку, подпирала голову кулачком и словно дремала с открытыми глазами, как нервно притомившийся человек. Около трех часов пополудни она затопила печь, разогрела щи, накрыла на стол, включила телевизор и стала чего-то ждать. Из сеней донесся стук в дверь — это явилась соседка Елизавета, тоже старушка, но только умиленно-жалкая, как ребенок.

— А вот и я! — войдя в горницу, сказала Елизавета и застенчиво улыбнулась.

— Уж это как водится,— ответила ей Быковская с деланной неприязнью.— Садись, паразитка, ешь!

— Больно нужно,— с деланной же обидой сказала Елизавета, однако села за стол, взяла ложку и оживленно принялась хлебать щи.

За обедом старушки не разговаривали.

После того как со щами было покончено, кастрюля поставлена в печь, а посуда убрана и помыта, Быковская уселась напротив Елизаветы и завела традиционный, в общем-то, разговор:

— Что я скажу: здорова ты, подруга, питаться за чужой счет.

— Совсем ты, соседка, бога забыла, как я погляжу,— сказала Елизавета.

— То-то ты у меня лопаешь каждый день!

— Положим, тарелку щей мне и душман нальет. А ты вот, соседка, совсем потеряла совесть: ну зачем тебе такая прорва деньжищ? В гроб их тебе все равно не положат, даже и не проси!

— Какие деньги?! — с невинным видом спросила Быковская и картинно развела руки по сторонам.— Нету у меня никаких денег; как говорится, дырка в кармане да таракан на аркане — вот и все мои капиталы...



— Ври, да знай меру! Весь поселок в курсе, что у тебя миллион в подушке зашит. Я еще удивляюсь, как тебя не ограбят наши поселковые огольцы! Ленятся, наверное; им бы только глаза залить.

— Типун тебе на язык!

— Нет, действительно, как-нибудь накажет за алчность тебя господь! Недаром ведь сказано: не собирай богатства на земле, где ржа истребляет, а воры подкарауливают и крадут.

— Это было сказано, когда еще советской милиции не существовало.

— Э-э, соседка! — весело кривя лицо, сказала Елизавета. — Если кто всерьез тебя надумает обокрасть, никакая советская милиция не поможет!

— Нет, это тебя бог накажет за твои антиобщественные слова!

— Что-то ты больно политически грамотная стала, как я погляжу. С каких, интересно, пор?

— С октября семнадцатого года!

— А что же ты тогда ежедневно ходишь в магазин критику наводить?

— Может, у меня душа болит за отдельные недостатки...

— На наши отдельные недостатки никакой души не напасешься. Куда ни глянь — всюду сплошной разор!

— И не говори: совсем до ручки довела страну диктатура пролетариата. В магазине мыла нету, а они вот чего по телевизору передают... — И Быковская показала пальцем на телевизор.

— А действительно, чего это они там передают?

— Город какой-то, наверное, заграница...

— Да нет, это они показывают... как его — Ленинград!

— Ты им поменьше верь! Они нарисуют картинку, а потом дурят простой народ: смотрите, граждане, — Ленинград!..

— До чего же ты неверующая Фома! При таких накоплениях давно бы сама съездила по турпутевке и убедилась, что у нас действительно есть такой город — называется Ленинград!

— Какие накопления, бог с тобой! Нету у меня никаких накоплений!

— Ври, да знай меру! Весь поселок в курсе, что у тебя миллион в подушке зашит...

Разговор заходил по второму кругу и через несколь-

ко минут выливался в заурядный скандал с обоюдными оскорблениями и пожеланиями всяческого несчастья.

После того, как Елизавета ушла, Быковская затопила печь, ибо в доме что-то похолодало, и снова устроилась у окна, подперев голову кулачком. Примерно через полчаса она прогнала мужиков, явившихся просить самогона в долг, а примерно еще минут через десять она нечувствительным образом прикорнула, сидючи у окна. Да так никогда больше и не проснулась.

4

Алексей Петрович Мамолкин, хотя и был вполне российского характера человек, тем не менее отличался некой злостной аккуратностью, мелочным прилежанием, вообще педантичностью, которая очень редко бывает свойственна российскому человеку. Он записывал долги, всегда имел в карманах запасы мелочи, чтобы расплачиваться, как говорится, тютелька в тютельку, конспектировал речи, которые произносятся на собраниях, и при всякой возможности делал критические записи в книгах жалоб и предложений. С одной стороны, за это его многие недолюбливали, но, с другой стороны, именно за это определили в народные контролеры. И еще одно касательно мамолкинского характера — он был отъявленный доктринер: и колхозы-то как идея для него предпочтительнее продовольственного изобилия, и политическая бдительность неизмеримо существеннее прав человека и гражданина, и мировая революция дороже цивилизаций. Мамолкин до конца своих дней верил в рабочую аристократию, сожалел, что больше не сажают за опоздание на работу и позволяют худо-бедно отправлять православный культ. К последнему пункту он почему-то особенно трепетно относился и, будучи, во всяком случае, не мерзавцем, однажды написал донос по линии народного контроля на одного слесаря; как-то они со слесарем заговорили о том, что-де без веры человек не полный, что-де у каждой развитой личности должен быть за душою бог; при этом слесарь выдвинул обвинение:

— А, между прочим, ты, Мамолкин, в этом отношении полный ноль.

— Ну почему же,— сказал Мамолкин,— и у меня существует бог.

— Кто же он? — поинтересовался слесарь.

— Мой бог — Сталин, Иосиф Виссарионович.

А твой?

Тут-то слесарь и скажи:

— А мой — Иисус Иосифович Христос.

После этого Мамолкин и написал на слесаря жалобу по линии народного контроля, но на поверку тот оказался забубенным атеистом.

Утром 21 февраля Мамолкин позавтракал в поселковой столовой, битых два часа просидел на совещании в поссовете, потом скуки ради сходил в кино и явился на родную автобазу задолго до начала вечерней смены. Какое-то время он просто таскался из угла в угол, потом немного потерся в диспетчерской, а потом с пристрастием принимал у сменщика самосвал, как принимают дела в солидных организациях.

Смена, как говорится, прошла нормально: Мамолкин сделал положенных десять ходок, перекусил на станции Первомайская и в положенное время вернулся на автобазу. По возвращении он немного потерся в диспетчерской, а затем направился в красный уголок сыграть партию в домино. В красном уголке было жарко, как в парилке, и, как в парилке же, туманно от курения табака. За игрой шел отчаянный разговор с восклицаниями, личностями, стучанием по столу и прочими признаками национального разговора:

— А я тебе говорю, что Пушкина уходил непосредственно император Николай Первый!

— Опомнись, Сатиков, что ты мелешь! Это Сталин писателей устранил, а Николай Первый был человек культурный...

— Сталин устранил только врагов народа, — не стерпел Мамолкин, — а если кто из них был писателем, то это политического значения не имеет.

— А ты бы вообще помолчал, Петрович! У нас уже в печенках сидит твой неистовый сталинизм!

— Так вот Николай Первый был как раз человек культурный. У него Жуковский сына воспитывал, он всего Бортнянского знал на память!..

— Это какой Жуковский? Который отец русской авиации?

— Нет, это который «Певец во стане русских воинов». Правда, по части баб Николай Первый был пламенный патриот. Но за все его царствование казнили, по-моему, только человек десять.

— А я, ребята, где-то читал, что Пушкин погиб через свою собственную жену.

— Я эту точку зрения полностью разделяю. От баб всего приходится ожидать. Вот возьмите мою *контору*...

— Да погоди ты со своей *конторой*! Послушай, Сатиков, а кто тогда, по-твоему, Лермонтова уходил? Тоже Николай Первый?

— Лермонтова уходили жидо-масоны,— сказал Мамолкин.

— Ну, долдон!

— Не понял?..

— Я говорю, темный ты человек, без малого мракобес...

Мамолкин швырнул на стол кости, выругался и ушел.

Выйдя из ворот автобазы, он остановился возле ночного сторожа, который механически тряс коляску,— в ней криком кричал младенец.

— Чей ребенок-то? — поинтересовался Мамолкин.

— А кто его знает,— ответил сторож.— Небось какая-нибудь дуреха бросила ребенка на произвол судьбы, а сама стоит в очереди за минтаем.

— Во заливается!..

— Это он еще не знает, где ему довелось родиться!..

Мамолкин немного постоял возле сторожа и отправился восвояси. Дорогой он предвкушал, как наденет толстенные носки из собачей шерсти, которые он носил вместо домашних тапочек, включит телевизор и завалится на диван. Однако от этих приятных мыслей его вскоре отвлекло следующее обстоятельство: в том месте, где ему нужно было сворачивать в переулок, ведущий к родному дому, дорогу загородили двое мелиораторов. Один из них схватил Мамолкина за рукав.

— Рубль есть? — спросил он при этом, нахально прищуривая глаза.

Мамолкин ответил бодро:

— Есть, да не про твою честь.

Другой мелиоратор сказал:

— Ты погляди, Коля, он еще и грубит. А ну врежь ему между глаз!

Коля, конечно, врезал. Мамолкин сначала пал на колени — такой резкой силы оказался удар — а затем уже повалился навзничь под жестокими пинками в голову и в живот. Один из этих пинков пришелся в ос-

нование черепа, еще один — решающий, так сказать, — в область сердца, и, провалявшись всю ночь в сточной канаве, к утру Мамолкин бесчувственно отошел.

5

Пока Василий Иванович Пятаков отлеживался в поселковой больничке с проломленной головой, в поселке Химволокно происходили значительные события. Ну, во-первых, утром 24 февраля поселковые хоронили сразу троих покойников: пьяницу Федора Наумова, старуху Быковскую и Мамолкина Петра Алексеевича, народного контролера. Хотя оркестр траурной музыки играл исключительно по Мамолкину, на всех поселковых вдруг свалилось такое чувство, что грозно-печальные марши адресованы и живым, даже прежде всего живым. Это немудрено: за малочисленностью населения хоронили в поселке редко и обычно без музыки, поскольку начальство все как-то не помирало, а главное, еще не было случая, чтобы тут одновременно провожали троих покойников. Вот представьте себе картину: из разных концов поселка движутся в сторону кладбища три темные, страшные, нарочито медленные процессии, покойники мягко плывут в своих домовинах и на окостеневших лицах у них какое-то разочарованное выражение, вокруг мужчины без шапок, женщины не покрашены — а то «потекут», — и поэтому они похожи на женщин иного века, во всех окнах торчат порядком напуганные физиономии, воронье, уж на что дурная порода, и то притихло, а откуда-то сверху слетает грозно-печальный марш, точно его играют, сидя на облаках; в общем, такое впечатление, что вдруг поломалась жизнь. То есть немудрено, что смерть в такой концентрации повергла народ в некую умную грусть, и вот даже мужики на поминках, разумеется, напились, однако не в усмерть, не до потери образа и подобия.

А к исходу 2 марта, на которое как раз выпали девятины по всем трем покойникам, в поселке, то тут, то там, начали происходить разные загадочные события. Вдруг на какое-то время прекратилась подача тока — впоследствии оказалось, что кто-то перегрыз магистральные провода. Со здания поселкового Совета сорвали флаг и вместо него прицепили белую капитулянтскую простыню. Сама собой завалилась одна из трех

телефонных будок. Сразу в нескольких домах ни с того ни с сего загорелась мебель. Во дворах выли чем-то напуганные собаки. Газетный киоск, стоявший неподалеку от итальянской столовой, самостоятельно переместился на середину проезжей части. Несколько десятков детей дошкольного возраста вдруг потеряли слух. Посреди бела дня у старшего лейтенанта милиции Соколова внезапно воспарила над головой форменная фуражка и несколько минут вращалась вокруг него на манер причудливого летающего объекта с эпогеем примерно в четыре метра и с перигеем метра так в полтора; Соколов, конечно, обиделся и уже решил было зафиксировать этот случай в качестве оскорбления офицера милиции во время исполнения им служебных обязанностей, но потом подумал и — передумал. Наконец дома у председателя поссовета сложилась совершенно ненормальная обстановка: три раза подряд кастрюля с борщом каким-то образом перекечевывала из холодильника в унитаз.

Слухи об этих удивительных происшествиях мгновенно облетели поселок, и на какое-то время народ обуяли мистические настроения. Все кому не лень судили-рядили, к чему бы эти происшествия отнести, и с некоторым даже благоговением рассуждали о том, как много все же в мире вещей таинственных, непостижимых для простого человеческого ума. Правду сказать, и прежде в поселке случались безобразия того же, метафизического характера, скажем в 1980 году на автобусной станции произошло самовозгорание туалета, однако прежде такие случаи были редки и поэтому не производили особенного эффекта.

В этот-то день, то есть 2 марта, Василия Ивановича Пятакова выписали из поселковой больнички на волю с забинтованной головой. От больнички до дома было рукой подать, и очень скоро Василий Иванович уже делал ревизию своим книгам. Не успел он довести это дело до половины, как его навестил учитель математики Адиноков. В тот момент, когда Василий Иванович увидел своего приятеля, с ним приключилась одна странная вещь — именно у него открылось как бы сквозное зрение и он увидел Адинокова в буквальном смысле насквозь, словно на экране рентгеновского аппарата, и тоже в черно-белом изображении. Василий Иванович так этому напугался, что на короткое время весь как-то осоловел.

— Что это с вами? — участливо спросил его Адинок.

— Нет, вы лучше скажите, с вами-то что? — воскликнул Василий Иванович и поневоле отвел глаза.

— Да вроде бы ничего...

— А чувствуете вы себя как?

— Вот только слабость неприятная по утрам, а так вроде бы ничего.

— А вот тут,— Василий Иванович указал на себе место под ложечкой,— ничего вас не беспокоит?

— Не беспокоит,— ответил Адинок и испугался.— А в чем, собственно, дело?

— Дело в том, что я почему-то отчетливо вижу ваше физическое нутро: печень вижу, желудок вижу, вижу как пульсирует сердце и кровь разбегается по артериям... Так вот, в верхней части желудка у вас какое-то затемнение.

— Господи, твоя воля! — выдохнул Адинок.— Вы, Василий Иванович, часом не того? Часом рассудком через сосульку не пострадали?

— Со всей определенностью я не могу этого отрицать. Но то, что я вас вижу насквозь,— это святая правда. Обратились бы вы к врачу.

Адинок сказал на это:

— Всех грубых истин нам дороже нас возвышающий обман.

— То есть?

— То есть к врачам я не пойду ни за какие благополучия. Я предпочитаю оставаться в приятном неведении относительно причины своей кончины.

— Смерти боитесь? — заинтересованно спросил Василий Иванович.

— А кто ж ее не боится?..

— Я ее не боюсь.

— Ах, оставьте! — сказал Адинок с чувством.

— Нет, я ее действительно не боюсь. Видите ли, незадолго до несчастного случая... — в этом месте Василий Иванович внезапно остановился и отвел глаза в сторону.— Извините, я буду говорить, глядя на что-нибудь постороннее, а то меня отвлекает жизнедеятельность вашего организма. Так вот незадолго до несчастного случая я решил привести в порядок некоторые свои соображения насчет жизни и смерти, точнее, свести их на компромисс, а еще точнее — жизнь и смерть как-нибудь безоговорочно примирить...

— Ну и что же, интересно, у вас получилось?

— Получился миниатюрный трактат, который так и называется — «Жизнь и смерть». Кстати, я бы хотел дать его вам прочесть. Вы человек тоже одинокий, стало быть, досуг у вас есть; вот на досуге и почитайте.

— О чем разговор, это само собой. Только предварительно хотелось бы знать — в чем, собственно говоря, пафос вашего сочинения?

— Да в том-то и пафос, что человек освобождается от смертного страха через вожделение естественного конца.

— Идея, конечно, интересная,— сказал задумчиво Адинок, — но больно уж придуманная, оторванная от жизни.

— Ну почему? По-моему, вполне практическая идея. Возьмите хотя бы ту простейшую истину, что смерть в России — это, во-вторых, смерть, а во-первых, освобождение. Хотя дело тут не столько в смерти, сколько именно в жизни; я хочу сказать, что жизнь следовало бы таким образом перелопатить, чтобы с ней сама по себе примирилась смерть.

— А может быть, их и не надо, так сказать, гармонизировать меж собой, может быть, это даже вредно, как поворачивать реки вспять? Недаром же говорили древние: «Помни о смерти»; то есть не исключено, что смертный страх имеет какое-то спасительное значение.

Василий Иванович задумался на минуту — видимо, для него это была свежая мысль — а затем сказал:

— Сомнительно,— сказал он.— Я полагаю, что смертный страх со всех сторон неудобен и даже он унизителен для нормального человека; сдается мне, в принципе не заслужил его нормальный-то человек. Тем более что ненормальный человек о нем, как назло, понятия не имеет. Скажем, для сброда смертный страх — это совершенно терра инкогнита, потому что он о смерти и не думает никогда. Думают о ней только примитивно верующие и сомневающиеся атеисты. Для первых смертный страх точно имеет спасительное значение, так как он худо-бедно удерживает их от проступков и преступлений, только ведь это, согласитесь, неуважительно и жестоко. Что же касается сомневающихся атеистов, то вы просто представьте себе человека, с мыслящих лет приговоренного к смертной казни через острую сердечную недостаточность, да еще не пойми за что, и вам сразу станет ясно, что смертный страх может



иметь только отравляющее значение. И поэтому освободить человека от страха перед смертью — значит решить величайшую гуманистическую задачу!

— Вы вот только позабыли про истинно верующих людей, которые прежде всего веруют в безусловное загробное бытие и, стало быть, не боятся смерти — может быть, в этом и заключается выход из положения?

— Правильнее будет сказать — истинная вера могла бы стать выходом из нашего беспросветного положения, потому что:

Всех грубых истин нам дороже  
Нас возвышающий обман...

Но в том-то все и дело, что истинная вера дается ничтожному меньшинству, как сочинительский талант дается ничтожному меньшинству. Так что решение вопроса лежит в иной плоскости — в плоскости идейного примирения жизни и смерти, которое, между прочим, открывает грандиозные перспективы...

На этих словах Пятаков прервался и странно поглядел в сторону входной двери. Он глядел, глядел, а потом сказал:

— Чего это вы, поганцы, приперлись, я, кажется, вас не звал!

Адинок обернулся в сторону входной двери, надеясь увидеть названных гостей, с которыми разговаривал Пятаков, но не увидел ничего, кроме слегка приоткрытой двери. Тогда он подумал, что у приятеля припадок начинается, и, смалодушничав, улизнул.

## 6

При входе в горницу сгрудилась целая компания нечестивцев. Слева направо друг к другу жались: бес Холодков, бывший уполномоченный МГБ, тощенькое, лохматенькое создание с рожками, какие наблюдаются у козлят и какие искони присвоило бесам народное воображение, домовая Быковская, остававшаяся, в сущности, той же самой Быковской, но только как бы сжавшейся до размеров обычной куклы, отчего она вышла плотной, как резиновый мяч, а ликом была темна и сморщена наподобие чернослива, младенец Федор Наумов, который с виду представлял собой заправского

новорожденного в чепчике и ползунках с зашитыми рукавами, вот только глаза его глядели не по-младенчески диковато, и наконец демон Мамолкин — нечто мрачное, бесформенно-крылатое, но с лицом.

Уже после того, как Адинок исчез, Василий Иванович с неудовольствием произнес:

— Ну что с вами делать, погань вы этакая, присаживайтесь, так и быть...

Компания, толкаясь, живо расселась вокруг стола.

— Ну что? — сказал Василий Иванович. — Достукались, доигрались?! Добрые люди, как помрут, небось спят себе вечным сном, а всякая сволота, вроде вас, претерпевает позорные превращения...

— Кто же знал, что так оно обернется, — пропитым голосом заявил младенец Наумов и по-младенчески сладко зевнул, продемонстрировав черную дыру рта, которая показалась окошком в бездну.

— А надо было бы знать! — наставительно сказал Пятаков. — Надо было хотя бы предчувствовать, что ваша непотребная жизнь обязательно какой-нибудь гадостью завершится... А вы что думали?! Вы думали, что ваши злодейства сойдут вам с рук? Как бы не так, агасферово племя, ничто не проходит даром! Вот теперь и существойте в таком непрезентабельном состоянии... Только чего вы ко мне явились-то — не пойму?

— По инерции, — объяснил демон Мамолкин. — Так, таскаемся невидимками по дворам, безобразничаем понемногу... Мы и у вас хотели набезобразить. Кто же мог подумать, что вы нас способны разоблачить...

— Да нет, граждане нечистая сила, — сказал Василий Иванович, — это вы себя сами разоблачили: кто прожил жизнь скотом, тот обречен на какое-то время прозябать в непрезентабельном состоянии.

— Я вот только никак не могу взять в толк, — сообщил бес Холодков, и вдруг его голос набух слезой: — ведь сколько лет прошло с моей смерти, а я все нахожусь в этом... в непрезентабельном состоянии? Что я такого сделал, за что мне такая доля?! Кажется, никого не грабил, не убивал, а исключительно как районный уполномоченный МГБ неуклонно выявлял и пресекал разных вредителей, злопыхателей и этих... космополитов. Да еще не по своей инициативе, а согласно указаний самого *бати*, которые нам спускались через обком. Так за что ж мне такая доля?!

— Он еще спрашивает! — возмутилась домовая Быковская.— А через кого в поселке все яблони кипятком пожгли, а кто ходил по дворам с револьвером подписывать на заем, а не ты ли, иуда, Марфушку Нефедову за частушку упек в тюрьму?!

— Во, гад, чего творил! — возмутился в свою очередь младенец Наумов.— Да его за это нужно было в аллигатора превратить! А я — ё-моё — всего и делов, что пил безмерно и, конечно, гонял по пьянке старушку-мать. В свете этого я интересуюсь: долго я в ребятах-то прохожу?

— Ты, надо полагать,— сказал Василий Иванович,— просто живешь по новой: детство, отрочество, юность... ну и так далее, до самой твоей свинской кончины от перепоя.

— Это что же, граждане, получается?! — взмолился младенец Наумов.— Опять в школу ходить, опять воевать с мамашей, опять срок отбывать в колонии?!

Василий Иванович подтвердил:

— И школа, и лагерь, и все такое прочее — все по новой.

— Нет, я не согласен на эту пытку! — отрезал младенец Наумов и вдругорядь сладко зевнул, продемонстрировав черную дыру рта, которая на этот раз показалась окошком в бесконечное мироздание, и даже как будто там светилась утренняя звезда.

— А тебя никто и не спрашивает.

Младенец Наумов поморгал-поморгал своими немладенческими глазами и вдруг совершенно по-младенчески заревел.

— Заткнись, тварь! — сказал ему бес Холодков, и нечестивец немедленно замолчал.

— А мне-то чего теперь делать? — спросила домовая Быковская и брезгливо осмотрела свою фигуру.

— А что домовые делают,— откликнулся Владимир Иванович.— Пакостничают себе помаленьку, по мелочам. Как раз для злостной самогонщицы это самый подходящий ангажемент.

— Посетил господь,— сказала домовая Быковская как бы самой себе.— На старости лет превратилась в такую гадость!

— Ну, а как насчет меня? — поинтересовался демон Мамолкин.

Василий Иванович сообщил:

— Тебе двести лет переставлять кастрюли из холодильника в унитаз.

— Ничего себе работенка! И это мне за то, что я всю жизнь пахал на социалистическое отечество?

— Это тебе за то, что ты был деятельный дурак.

— Да ну тебя! — сказал младенец Наумов. — Все ты, начальник, врешь!

— Нет, кое в чем я могу, конечно, и ошибаться, но в общем и целом гнусная ваша участь. Раньше надо было думать! Жили бы как люди, и умерли бы как люди, то есть раз — и окончен бал; только бы и остались от вас благотворные, пленительные поля. А так вам еще век вековать под видом нечистой силы, до тех пор, пока сама собой не израсходуется ваша отрицательная энергия.

Бес Холодков сказал:

— Я только вот чего не могу понять: в силу некоторых особенностей нашей действительности и разнuzданного характера советского человека — по идее, проходу не должно быть от нечистой силы. Однако я ее особого засилья не примечаю. Считай, на весь поселок только четыре нас отщепенца.

— Наверное, дело в том, — начал объяснять Василий Иванович, — что по нравственным показателям народ, так сказать, нейтрален в подавляющем большинстве. Как говорится, он ни богу свечка ни черту кочерга. Поэтому если он и нагадит, то, главным образом, по слабости, по глупости или под воздействием темных сил. Поэтому ему дается как бы амнистия от природы: скажем, девять дней посмертной мýки в качестве какого-нибудь демоненка — это с намеком, дескать, надо было поостроже себя блюсти — ну, а затем полный распад в пространстве. Так что продолжительное время бесовствуют среди живых только фундаментальные негодяи. Вот я не дам руку на отсечение, что тлетворный дух Иоанна Грозного по сию пору не обретается среди нас.

— Злостный ты выдумщик, Пятаков, — сказала домовая Быковская. — Я тебе сейчас за твою вредную лекцию что-нибудь подожду.

Только она высказала эту угрозу, как вдруг сама собой вспыхнула табуретка. Василий Иванович бросился за водой и внезапно почувствовал в левом боку ужасное колотье...

Учитель Адинокков узнал о кончине своего приятеля только на другой день. День этот как раз был тот, что среди учителей называется — методический, домашний, попросту говоря. Адинокков встал, умылся, позавтракал и, как обычно по этим дням, собрался подзаняться своим хозяйством, именно приспела пора перекрыть нужник. Он достал из чуланчика молоток, гвозди, кусок рубероида... и вдруг его обуяло очень странное чувство, одновременно и радостное и тревожное — точно теплая волна воздуха его подхватила и понесла. Адинокков бросил все и уселся за письменный стол — как это ни чудно, его настойчиво потянуло подзаняться теоремой Ферма, о которой он думать забыл еще на третьем курсе педагогического института. Он уже взялся за карандаш, как в окошко к нему постучал сосед, явившийся одолжить точильное колесо, и заодно сообщил, что умер поселковый чудак Пятаков, тот самый, которому давеча свалилась на голову увесистая сосулька. Адинокков опять бросил все и пошел навестить покойного.

Василия Ивановича он застал уже лежащего на столе, только что обмытого старушками, жившими по соседству, и с головой накрытого застиранной простыней. Адинокков постоял в скорбной позе подле покойного минут пять, потом под косыми взглядами старушек минут пять копался в рукописном наследии Пятакова, состоявшем преимущественно из набросков темного содержания, наконец нашел трактат «Жизнь и смерть», тут же пролистал его с пятого на десятое, сунул за пазуху и ушел. Напоследок, правда, он еще раз посмотрел на покойника и подумал: вот умер человек, который совсем не боялся смерти...

Дома Адинокков заварил себе гжельскую посудину чая, лег на диван и принялся за трактат.

«Человек человеку — рознь, — такое было начало. — Один готов отнять у собрата последний кусок, а другой готов снять с себя последнюю рубашку, чтобы как-то помочь брату. Из этого вытекает, что понятие *человечество* — очень смелое обобщение. На самом деле среди так называемых хомо сапиенс, как классифицировал нас Линней, есть целый ряд подвидов, которые разнятся между собой, как макака и Циолковский. Так что со стороны Линнея было бы дальновидней при-

своить отдельные наименования каждому из подвидов. Это было бы жестоко, но справедливо.

Изначальная и принципиальнейшая социалистическая идея состояла в том, что от рождения все одинаково способны сделаться Циолковскими, если освободить человека от пут капиталистической эксплуатации, если обобществить земли, фабрики, магазины. Но вот уже семьдесят лет как в нашей земле нет частной собственности на земли, фабрики, магазины, а люди по-прежнему делятся как минимум на добродетельных и злодеев. На самом деле градаций больше, причем самый значительный процент дает нам подвид, который следовало бы квалифицировать как хомо пуэрус, то есть человек младенствующий. Несчастно-счастливый этот подвид разумного существа по-своему счастлив, как птички счастливы, и счастлив прежде всего тем, что ему неведом страх перед смертью, потому что, как и птички, он не заботится ни о чем, кроме вопросов дня.

Но существует и естественно развитый человек, истинный хомо сапиенс, счастливо-несчастный тип, который несчастлив прежде всего оттого, что он терзается смертным страхом с той самой минуты, как постигает неизбежность своей кончины. Ужас перед уходом из этой жизни настолько обременителен для него, что освобождение от смертного страха осветило бы жизнь многими дополнительными «свечами», а возможно, и обернулось бы каким-нибудь качественным превращением. Но как это сделать — вот в чем вопрос!

Есть путь практический, исходящий из того, что трепет перед личной кончиной многократно умножается внешностью смерти, именно обликом мертвецов, видом гроба, стенаниями родственников и близких, которые, как правило, ведут себя так, точно их покойник обещал жить вечно и обманул, точно их покойник первый в истории человечества, а все прежние поколения отцов, дедов, бабок и матерей сроду не помирали. Посему практический путь состоит в реформе российского похоронного ритуала: необходимо запретить открытые гроба, последнее целование покойных, принародное закапывание тела в землю или сжигание в крематории, а народу спустить ту очевидную истину, что все люди имеют обыкновение умирать и рыдать по умершему так же глупо, как по минувшей весне, комете Галлея, царевичу Дмитрию и так далее. Хорошо было бы вообще похороны отменить, а пусть приезжает специальная

служба, забирает покойника и уничтожает тело технически, как в больницах уничтожают ампутированные конечности.

Другой путь имеет касательство к санпросвету, поскольку другой физический пункт, внушающий смертный страх, есть ужас перед самым мгновением умирания и следовало бы просветить человечество на тот счет, что, собственно, люди не умирают — прежде чем умереть, они впадают в особого рода забытие и только потом уже начинает отмирать тело. Забытие же, предваряющее уход, нисколько не мучительно, а, напротив, желанно для умирающего, как сон для смертельно уставшего человека. Природа и тут деликатно распорядилась: обреченный испытывает неприязнь к физическому бытию. Кто когда-нибудь тяжело болел, тот знает, что посюсторонний мир больного раздражает и тяготит, а в потустороннем мире, которому он отчасти принадлежит, ему маячит освобождение.

Третье смертное обстоятельство, заслуживающее внимания, — эгоистического характера: человеку до боли досадно, что все останется, как было, а он убудет, что без него мир не осиротеет и круговращение жизни не пресечется. Но ведь это и хорошо, что не осиротеет и не пресечется, а впрочем, разрешение третьего обстоятельства — смотри ниже.

Принципиальный, столбовой путь избавления человека от страха перед кончиной лежит через распространение в народе следующей идеи: совершенно избавиться от смертного страха можно только соответствующим образом переиначив жизнь, стилистику личного бытия. Для того, чтобы покойно заснуть, люди прогуливаются перед сном, для того, чтобы примирить жизнь со смертью, надо так организовать жизнь, чтобы своевременная кончина стала бы если не вождеденной, то, во всяком случае, приемлемой для разума и души. Но что это значит — переиначить стилистику бытия? Думается, это значит — построить его по древнегреческому образцу, так как древние греки — единственный народ в истории человечества, который спокойно принимал смерть, то есть всклянть наполнить бытие праздниками и трудами, даже перенасытить его праздниками и трудами, чтобы в конце концов насмерть устать от жизни. А у нас ни праздников, ни трудов. Потому-то мир и представляется нам таким прекрасным и из него так не хочется уходить, что нам в ничтожной степени дано

насладиться его прелестями, потому-то, с другой стороны, он и отвратителен до того, что хочется навеки прикрыть глаза. Недаром мы с эгоизмом нестального животного извечно стоим на том, что мир существует постольку, поскольку в нем существуем мы. Между тем он пять миллиардов лет прекрасно обходился без нас и еще пять миллиардов лет преспокойным образом обойдется. Из этого следует, что жизнь и смерть способны примириться лишь в пункте конечной цели нашего бытия — растворения нашей жизни в бесконечной цепочке жизней.

На практике это растворение выливается в то, что человек не уходит весь. Этот неполный уход понимали, или чувствовали, все гении и провидцы, от Проперция до Толстого, а Пушкин даже написал «Нет, весь я не умру» и был в этом предсказании совершенно прав. Суть хомо сапиенс, запечатленная в его духе, настолько энергетична, что, если было бы мыслимо преобразовать ее в электричество, она могла бы что-нибудь освещать, и, следовательно, ей не дано бесследно исчезнуть с лица земли. Недаром даже самые мудрые и хладнокровные люди в глубине души не в состоянии смириться со своей смертью и не верят в безусловное небытие, сколь бы оно не представлялось для разума очевидным. Чаянье это основывается на том, что хомо сапиенс, отходя, испускает из себя дух в окружающее пространство, что отлично чувствуют некоторые домашние животные, в особенности коты. Высвободившийся дух не существует сам по себе, а соединяется с единой духовной аурой, создаваемой на протяжении тысячелетий всеми истинными представителями рода человеческого, которая окутывает землю наподобие атмосферы. Таким образом человек не уходит весь, а продолжает вечное безличное бытие в качестве чистой силы.

Что же это за чистая сила, в отличие от нечистой силы, о которой все имеют более или менее четкое представление? Мыслящий человек, видимо, согласится с тем, что есть некоторые высшие свойства, каковые у людей не передаются ни по наследству, ни через дидактические приемы. Можно научить хомо сапиенс мыть руки, переходить улицу на зеленый свет светофора, писать, считать, нарезать на болтах резьбу, точно так же, как можно научить зайца спички зажигать, но нет таких генов и таких песталоцци, которые могли бы ему передать чувство родины, любвеобильность, неприятие зла.



Этим-то передатчиком и является чистая сила, которая как бы вручает каждому новому поколению homo sapiens все основные духовные навыки, метафизически, а может быть, и физически воздействуя на психический механизм. Иначе чем объяснить то, например, явление, что действительный человек ужасается любому кровопролитию, несмотря на огромный военный опыт, накопленный человечеством. Иногда чистая сила может действовать непосредственно, откровенно, и многие, наверное, припомнят приступы внезапного раскаянья, вроде бы не вызванного ничем, или припадки несказанного счастья, тоже вроде бы не вызванного ничем. А это чистая сила работает непосредственно, откровенно.

Итак, действительно человек разумный исполняет двойное предназначение, одно — прижизненное, состоящее в такой организации личного бытия, которое обеспечивает слияние духа с аурой, другое — посмертное, состоящее в нравственном воспитании всех будущих поколений. По этой причине народная нравственность вне опасности, так как она мало зависит от катаклизмов общественного порядка, равно как и от арифметического соотношения доброхотов и негодяев, а только зависит от неизменного и неистребимого влияния чистой силы. Аминь».

Учитель Адиноков закрыл тетрадку, сладко зевнул и подумал о Пятакове: «Чудак, ей-богу! Мало того что написал ахинею, так еще и христианской направленности, с душком. А впрочем, в нашем поселке свихнуться — это раз плюнуть».

И он потянулся к стопке контрольных по тригонометрии.

**Новая  
московская  
философия**

Роман

---

Часть первая  
ПЯТНИЦА

1

Это удивительно, но русская личность издавна находится под владычеством, даже игом родного слова. Датчане своего Кьеркегора сто лет не читали, французам Стендаль, пока не помер, был не указ, а у нас какой-нибудь саратовский учитель из поповичей напишет, что ради будущего нации хорошо было бы выучиться спать на гвоздях, и половина страны начинает спать на гвоздях. Такая покорность художественному слову вдвойне удивительна потому, что всем, кроме детей и сумасшедших, ясно как божий день: за этим самым словом стоит всего лишь бездыханное отражение действительности, модель. И это еще в лучшем случае; в худшем случае люди просто сидят и сочиняют всякие небылицы, самозабвенно играют в жизнь, заставляя никогда не существовавших мужчин и женщин совершать поступки, которые взаправду никогда и никем не были совершены, то есть фактически вводят в заблуждение миллионы честных читателей, пресерьезно выдавая свои выдумки за бывшее, да еще и покушаются на некоторые надчеловеческие прерогативы, потому что, бывает, пишут: «он подумал», «ему в голову пришла мысль»; но ведь это кем нужно быть, чтобы знать, о чем именно он подумал и какая именно ему в голову пришла мысль!

Действительно, в другой раз откроешь книжку и прочитаешь: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту...» Так вот читаешь это и подумаешь: а ведь никогда не было ни жаркого июля, ни вечера, в который молодой человек вышел из своей каморки, ни каморки, ни С-го переулка, ни самого молодого человека, а все это придумал писатель такой-то, чтобы освободиться от своих грез и заработать на булку с маслом;

ну хорошо, жаркий июль, предположим был, возможно, и С-кий переулочек был, и каморка, нанимаемая от жильцов, но никакого молодого человека не было и в помине. А если даже и был, то он никогда не выходил со двора под вечер в направлении означенного моста, а если и выходил, то не «как бы в нерешимости», а, напротив, немецким шагом, и не из каморки, и не под вечер, и не в начале июля, а из квартиры в Измайловском полку рано утром 30 сентября.

Самое интересное, что в настоящих масштабах прозрения этого рода у нас почему-то исключены и мы так же безусловно верим в литературу, как наши прадеды в Судный день. Возможно, этот культурный феномен объясняется тем, что у нас, так сказать, евангелическая литература, но, с другой стороны, возможна еще и такая вещь — как описано, так и было; на самом деле был и жаркий июль, и вечер, и молодой человек, который именно «как бы в нерешимости» тронулся со двора; было если не в шестидесятых годах прошлого столетия, то в сороковых позапрошлого, или при Борисе Годунове, или два года тому назад, ибо человек живет так долго, богато и многообразно, что нет такого отчаянно-литературного, даже бредового положения, в котором когда-либо не оказывался действительный человек. Как еще не было такой фантазии, которая не стала бы реальностью, как нет такой причины, которая не выработала бы свои следствия, как не может быть такого сочетания согласных и гласных, которое что-нибудь да не обозначало бы на одном из человеческих языков, так не явилось еще такой художественной выдумки, которая настолько не перекликалась бы с действительными ситуациями и делами, чтобы ее невозможно было принять за правду. В том-то все и дело, что было все: и Евгений Онегин с Татьяной Лариной, и Акакий Акакиевич с его злосчастной шинелью, и капитан Лебядкин с фантастическими стихами, и Однотум; разве что носили они иные имена, окружены были иными обстоятельствами, жили не совсем тогда и не совсем там, — но ведь это же сравнительно чепуха. Важно другое, именно то, что скорее всего литература есть, так сказать, корень из жизни, а то и сама жизнь, но только слегка сдвинутая по горизонтали, и, следовательно, нет решительно ничего удивительного в том, что у нас куда жизнь, туда и литература, а с другой стороны, куда литература, туда и жизнь, что у нас не только по-жизненному пишут, но

частью и по-письменному живут, что духовная власть литературы у нас настолько значительна, что в некоторых романтических случаях вполне здравомыслящему человеку может прийти на ум: Алеша Карамазов так бы не поступил. И тут положительно не из чего совеститься, что в некоторых романтических случаях мы киваем и оглядываемся на наших святых толстовского, Достоевского или Чеховского письма, ибо они суть не выдумка, а истинные святители русской жизни, в действительности примерно существовавшие, то есть страдавшие и мыслившие по образцу, достойному подражания, ибо в том-то все и дело, что было все. Уж на что, кажется, неповторимо дика следующая сцена: «Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове... Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь... Она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо сморщены и искажены судорогой... череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону...» — сцена эта не только во всех указанных подробностях неоднократно случалась в жизни, но даже совсем недавно повторилась в который раз. Правда, обстоятельства ее были не столь кровавы: жертвенная старушка в темно-пегом пальто нынешней материи и покроя, в смешной меховой шапочке с напуском для ушей, в резиново-войлочных ботах, известных под прозвищем «прощай, молодость», просто-напросто сидела на скамейке в самом начале Покровского бульвара, закрыв глаза и сложив руки на животе, — все-таки нравы последней четверти двадцатого века внесли в классическую сцену свои смягчающие поправки.

Казалось, старушка дремала на солнышке, впервые проглянувшем за ту весну; двое мальчишек с ранцами, возвращавшиеся из школы, подсели к ней и, болтая ногами, немного поговорили, двое сизарей было приземлились у ее бот, но вдруг поднялись, панически хлопая крыльями, один прохожий в каракулевом пирожке спросил у старушки, как ему пройти на Солянку, и, не дождавшись ответа, сказал:

— Глухая тетеря!

Уже стало смеркаться, а старушка все сидела на скамейке и не думала уходить.

Появлению ее на Покровском бульваре предшествовала в некотором роде история, развернувшаяся в

большом угловом доме по Петроверигскому переулку, в квартире № 12, где подобрался известный коммунальный народец, теперь уже мало-помалу уходящий в небытие. Подбирался он сложно и не враз, а по времени ровно столько, сколько существует сама двенадцатая квартира.

Сначала здесь поселился Сергей Владимирович Пумпянский, учитель латинского языка, преподававший в 6-й московской гимназии. У него была жена Зинаида Александровна, урожденная Саранцева, отдаленный потомок той самой Елены Ивановны Саранцевой, которая была капитаном единственного в своем роде кавалерийского подразделения, а именно роты амазонок, сформированной Потемкиным в Балаклаве по случаю приезда Екатерины II. У Сергея Владимировича было также четверо детей: Сергей, Владимир, Георгий и Александра. Сергей Сергеевич погиб еще в империалистическую войну во время летнего наступления семнадцатого года, Владимир Сергеевич в тридцать четвертом году угодил под пригородный поезд на станции Мамонтовка, что по Ярославской дороге, Георгий Сергеевич пропал без вести в ноябре сорок первого года, в пору сражения под Москвой, в котором он участвовал в качестве ополченца, а Александра Сергеевна дотянула до наших дней; в двенадцатой квартире она занимала самую дальнюю комнату, если считать от прихожей, расположенную рядом с кухней и черным ходом, в которой до девятнадцатого года жила кухарка Пумпянских Елизавета. Комнатка эта была маленькая и темная, так как одно ее окошко выходило на заднюю лестницу, а другое, наддверное, в кухню, и поэтому у Пумпянской практически всегда горел свет. Ближе к тем дням, о которых речь, Александра Сергеевна представляла собой махонькую интеллигентную старушку с худым лицом, очень опрятную, вообще источавшую впечатление приятно пахнущей белизны.

На второй год империалистической войны, когда только-только пошли бытовые трудности, учитель Пумпянский заболел водянкой и вынужден был напустить жильцов. В комнату, следовавшую наискосок за кухаркиным помещением, бывшую детскую, в пятнадцатом году въехал трамвайный кондуктор Фондервякин с женой Аграфеной и сыном Борисом, квелым, болезненным мальчуганом. Старшие Фондервякины долго не прожили, а сын их Борис через некоторое время после

кончины родителей привел в квартиру жену и в двадцать восьмом году произвел на свет сына Льва, который здравствует до сих пор. Лев Борисович Фондервякин — крупный мужчина с обширной, как был лакированной плешью, общительный, одинокий, так как отца с матерью он похоронил, а своей семьей почему-то не обзавелся, с легким дефектом речи — он немного пришепечивает, например, вместо «даже» говорит «дазе». У Льва Борисовича есть одна забавная страсть — он обожает консервировать продовольствие, то есть сушить, солить, коптить, вялить, мариновать, и из его комнаты несет погребом.

Вскоре после Фондервякиных в двенадцатую квартиру въехал артиллерийский прапорщик Остроумов, занявший соседнюю комнату по левую сторону коридора; он застрелился в Февральскую революцию. Вместо него в этой комнате поселилась семья Никанора Сидорова, приказчика из обувного магазина Альшванга на Кузнецком мосту, вдовца, у которого было двое великовозрастных сыновей. Потом Сидоровы начали умирать, жениться, плодиться, рассредоточиваться, и в конце концов в бывшей спальне Пумпянских осталась жить внучка обувного сидельца Вера Александровна Валенчик со своим мужем Генрихом Ивановичем Валенчиком; куда подевались остальные члены сидоровского клана — это покрыло время. На сегодняшний день Вера Александровна — сорокалетняя дама, впрочем, молодая, крашеная блондинка, что называется, в положении, а Генрих Иванович — невысокий такой крепыш с залысинами, тонко подстриженными усиками и бачками; на досуге он пишет стихи и прозу, умеет отлично готовить отдельные блюда, а в разговоре то и дело попихивает своего собеседника локтем, как это делают ёрники, когда глупо шутят или выдают тайны.

В самом начале двадцатых годов, в пору так называемого уплотнения московского барства и буржуазии, двенадцатую квартиру сплошь заселили рабочим людом, оставя Пумпянским только одну комнату, бывшую столовую, в которую они сволокли так много мебели, что в комнате было не протолкнуться. В бывшую гостиную, расположенную слева по коридору и примыкавшую к помещению Сидоровых, сначала въехал многосемейный кустарь Поповский, который занимался починкой керосинок и примусов, потом одинокий милиционер Коновалов, погибший при ликвидации банды Красавчика,

знаменитого московского уркагана, потом один тихий работник Наркомата путей сообщений с женой, страдавшей эпилепсией, потом политрук РККА Горизонтов с матерью и сестрой, потом какой-то непонятный мужик, которого никогда не было дома, и наконец сразу после денежной реформы шестьдесят первого года в этой комнате поселился молодой инженер Владимир Леонидович Голова. Какое-то время он жил бобылем, а затем женился, дал жизнь двоим детям, развелся и переехал; таким образом, в бывшей гостиной осталась жить его соломенная вдова Юлия — женщина маленькая, изящная, точно игрушечная, дочь Любовь тринадцати лет и сын Петр — серьезный, как бы мыслящий карапуз.

Теперь о помещениях, расположенных по правую сторону коридора... Как уже было сказано, в начале двадцатых годов Пумпянских поселили в бывшей столовой, соседствовавшей с каморкой кухарки Елизаветы, где они и существовали, пока представляли собой семью, но со временем Пумпянские начали исчезать, и когда Александра Сергеевна осталась одна как перст, ее переместили в каморку кухарки Елизаветы, а население каморки, именно семью ткача Трехгорной мануфактуры Семена Тимофеевича Началова, переместили в бывшую столовую, где этот ткач и пустил разветвленный корень. Впрочем, к нашему времени в комнате обитали только его сноха Анна Олеговна Капитонова и внук Митя Началов, велеречивый девятиклассник, юноша русоволосый и умноглазый, аккуратист, чистюля, почти педант. Митин дед умер в пятьдесят четвертом году, мать давно развелась с отцом, вышла замуж за финна и уехала за границу, а отец завербовался на строительство Колымской гидроэлектростанции.

Бывший кабинет учителя Пумпянского, следовавший за бывшей столовой, разделили перегородкой. В ближней половине все жили работники коммунального хозяйства, как то: сантехники, техники-смотрители, электромонтеры — народ необременительный, одинокий, а в семьдесят девятом году здесь окончательно поселился дворник Василий Чинариков, который сначала работал дворником, потом воевал в Афганистане, потом учился на философском факультете Московского университета, но доучился только до третьего курса, бросил университет и снова поступил на дворницкую работу. Вася Чинариков — крепкий и, в общем, ладно сложенный



парень, разве что он несколько колченог, волосы он стрижет коротко, одевается во что попало, лицо у него грубоватое, что называется, простонародное, но как бы освещенное изнутри некой игривой мыслью.

В дальней половине бывшего кабинета долго жил оперуполномоченный Кулаков, перед которым трепетала вся двенадцатая квартира, и это немудрено: как-то он целую неделю продержал в допре политрука Горизонтова за то, что политрук нечаянно устроил короткое замыкание. После Кулакова тут поселились сестры преклонного возраста, которые существовали так кротко и незаметно, что никто из жильцов не знал их по именам, а почти одновременно с Чинариковым сюда въехал Никита Иванович Белоцветов, мужчина лет сорока пяти, по профессии фармаколог; наружность его трудно поддается описанию, потому что это самая что ни на есть дюжинная наружность, скорее собирательная, нежели отличительная, а, впрочем, у него необыкновенно крупная, какая-то монументальная голова, и поэтому собственно лица у Никиты Ивановича примерно столько же, сколько бывает государственного профиля на монете.

Теперь следует представить места общего пользования и вообще топографию квартиры № 12, поскольку без нее в дальнейшем не обойтись. Входная дверь в квартиру двойная, внешние створки выкрашены в подло-коричневое и открываются наружу, а внутренние обиты зеленым дерматином и открываются внутрь; над дверью есть небольшое запылившееся окошко. Прихожая довольно обширная; как войдешь, налево будет старинное зеркало высотой чуть ли не до потолка, замутившееся от времени, направо телефонный аппарат, в двух местах залатанный изолентой, который стоит на бамбуковой этажерке: среднюю ее полку занимает консервная банка из-под испанской спаржи, предназначенная для окурков, а на нижней помещаются телефонная книга, несколько справочников и счета; стена в районе этажерки вся испещрена номерами телефонов, невразумительными записями, какими-то именами. В прихожую выходят двери двух комнат, Белоцветова и Чинарикова, далее следует коридор.

Коридор в двенадцатой квартире узок, высок и темен, как расщелина в леднике. Слева он начинается дверью, за которой живет Юлия Голова со своим потомством, далее стоит беспризорный шкаф, где хранится разная бросовая одежда, точильные бруски, инст-

румент, гвозди, несколько подшивок журнала «Красная нива», два старых электрических счетчика и прохудившийся медный чайник, далее на стене висит фондервякинское оцинкованное корыто, и сразу за ним располагается помещение, занимаемое Валенчиками, то самое помещение, в котором когда-то застрелился прапорщик Остроумов: далее находится фондервякинский холодильник, после следует фондервякинская дверь, а там коридор под прямым углом делает поворот вправо, предъявляя ванную комнату с туалетом, снабженные наддверными окошками, и через этот отрезок впадает в кухню. На правую сторону коридора приходится только комната Мити Началова и его бабушки да торцовая стена комнаты Александры Сергеевны Пумпянской, которая другим торцом упирается в черный ход.

Кухня двенадцатой квартиры празднично просторна, хотя по стенам ее располагаются семь кухонных столов, столько же полок и две газовые плиты; справа находится раковина, дверь в комнату Пумпянской и дверь на черную лестницу, давным-давно пропахшую чем-то таким, что, например, может произвести смесь запахов сырости, жареного лука и керосина.

## 2

Александру Сергеевну Пумпянскую жильцы двенадцатой квартиры не жаловали искони и всегда по мере возможного притесняли. Оснований для этого у них не было никаких, если, конечно, не брать в расчет, что она была придиристая старушка, как говорится, с гонором, да еще и аккуратная той немилрой нашему сердцу механической аккуратностью, которую мы на дух не переносим. Впрочем, и того нельзя выпускать из виду, что Александра Сергеевна могла возбуждать в соседях рудиментарную классовую неприязнь, поскольку как ни крути, а она была природной хозяйкой двенадцатой квартиры, всех двухсот сорока квадратных метров жилья, и если никогда не подчеркивала этого обстоятельства на словах, то все же ходила по коридору, включала и выключала свет, снимала показания электрического счетчика и подметала кухню именно таким образом, как это делала бы безоговорочная хозяйка. Александра Сергеевна даже некоторым образом раздувала попритихшую классовую неприязнь, так как Куй-

бышев она называла Самарой, по подозрениям, не признавала новую орфографию и однажды сказала про Николашку Кротового: государь. В двадцатые годы, когда за такие штуки людей оттирали на задворки жизни безжалостно, просто и мимоходом, Александра Сергеевна была тиши воды, ниже травы, то есть как бы и не была, в предвоенную пору она уже осторожно претендовала на равенство с жильцами пролетарского происхождения, а в новейшие времена последовательно вела себя так, словно она действительно безоговорочная хозяйка. Но в остальном Александра Сергеевна по всем показателям была, по крайней мере, приемлемая старушка, даже кое-чем выгодно отличавшаяся от соседей, особенно по утрам, когда население двенадцатой квартиры слонялось растрепанным, заспанным, в неглиже, а она появлялась в строгом домашнем платье из темного штапеля, хотя и бесформенном, но с кружевными манжетами на рукавах и ажурным вологодским воротничком, прилежно причесанная, слегка поддурмяненная, вообще чистая той старушечьей чистотой, которая вызывает сложное умиление. То же самое в разговоре: говорила она всегда на спокойной ноте, как скучные люди читают вслух; словарь у нее был классический, орнаментированный вымершими словами вроде «манкировать» или «нужды нет» в смысле: нужды нет, что Иван Иванович глуп, зато он работоспособен.

И вот что интересно: стоило Александре Сергеевне исчезнуть; как вся квартира сразу почувствовала — чего-то недостает; вот если бы из прихожей убрали зеркало, или заколотили бы дверь на черную лестницу, или из комнаты Фондервякина перестал бы сочиться кисло-овощной дух, точно так же квартира почувствовала бы: чего-то недостает. Еще не было известно, что Пумпянская исчезла на вековечные времена, а в местах общего пользования уже зародился явственный знак недостачи чего-то насущного, как электричество, чего-то отдававшего в легкое движение и умильную чистоту.

Исчезла Александра Сергеевна в один из срединных дней марта, когда Большая Медведица повисает точно над головой, в пятницу, поздним вечером, около того времени, в какое заканчиваются телевизионные передачи. Утром этого дня она появилась на кухне по обыкновению раньше всех, в одной руке неся чайник со свистком, а в другой неправдоподобно маленькую алюминиевую кастрюльку, в которой перекатывалось яйцо.

Как только она принялась готовить свой старушечий завтрак, на кухню пришел Лев Борисович Фондервякин, встал у окошка и засмотрелся на двор, ногтями нервно постукивая по стеклу, потом пришла Анна Олеговна, Митина бабушка, крепкая дама с фиолетовыми волосами, а следом за нею Петр Голова, который с сопением забрался на табуретку, стоявшую подле рукомыльника, и начал болтать ногами. Некоторое время прошло в молчании, а затем Фондервякина прорвало.

— Ну хорошо, у меня отгул, а чего это Дмитрия-то не видать? — спросил он Анну Олеговну скуки ради. — В школу поди пора.

— Я Мите сегодня позволила пропустить два первых урока, — сообщила Анна Олеговна и поправила свои фиолетовые колечки.

Фондервякин сказал:

— Балуете вы внука.

— Без баловства в моем положении невозможно, — ответила Анна Олеговна. — Без баловства наша советская бабушка — это уже не бабушка, а я прямо не знаю что. Тем более что Митя целыми вечерами что-то там мастерит. Вчера, например, он до полуночи над какими-то стеклышками колдовал.

— У одного моего товарища по работе, — сказал Фондервякин, — сынок тоже все время по вечерам колдовал, а потом оказалось, что он фальшивомонетчик.

— Типун вам на язык! — сказала Анна Олеговна.

— Ну, ладно, — вступила Александра Сергеевна, — у одного отгул, у другого прогул, а у этого-то что? — И она мокрым пальцем указала на Петю, который по-прежнему болтал ногами, сидя на табурете.

Противно засвистел чайник, и Александра Сергеевна, переменив сердитое выражение лица на озабоченное, выключила плиту.

— У этого пока счастливое детство, — объяснил Фондервякин. — Хотя, конечно, удивительно, что он не посещает какое-либо дошкольное учреждение. Ты, Петр, почему не посещаешь дошкольное учреждение?

В ответ на этот вопрос Петя посуровел, задумчиво помолчал, а потом начал рассказывать о том, как ему неинтересно ходить в детский сад, где все по распорядку, все по часам и нужно делать то, что хочется воспитательнице, а не то, что хочется самому.

— Пошли мы, например, на прогулку в лес, — рассказывал он с каким-то прискорбным видом, — а воспи-

тательница нам и говорит: «Ничего нельзя. Цветы рвать нельзя, ветки ломать нельзя, траву топтать тоже нельзя...»

— А что же тогда можно? — заинтересованно спросил его Фондервякин.

— Воспитательница сказала: «Только восхищаться».

Фондервякин символически сплюнул и произнес:

— Зарегламентировали жизнь, сукины дети! Ну что за народ: на каждый чих норовит резолюцию наложить! То не разрешается, се воспрещается, пятое не рекомендуется, о десятом думать не моги!..

— Тем не менее я считаю,— перебила его Анна Олеговна,— что прогуливать детский сад все-таки не годится.

— Тут спору нет,— согласился с ней Фондервякин.— Но вы помните, граждане, мужика из двадцать второй квартиры, который все в подъезде расклеивал возмутительные бумажки: «Не кричать», «Спички — не игрушка», «Рукопожатия отменяются»? Умер, подлец! Поехал в Улан-Удэ к свояченице — и умер! Сейчас, между прочим, в двадцать второй квартире из-за его комнаты разгорелась форменная война.

— Ничего удивительного,— сказала Анна Олеговна.— Во-первых, сейчас пошла такая жизнь, что за два квадратных метра зарезать могут, а во-вторых, без этих самых метров подчас как без воздуха — не житье.

— Это точно,— согласился с ней Фондервякин.— Мне, например, положительно некуда ставить шестнадцать банок моченых яблок, прямо хоть спи на них; Вера Валенчик на седьмом месяце ходит, это с другой стороны; Юлька Голова со своей ребятней ютится в крошечном помещении — это с третьей. Нет, все-таки повезло двадцать второй квартире: человек по-благородному жилплощадь освободил, за нее началась борьба, что во всяком случае интересно, а там, глядишь, кто-то получит лишние полезные метры, которые каждому лестно приобрести.— Тут Фондервякин сделал нарочитую паузу, потом юмористически посмотрел на Александру Сергеевну и продолжил: — А между тем некоторые граждане, которым давно пора на вечный покой, злостно занимают полезные метры и думают, так и надо!

Александра Сергеевна, впрочем, не отнесла на свой счет фондервякинские слова, так как в эту минуту она была озабочена тем, чтобы не переварилось ее яйцо.

— Нам с Митей,— сказала Анна Олеговна,— эти полезные метры тоже пришлись бы кстати. Ведь он у меня совсем уже взрослый парень, а все со старухой да со старухой.

— Помилуйте, Анна Олеговна, какая же вы старуха! — возразил Фондервякин.— Вы женщина в полном расцвете лет! Вот некоторые граждане — это да, некоторые граждане положительно зажились. Как вы себя чувствуете-то, Александра Сергеевна, невозможный вы человек?

Пумпянская приняла этот вопрос за чистую монету и ответила откровенно:

— Плохо, Лев Борисович, совсем плохо. Прямо я какая-то никчемная стала, о чем ни подумаю, все болит. Иной раз, вы не поверите, мерещится всякая чепуха.

— Лечиться надо,— недоброжелательно посоветовала ей Анна Олеговна и в другой раз поправила свои фиолетовые колечки.

На этих словах в кухню вошел Митя Началов, еще не проснувшийся хорошенько, с махровым полотенцем через плечо.

— Лечиться мне уже поздно,— отозвалась Александра Сергеевна и подхватила свою посуду.— Израсходовала я все жизненные ресурсы. Мне как станет нехорошо, я сразу на свежий воздух — вот и все лечение. А на таблетки у меня уже здоровья нет. Мне, в сущности, для кончины не хватает одной хорошей простуды.

В эту минуту лицо Мити приобрело осмысленное выражение, точно тут только он и проснулся. А Александра Сергеевна, выговорившись, ушла в свою комнату с чайником и неправдоподобно маленькой кастрюлькой, которые слегка трепетали в ее руках. Вслед за ней ушла и Анна Олеговна, унеся с собой запах перловой каши.

— Слышь, Дим,— сказал Фондервякин,— старушка-то наша плоха стала, чего-то уже мерещится... Того и гляди убудет.

— Это когда еще она убудет,— заметил Митя.— А скорее всего, что она еще нас с вами переживет. Они знаете какие, эти старорежимные старики,— прямо из чугуна!

— Нет, Дмитрий, пришла пора думать, а то потом, как в двадцать второй квартире, начнется изнурительная война. Тебе чего, ты человек сугубо холостой, а у

Валенчиков ожидается прибавление. Опять же мне некуда ставить шестнадцать банок моченых яблок...

— Значит, вам комната и достанется.

— Это почему ты так думаешь? — радостно спросил Фондервякин Митю.

— Да потому, что Валенчик у нас гудок!

— Не понимаю я твоего дурацкого языка...

— Ну, лопух! Как же он не лопух, если ему жена изменяет даже в беременном состоянии?

— Не болтай!

— Чего не болтай, когда я все видел собственными глазами! И не я один — их с Васькой Чинариком еще и Пумпянская засекала. Я-то смолчу, но Пумпянская наступит.

— Эх, сбегрить бы старуху в дом престарелых!

— Вам троим нужно, вы и это... сбегривайте ее.

— А почему троим?

— Вам — потому что у вас шестнадцать банок моченых яблок, Валенчику, лопуху, — потому что у него ожидается прибавление, Ваське Чинарикову — потому что Пумпянская наступит.

— Логично, — сказал Фондервякин и призадумался.

Митя отправился в ванную комнату, напоследок ловко щелкнув высунутым языком, а Фондервякин опять застучал по стеклу ногтями. После некоторой паузы он сказал:

— Петька, спой что-нибудь...

Петр не заставил, как говорится, дважды повторять приглашение и немедленно затянул песню, начинавшуюся словами: «Шел отряд по берегу, шел издали-ка», — причем затянул ее с самым серьезным видом.

Когда он закончил, Фондервякин его спросил:

— Кто научил-то?

Петр сказал:

— Жизнь.

После того как Митя Началов отправился в школу, Пумпянская с Анной Олеговной в молчании помыли на кухне посуду, позвонил какому-то знакомому Фондервякин и несколько раз бесцельно прошелся по коридору Петр Голова, в двенадцатой квартире наступила полная тишина. Жильцы разобрались по своим комнатам и принялись кто за что: Петр подсел к окну и тупо

уоставился в переулок, Фондервякин разбирал «вечно-зеленую» партию, время от времени позевывая в кулак, Анна Олеговна читала «Донские рассказы», Александра Сергеевна протирала бархоткой чайный кузнецовский сервиз, который приобрел еще сам Сергей Владимирович Пумпянский у Мюра и Мерилиза.

Около двух часов дня вернулась из школы Люба Голова, и почти сразу за ней появился Митя. Люба переделалась в бойкий халатик, покормила Петра, собрала его на прогулку и выставила за дверь, а сама пристроилась на кухне с учебником латинского языка.

— И на черта тебе это нужно? — спросил ее Митя.

Люба сказала:

— Нужно!

— В таком случае могла бы не демонстрировать тут свои возвышенные интересы — сидела бы у себя в комнате и учила.

Дмитрий походил-походил вокруг Любы и минуту спустя спросил:

— Как ты думаешь, Пумпянская по-латыни сообщает?

— Представления не имею. Никита Иванович сообщает — это я знаю точно.

— О Белоцветове сейчас разговора нет. Ты вот что, Любовь, сделай мне одно одолжение...

При этих словах на лице у Мити появилось тонкозадумчивое и одновременно жестокое выражение, такое значительное выражение, что у Любы глазки загорелись, и она даже от нетерпения чуть-чуть приоткрыла рот. Но договорить Мите недовелось: время было обеденное, и только он собрался изложить свою просьбу, как кухня почти в одну и ту же минуту наполнилась давешними действующими лицами плюс Василий Чинариков, который в третьем часу вернулся со своего дворничьего поста, минус Пумпянская, которая обедала поздно, по-европейски, и поэтому Митя с Любой ушли договаривать в коридор.

— Слышь, Василий,— обратился Фондервякин к Чинарикову, стараясь не впасть в едкую интонацию,— совсем наша Пумпянская захирела, не сегодня завтра отдаст концы. Тебе комнатушка-то ее, часом, не пригодится?

— Если строго смотреть на вещи,— ответил Чинариков,— то это будет чуланчик, а вовсе не комнатушка.



— А хоть бы и чуланчик,— вступила Анна Олеговна,— все равно дай сюда!

— Вы как хотите,— сказал Фондервякин,— а я вас, граждане, честно предупреждаю: я начинаю собирать документы с таким прицелом, чтобы комнатуха досталась мне.

— Да с чего вы взяли, что Пумпянская не сегодня завтра отдаст концы? — рассеянно спросил Чинариков и с этими словами покинул кухню.

Анна Олеговна сказала:

— А вы, Лев Борисович, вместо того чтобы болтать всякие глупости, занялись бы лучше своим произношением — в другой раз слушать тошно, как будто вы передразниваете кого.

Это замечание задело Фондервякина не на шутку; он еще немного потерся на кухне, чтобы не выдать своей обиды, а затем отправился восвояси и с чувством захлопнул дверь.

Анна Олеговна решила заодно сделать выговор и Петру:

— Что ты взял за моду такую вечно сидеть на кухне и слушать взрослые разговоры?!

Петр слез с табуретки и стал бочком пятиться в сторону коридора.

— Нет, ты погоди! Ты мне ответь: тебе здесь что, медом намазано? И вообще, зачем ты вчера Александре Сергеевне насыпал в чай марганцовки?..

Но Петра уже не было; на том месте, где он только что стоял, образовалось пустое место.

После обеда двенадцатая квартира опять притихла. В пятом часу Пумпянская вышла на кухню и стала готовить себе обед, который состоял из винегрета под майонезом, лукового супа и маленькой бараньей котлетки, приготовленной на пару. В то время как старушка возилась с обедом, Митя Началов позвал ее к телефону, и она поспешила взять трубку, но на том конце провода раздумали говорить.

В седьмом часу вечера вернулся с работы Никита Иванович Белоцветов и начал слоняться по кухне с таким напряженно-тоскливым выражением лица, словно он кого-нибудь поджидал. Вышла из своей комнаты Пумпянская набрать воды в фарфоровую соусницу — Белоцветов ей поклонился; дважды на кухню заглянул

Фондервякин в размышлении, с кем бы поговорить,— Белоцветов молчал, обозревал газовую плиту; Анна Олеговна Капитонова проследовала на черную лестницу — он по-прежнему ни гугу; наконец появилась Юлия Голова в непомерном махровом халате, в котором она была похожа на куколку шелкопряда, и Никита Иванович встрепенулся.

— Послушай, Юлия! — сказал он.— Хорошо бы вашего Петьку все-таки приструнить. А то он, чертенок, сегодня намазал мне дверную ручку какой-то дрянью!.. По-моему, горчицей или чем-нибудь в этом роде.

Юлия виновато заулыбалась, не зная, что отвечать, но тут на кухню забрел Василий Чинариков в невероятно изношенных джинсах и майке, обнаружившей на левом его плече воздушно-десантную татуировку, и его пришествие избавило Юлию от приторных объяснений.

— Чего шумим? — спросил Чинариков и закурил грубую папиросу.

— Да вот, понимаешь, Петька Голова намазал мне ручку двери какой-то дрянью! По-моему, горчицей или чем-нибудь в этом роде...

— Брось, Никита,— сказал Чинариков.— Смешно кипятиться по пустякам.

— Да я не потому... это... кипячусь, что Петька намазал мне ручку двери, а потому, что он гадости делать большой мастак!

Юлия воспользовалась случаем и улизнула.

— Понимаешь, какая ситуация,— продолжал Белоцветов,— ведь это страшно, когда человек с молодых ногтей способен на осмысленное злодейство.

— Опомнись, Никита,— сказал Чинариков, изобразив на лице веселое сожаление,— какое осмысленное злодейство? Глупость, шалость, невоспитанность — это да...

— Так ведь и самые дикие преступления имеют в своей основе глупость, шалость и невоспитанность — словом, эти самые пустяки! И ты знаешь, дикие преступления не так меня угнетают... то есть угнетают, конечно, но не так, как способность к осмысленному злодейству с молодых ногтей. Тут я чую тайну и разрешение всех загадок, где-то тут и зреют семена зла!

— Да на кой тебе сдались эти самые семена?!

— Сейчас объясню: понимаешь, Василий, сил моих больше нет! Сорок пять лет жизни я соседствовал со злодейством более-менее спокойно, а теперь не могу!

Что-то во мне такое перевернулось! Хари с водяными знаками больше видеть не в состоянии, спинномозговые разговоры на разные животрепещущие темы типа «куда девалась узкая бельевая резинка»? слушать больше не в состоянии, избитых, обворованных, обманутых наблюдать больше не в состоянии, вообще оскорбления от жизни терпеть более не намерен! А знаешь, с чего все началось?..

Чинариков сделал внимательное лицо.

— Иду это я третьего дня мимо нашего гастронома и вижу: стоит у стены женщина довольно преклонных лет. Увидел я ее, и ты знаешь, ну как будто внутренности ошпарили кипятком: одежонка такая, точно она ее на помойке подобрала, на ногах разные мужские ботинки, ты представляешь: разные мужские ботинки, один черный, другой коричневый, шляпка какая-то несуразная,— короче говоря, для советского города конца восьмидесятых годов невиданная, почти фантастическая картина! Но это еще сравнительно ничего; самое страшное в ней было то, что в довершение всего она была еще и избита: нижняя губа запеклась, под одним глазом махровый синяк, другой она прикрывала носовым платком, а платочек тот, заметь, братец ты мой, поразительной белизны. Хотя даже не следы от побоев показались мне тогда самым страшным, а то, что эта женщина была не каким-нибудь совершенно опустившимся существом, не помешанной, не пьянчужкой, а обыкновенной женщиной довольно преклонных лет, только издевательски разодетой. Мне про это платочек ее рассказал. И что, конечно, следует отметить особо, никто на нее внимания не обращает, словно это так и надо, чтобы среди белого дня в трех километрах от Красной площади, у гастронома стояла избитая женщина в разных мужских ботинках. Ну вот. Увидел я ее, и сердце, оборвалось, встал напротив и стою, мешая движению пешеходов. И тут она ко мне обращается. «Головастик»,— говорит... нет, ты обрати внимание: сама еле живая, а обзывается...

— Между прочим, в самую точку она попала,— сказал Чинариков, улыбаясь,— очень правильная кличка:

— «Головастик»,— говорит,— проводи меня до дома, а то ноги от слабости не идут». Я, конечно, подхватил ее под руку и повел. Но куда вести — никак не могу понять, потому что она говорит то про Армян-

ский переулочек, то про Новогириево, то про воссоединение Украины с Россией. И вот тут-то произошло самое главное: я эту тетку возненавидел... Почему это самое главное — потому что, на мой взгляд, компонент ненависти-то и совершил во мне глубокий переворот. Нет, ты вникни в мое тогдашнее состояние: во-первых, мне ее жалко до такой степени, что я не плакал исключительно оттого, что плакать на улице невозможно, не так поймут; во-вторых, во мне говорило оскорбленное национальное чувство, поскольку внешний вид этой тетки — прямое оскорбление для народа; в-третьих, я был обязан ее вывести куда надо; в-четвертых, я ее ненавидел, ненавидел за то, что я ее ненавидел, за то, что идти рядом с ней было ужасно неловко, за то, что вывести куда надо ее было практически невозможно, за то, что она мне уже порядком поднадоела. Иду и говорю себе: «А ты, братец, оказывается, подлец! Впрочем, раз ты подлец, то по-подлому и поступай, брось эту тетку к чертовой матери и сигай в первую попавшуюся подворотню!» Так я и сделал, хотя ты знаешь, Вася, что никакой я, в сущности, не подлец. Вот уже три дня прошло, а я не могу ее позабыть: в глазах стоит, как призрак какой-нибудь.. Вообще чувство такое, точно я по-хорошему психически приболел. Главное дело — третьи сутки зреет в душе какая-то удушливая слеза...

— По-моему, Никита, ты действительно приболел.

— Может, и приболел, но только эта болезнь теперь дороже мне любого практического здоровья. Я теперь встал на точку кипения и намерен вгрызаться в любое зло!

— Ну и глупо,— сказал Чинариков, закуривая новую папиросу.— Ты просто, Никита, как дите малое, ей-богу! Добро и зло существуют — я бы даже сказал, сосуществуют — на тех же основаниях, что вода и огонь, земля и небо, мужчина и женщина... Не было бы зла, не было бы борьбы, движения, то есть жизни.

— Это все философия,— сказал Белоцветов.

— Нет, Никита, это еще не философия, а букварь. Философия — это вот что... По Дамаскину, зло есть небытие, то есть простое отсутствие добра, по Менделю — необходимый инструмент строительства мира, по Сократу — случайность, наличие которой объясняется тем, что людям невдомек, что хорошо и что плохо, по Фоме Аквинскому — все добро, а зло есть только

его мелкая составная. Лейбниц вообще утверждает, что зло — это просто недоразвитое добро, что сколько-нибудь существенное зло — это когда человек не летает, а птицы не владеют членораздельной речью. Наконец, лично я считаю, что зла как такового не существует, а существует отношение к злу; если, например, меня мучает безденежье, дураки, оборванные тетки, то это зло, а если я отношусь ко всему этому равнодушно, то это не добро и не зло, а пустое место. В общем, сердчать на зло — это глупо, а бороться с ним — это уже болезнь. Зло есть стихия, как цунами, землетрясение, и, рассуждая по-бытовому, к нему нужно выработать просто соответствующее отношение, как к цунами, землетрясению, как к стихии.

— Я с этим не могу согласиться, и вот по какой причине: ведь зло — это очень просто, это так просто, Вася, что поразительно, почему его творят далеко не все! Ведь по-настоящему его творят далеко не все, и даже не большинство, и даже не меньшинство, а ничтожное меньшинство. Значит, зло отнюдь не на равных сосуществует со своими противоположностями — я разумею добро и пустое место, — значит, оно противостоит естественно, незаконно!

— Так ведь и мыслят далеко не все, даже не большинство. Большинство соображает, а мыслят по два человека на каждое полушарие.

— Ну это, положим, не аргумент!

— Хорошо, вот тебе аргумент, — сказал Чинариков и сделал энергичное движение головой. — Независимо от того, какой процент людей убивает, ворует, насильничает и так далее, зло все же есть, всегда было и всегда будет, значит, оно неотторжимо от человеческой природы, значит, оно законно. Если за полтора миллиона лет люди ничего не смогли поделать со злом, несмотря на то, что они вроде бы только этим и занимались, то, значит, оно законно!..

— О чем это вы опять, ребята? — вкрадчиво спросил Фондервякин, который как-то неприметно проник на кухню.

— Это мы, Лев Борисович, секретничаем с Василием, вы уж нас, пожалуйста, извините...

Фондервякин подозрительно посмотрел на обоих, поиграл губами и удалился.

Чинариков продолжал:

— Ты понимаешь, Никита, люди от всего лекарство

изобрели — от чумы, водобоязни, кризисов перепроизводства, засухи, саранчи, и только от зла по-прежнему нет лекарства!

— Ну почему же — есть... Откажись от личности, от собственного «я», и ты будешь безвреден, как черепаха. Потому что злом чревато только то, что исходит из «я», из личностных интересов, которые не всегда и необязательно сочленяются с правилами добра. Но этот отказ почему-то невозможен, хотя он сулит еще и бессмертие, а не только почти полную личную безопасность.

— В том-то все и дело, что такие лекарства годятся для единиц, преимущественно для тех, кто эти лекарства изобретает. И Христос предлагал, в общем, довольно-таки несложный путь исцеления человечества, и Толстой изобрел, казалось бы, общедоступный способ борьбы со злом через отказ от какой бы то ни было борьбы с этим самым злом — только потакать, — но ведь они жизнь меряли по себе, а сами существовали в единственном экземпляре! Между тем лекарство нужно такое, как аспирин, чтобы годилось для миллионов.

— На этот счет у меня есть одна соблазнительная идея! Видишь ли, я полагаю, что главный объем злодейств объясняется не человеческими слабостями, не воспитанием и не обстоятельствами общественного порядка, а исходит от какого-то темного душевного заблуждения, какой-то не классифицированной еще разновидности шизофрении, то есть что такие злодеи попросту сумасшедшие. И поэтому я предлагаю бороться с ними медикаментозно. Вот ты рассуди: разве можно назвать психически здоровым такого человека, который избил пожилую тетку из-за того, что у него было плохое настроение, или который отправил десять тысяч солдат на смерть, в сущности, потому только, что он плохо учился в школе, или который послал на эшафот своего политического противника за то, что противник предпочитает староиндийское начало ферзевому гамбиту, — разве такой человек не умалишенный? А его спрашивают эксперты: «Какое сегодня число? Сколько у вас всего пальцев?» — и если он отвечает, какое сегодня число и сколько всего у него пальцев, то эксперты совершенно спокойны за его психическое здоровье. Словом, решение всех проблем может состоять в том, чтобы вычислить соответствующее лекарство, содержащее катехоламины, которое расфасовывай потом хоть

в ампулах, хоть в таблетках, как ацетилсалициловую кислоту.

— Ну это, брат, уже какой-то утопический идеализм, просто противно слушать!

— И никакой это не идеализм! — сказал Белоцветов с сердцем.— Если хочешь знать, у меня уже и расчеты кое-какие есть.

— Короче говоря, профессор, существует тьма учений насчет того, как сделать человека из человека, а Петька Голова тебе сегодня вымазал дверную ручку какой-то дрянью... Да вот и он сам, легок на помине!

В кухню с пустой сковородкой в руках вошел Петр и, встретив назидательный взгляд Белоцветова, отступил к фондервякинскому столу.

— Петр,— обратился к нему Белоцветов,— ты чего безобразничаешь? Ты зачем мне испортил дверную ручку?

Петр промолчал.

— Тебя спрашивают или нет? — поддержал Чинариков, делая уморительную мину вместо задуманной свирепой, но в отеческую меру.

— А вы видели, как я ее портил,— с ленцой сказал Петр,— свидетели-то у вас есть?

— Вот гад! — возмутился Чинариков.— Еще ни одной буквы не выучил, а уже знает основные юридические уловки!

На этих словах к компании прибавилась Александра Сергеевна Пумпянская, которая по старчеству сделала то никому не интересное сообщение, что не далее как сорок минут назад ее пригласили к телефону, а в трубке якобы тишина. Вслед за ней на кухню заявился Генрих Валенчик, потом пришел Фондервякин, и поэтому Белоцветов увел Чинарикова договаривать к себе, причем Василий продолжил спор, не дожидаясь благоприятствующей обстановки.

— Что, в сущности, стоит вся мировая философия,— говорил он,— если она не в состоянии ответить на простейший вопрос: почему в каком-нибудь Штутгарте невозможно получить по морде за просто так, а у нас — свободно?..

Спустя короткое время после того, как чинариковский голос затих в дальнем конце коридора, и немедленно после того, как Пумпянская ушла в свою комнату, Генрих Валенчик принял секретное выражение, то есть как-то заговорщицки напыжился, и сказал:

— Я имею точные сведения, что с часу на час наша старушка отдаст концы. Предлагаю провести собрание на тему: кому достанется освободившаяся жилплощадь.

— Мне и достанется,— сказал Фондервякин,— я тебя об этом безо всяких собраний предупреждаю.

— А вот мы сейчас и рассмотрим коллегиально твою претензию на жилье! Или ты противопоставляешь себя общественному мнению? Имей в виду, такого оголтелого индивидуализма мы не потерпим — это я тебе искренне говорю!

Валенчик строго посмотрел на Фондервякина и пошел собирать жильцов. Минут через пять в кухню набилось все население двенадцатой квартиры за исключением Пумпянской и Чинарикова с Белоцветовым, которым было ни до чего.

— Вот это по-нашему, по-советски! — с огоньком в глазах сказала Анна Олеговна Капитонова.— И радости, и горе, и проблемы — все решается сообща! Прямо как было в Олимпиаду...

И все припомнили, как действительно во время Московской Олимпиады двенадцатая квартира столковалась временно прекратить обширный скандал, который разгорелся из-за того, что фондервякинское корыто свалилось на голову Юлии Голове.

— Давайте, товарищи, без лирики,— попросил Валенчик,— давайте, товарищи, ближе к делу. Завтра, может быть, комната в квартире освободится, а у нас еще нет никакого коммюнике...

— Причем коммюнике должно быть такое,— вступила Юлия Голова,— мы вот прямо сейчас обязаны договориться, кто из нас имеет бесспорное право на расширение метража.

— Больше всех прав у нас,— сразу решила Люба.— Потому что мы живем втроем да еще мать у нас — одиночка.

— Тем более что я разнополый,— добавил Петр.

— Грамотный ты больно, как я погляжу,— сказал ему Фондервякин.

— Нет, товарищи, это превратный, какой-то количественный подход,— сказала Анна Олеговна и гордо тряхнула своими фиолетовыми колечками.— Давайте посмотрим на качественную сторону дела: вот мой Дмитрий совсем уже стал молодой человек, а все со старухой да со старухой...— В этом месте Анна Олеговна сердито посмотрела на Фондервякина и заключила



на всякий случай: — А вы, Лев Борисович, о своих моченых яблоках даже не заикайтесь!

— Конечно, надо решать по совести, — сказала Вера Валенчик. — Моченые яблоки — это смешно, вот я скоро рожу, так это, товарищи, не смешно.

— Так! — отозвался Митя. — Только давайте без демагогии! А то совесть какую-то приплели...

Дальнейшее развитие переговоров можно безболезненно опустить, поскольку ничего принципиально нового и значительного сказано больше не было и вообще совещание ни к какому решению не пришло. Единственный итог, который сложился помимо воли его участников, заключался в том, что всем стало ясно: даже если Александра Сергеевна Пумпянская совершенно здорова, к утру она обязана умереть.

В одиннадцатом часу вечера народ разошелся по своим комнатам и квартира уgomонилась. Еще некоторое время из-за дверей доносилось бубнение телевизоров, но затем окончилось и оно. Наступила пора вещей.

4

Впрочем, двенадцатая квартира еще не спала, а только-только собиралась на боковую. Юлия Голова сидела за туалетным столиком, приготавливая себя на ночь, Любовь стелила постель, а Петр медленно, с отвращением раздевался. У Валенчиков было так: Вера уже лежала в постели, положив на лицо газету, а Генрих Иванович, низко-низко склоняясь над обеденным столом, слышно царапал пером бумагу. Фондервякин сидел перед выключенным телевизором и вырезал из резинового коврика прокладки для своих банок. Чинариков читал у себя избранные речи Цицерона, Белоцветов у себя — «Вестник фармакологии», Анна Олеговна чем-то неприятно шуршала за старинной китайской ширмой, которой она на ночь отгораживалась от Мити, Митя же торчал за своим столом и опять колдовал над какими-то стеклышками, детальками и разноцветными проводками. Что касается Александры Сергеевны Пумпянской, то она просто сидела на стуле посреди комнаты, скуки ради припоминая один давний вечер: год то ли двенадцатый, то ли тринадцатый — довоенный, она еще юна, еще живы отец, мать, братья; вся семья собралась в столовой за чашкой чая; поздний

вечер, столовая наполнена ровным зеленым светом, потому что электрическая лампочка оправлена в люстру аквамаринного стекла, сановито тикают напольные часы, поднесенные отцу на какой-то юбилей его педагогической деятельности, изредка позванивают в кузнецовских чашках серебряные ложечки, за окном воет ветер; Сергей с Владимиром играют в ма-джонг, а Георгий читает вслух Тэффи, держа в левой руке подсвечник в виде выеденного яйца с полупрозрачным стеариновым огарком, и давится смехом через каждые десять слов...— господи, какое чудесное, какое родное воспоминание!

Около половины одиннадцатого Фондервякин кому-то звонил, чуть позже в коридоре немного пошумел Митя Началов, потом Белоцветов прошаркал в сторону туалета, но едва повернув направо, остолбенел, потому что ему открылась следующая картина: посреди темной кухни, в бледном параллелограмме, образованном светом с улицы и окном, сидел на горшке Петр Голова и держал перед собой развернутую газету. Собственно, в этой картине не было ничего удивительного, наверное, Петр просто подражал нашей мужской манере делать два этих дела одновременно, и тем не менее Белоцветов почему-то был ошарашен.

— Петь, ты чего? — неровным голосом спросил он.

— Ничего,— сказал Петр, спокойно посмотрев на Белоцветова из-за газеты, и как бы вновь углубился в чтение.

Словом, двенадцатая квартира еще не спала, но уже наступила пора вещей. Неведомо откуда и куда прошелся по полу сквознячок, задышали несколько квадратных сантиметров обоев, поотставших в том месте, где стоял беспризорный шкаф, и в районе этажерки что-то шепнулось само собой; потом вступили водопроводные трубы, которые начали приглушенно чрево вещать, но вдруг замолчали, как если бы их кто-нибудь оборвал; где-то посыпалась известка, что-то такое пискнуло, совсем уж неузнаваемое, таинственное, на кухне по собственному почину скрипнула половица. Тут из своей комнаты вышел Генрих Валенчик, и вещи временно притаились. Валенчик сунул в рот папиросу, несколько раз прошелся по коридору туда-сюда, немного постоял возле фондервякинского корыта, а затем вернулся к себе, оглушительно хлопнув дверью. И снова пусто, снова пора вещей, но пока не в полную силу, точно ве-

щи были, как говорится, в курсе, что еще Пумпянская не проверяла по обыкновению, везде ли погашен свет.

Без четверти одиннадцать в коридоре раздался отвратительный женский крик; крик был дикий, какой-то зоологический, на который горловые связки способны, наверное, только в тех редких случаях, когда человек сталкивается с чем-либо слишком ужасным, пограничным возможностям восприятия. Квартира немедленно ожила: из-за дверей послышалось движение, голоса, и в следующую минуту жильцы кто в чем высыпали из комнат. Посреди коридора в халате, застегнутом на одну пуговицу, из-под которого виднелась сбившаяся ситцевая рубашка, в бигуди, в золоченых индийских шлепанцах как вкопанная стояла Юлия Голова; лицо ее посерело, глаза были вытаращены, рот дрожал.

— Ты что орешь как резаная? — зло спросил ее Фондервякин.

В ответ Юлия только полуподняла руку в направлении входной двери.

— Что случилось-то? — взмолился Генрих Валеник.— Ты толком можешь нам объяснить?

— Там...— начала Юлия и окончательно подняла руку в направлении входной двери,— там сейчас стояло привидение какого-то мужика...

Несмотря на то, что при этих словах у всех, как говорится, екнуло сердце, никто из жильцов Юлии не поверил. Разумеется, было бы удивительно, если бы кто-нибудь ей поверил, и все же несравненно удивительнее то, что ей никто решительно не поверил, поскольку привидения — эта тайная страсть нашей литературы, которая поэтому и внедряет их в самые посконные ситуации, а мы народ крайне литературный и даже не так доверяем жизни, как романам и повестям. Наконец то положение, в каком оказалась Юлия Голова, представляло собой не более как житейскую вариацию того положения, в каком сто двадцать лет тому назад оказалось одно якобы вымышленное лицо:

«— ...А, кстати, верите вы в привидения?

— В какие привидения?

— В обыкновенные привидения, в какие!

— А вы верите?

— Да, пожалуй, и нет, *pous vous plaire*<sup>1</sup>. То есть не то что нет...

---

<sup>1</sup> Чтобы вам угодить (фр.).

— Являются, что ли?

— ...Марфа Петровна посещать изволит,— проговорил он, скривя рот в какую-то странную улыбку.

— Как это посещать изволит?

— Да уж три раза приходила...

— Наяву?

— Совершенно. Все три раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь; всегда в дверь. Даже как будто слышно.

— ...Что же она вам говорит, когда приходит?

— Она-то? Вообразите себе, о самых ничтожных пустяках, и подивитесь человеку: меня ведь это-то и сердит...»

— Померещилось,— успокоительно произнесла Анна Олеговна, которая вышла еще в довольно пристойном виде, то есть причесанная и в халате.— Это тебе, Юлия, просто-напросто померещилось. Не пей на ночь крепкого чая, а пей настой валерьянового корня или же тазепам: как рукой снимет потустороннее...

— Ну, вы тоже насоветуете,— заметил Белоцветов, одетый не по-домашнему: брюки, рубашка, галстук.

— Дожились! — сказала Вера Валенчик.— Уже привидения в квартире завелись! Тараканов мало, так давай теперь привидения! Нет, когда же наконец разнесут к чертовой матери этот многоэтажный клоповник и предоставят людям благоустроенное жилье?

— Этот вопрос я предлагаю адресовать президенту Рейгану,— сказал Генрих, на котором была сетчатая майка и черные сатиновые трусы.— А ты, Пенелопа,— это уже Вере,— давай-ка бегом в постель, ты посмотри, в каком ты эротическом виде — тут у нас все же не кабре!

Действительно, Вера Валенчик выскочила босой и в одной сорочке.

— Не пойму,— сказал Митя Началов, как-то презрительно сощуривая глаза,— американцы-то тут при чем?

— А при том,— отозвался Генрих,— что по милости вашингтонской администрации мы вынуждены предпоследнюю рубашку жертвовать на гонку вооружений, вместо того чтобы строить благоустроенное жилье!

— Борьба двух миров,— с многозначительным видом подтвердил Фондервякин, стоявший неподалеку от своего корыта завернутым в полосатую простыню.— Не мытьем, так катаньем норовит нас достать американский

империализм. Но я так скажу: если ради мира на планете нужно будет как-то сосуществовать с привидениями — я ничего не имею против.

Чинариков спросил его, делая ёрническое лицо:

— А что, Лев Борисович, как вы думаете: нет ли в советском департаменте ЦРУ ответственных за картошку, то есть таких специальных агентов империализма, которые отвечают за то, чтобы в наших магазинах с картошкой были бы постоянные перебои?

— Есть! — ответил Фондервякин, насупив брови, и отправился в свою комнату.

— Так какая же все-таки будет резолюция этому случаю с привидением? — спросил, ни к кому отдельно не обращаясь, Генрих Валенчик и картинно сунул руки себе под мышки.

— А какая тут может быть резолюция... — сказал Белоцветов. — Не эпидемстанцию же против призраков вызывать. Как справедливо заметила твоя Вера, это все же не тараканы.

— Резолюция будет такая, — добавила Анна Олеговна, — крепкого чая на ночь не надо пить!

Вслед за этими словами раздался голос Пумпянской, которая показалась в дальнем конце коридора в своем вечном штапельном платье, при кружевах.

— Помилуйте, — сказала она, — на часах скоро полночь, а у вас тут целая демонстрация! Случилось чего-нибудь?

— Случилось, — ответил Митя. — Привидение завелось. Прямо шотландский замок, а не квартира...

И все начали расходиться.

Больше в этот вечер ничего интересного не случилось, только около полуночи Пумпянская отправилась проверять, везде ли потушен свет и хорошенько ли заперта дверь в прихожей.

А наутро она исчезла.

## Часть вторая

### СУББОТА

#### 1

Несмотря на то, что с первого взгляда такая задача может показаться если не праздной, то во всяком случае умозрительной, было бы очень кстати как-то разобраться в тех отношениях, которые существуют между

жизнью и тем, что мы называем литературой. Решить эту задачу, конечно, будет не просто, поскольку их отношения архиневразумительны, но заманчиво: во-первых, заманчиво выяснить, в какой степени изящная словесность есть игра, а в какой — книга судеб, учебник жизни; во-вторых, определившись в этих объяснительных степенях, в принципе можно выйти на разгадку кое-каких тайн духа и бытия, потому что, чем черт не шутит, может быть, литература в состоянии гораздо больше поведать о жизни, чем жизнь о самой себе; в-третьих, известно, что литература есть бытие превращенное, преломленное через художественный талант, и преломленное как-то так истинно, что в Татьяну Ларину веришь вернее, нежели в соседку по этажу; наконец, если совсем не жить, то есть жить, но совершенным пустынноиком и аскетом, а только читать величественные книги, то вот что чудно — это будет, по крайней мере, занимательная жизнь.

Как-то разобраться в отношениях, сложившихся между реальностью и ее художественной ипостасью, можно, например, при помощи простейшего уравнения:  $\sqrt{\text{жизнь} \times \text{талант}} = \text{литература}$ . Что такое жизнь, мы вроде бы знаем — продолжительный праздник личного бытия; что такое корень из жизни, мы можем себе представить — удавшийся праздник личного бытия; что такое литература, мы вроде бы тоже знаем — тот же праздник, но только сдвинутый по горизонтали времени и пространства, тот же праздник, но только взятый таким образом, что он умножается на талант. Мы вот только не знаем, что есть талант. Это, конечно, всем иксам икс, такой безответный икс, что о нем ничего не скажешь вразумительнее того, что талант — это во всех отношениях глухая величина. Посему математический подход тут не годится, поскольку в уравнении  $\sqrt{\text{жизнь} \times \text{талант}} = \text{литература}$  неизвестное так глубоко неизвестно, что оно оставляет слишком много загадочного пространства.

Кое-какие соображения навеивает, например, то обстоятельство, что любая попытка воссоздания реальности средствами художественного слова, даже если она беспомощна, даже если она строго документальна, неизбежно превращается в ее противоположность, то есть в литературу. Следовательно, искомые отношения — это строго закономерные отношения, даже, может быть, роковые.

Еще такое любопытное наблюдение: жизнь в сравнении со словесностью гораздо пестрее, бестолковее, вариантнее, подробнее и нуднее. Отсюда вытекает одно причудливое предположение: может быть, литература-то и есть жизнь, то есть идеал ее построения, эталон всех мер и весов, а так называемая жизнь — набросок, подступы, заготовка, а в самых счастливых ситуациях — вариант. Нет, честное слово, больше всего похоже на то, что литература — это чистовик, а жизнь — черновик, да еще не из самых путных.

Изредка, правда, случается так, что жизнь человека некоторыми своими частностями прорастает в литературу, как это, например, бывало с Николаем Успенским, когда он в нетрезвом виде таскался по кабакам с интересной композицией на руках — двухлетней дочкой и чучелом крокодила. Но такое случается крайне редко; правило все же состоит в том, что принцип жизни — это одно, принцип литературы — совсем другое.

Ведь как делается дело в литературе:

«— Милостивый государь, — начал он почти с торжественностью, — бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгонят, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!..»

А вот как бывает в жизни...

В субботу утром, в восьмом часу, Митя Началов пришел на кухню, еще пустую, за ночь как бы отвыкшую от человека, и принялся готовить завтрак, что было случаем редким, даже исключительным, и даже это было происшествие, а не случай. Вскоре после него появился Василий Чинариков, который с чувством пронес в ванную комнату свой обнаженный торс. Потом на кухню пришел Белоцветов с горлом, обмотанным, как шарфом, вафельным полотенцем. Потом к присутствующим прибавился Фондервякин и всех удивил, так как он был пьян, невзирая на ранний час.

— Где это вы, Лев Борисович, так назююкались? — спросил Митя.

— Да тут же, на кухне, и назююкался, — ответил Фондервякин и грузно уселся на табурет. — Открыл с

горя одну трехлитровую банку моченых яблок, и вот вам, пожалуйста, результат. Но с утра, оказывается, выпить — самое то; тонизирует, и вообще...

Митя предположил:

— Наверное, у вас, Лев Борисович, вместо моченых яблок получился обыкновенный самогон.

— Пьяные яблочки, это точно.

— И как вы только не боитесь, отчаянный вы человек? — сказал Белоцветов и ухмыльнулся. — Ведь сейчас за самогон можно получить почти столько же, сколько за государственную измену!

— Я, ребята, свое отбоился, — сообщил Фондервякин и убедительно ударил ладонью по коленям.

— Этой публике хоть кол на голове теши! — вступил Василий Чинариков, входя в кухню; торс его блистал, словно его умастили, а на груди переливалось капельное ожерелье. — На эшафоте она не откажется от своих винно-водочных убеждений! Вот я вам сейчас расскажу анекдот. Говорят самогонщику: «Ты давай сворачивай свою деятельность, а то сядешь». Он говорит: «Я сяду, сын будет гнать». Ему говорят: «И сына посадят». Он: «Сына посадят, внук будет гнать». — «И внука посадят». — «Когда, — говорит, — внука посадят, я выйду».

— А ты молчи, парашютист! — сказал Фондервякин, но сказал это без злобы, скорее юмористически.

— Я не парашютист, — тем не менее надулся Василий, — а бывший русский солдат Советской Армии и в случае чего могу это убедительно доказать!

— Ну ладно, будет, — в примирительной интонации сказал Белоцветов, — только ссоры нам не хватало. Василий никакой не парашютист, а вам, Лев Борисович, все же должно быть стыдно, что вы накачались в такую рань.

— Стыдно? — вскричал Фондервякин. — Да ты сначала спроси меня, в силу чего я выпил с утра пораньше, а потом срами!

— Ну хорошо: в силу чего вы накачались в такую рань?

— А в силу того, что меня окончательно доконала моя персональная нищета! Ведь я не трутень какой-нибудь, а ведь всю жизнь вкалываю как лошадь — и что же я за это имею? Практически ничего!

— То есть как это ничего? — отчасти даже с обидой сказал Василий. — Да ведь у вас, наверное, на



книжке несметные тысячи, так сказать, прозябают, а вы тут нам лапшу на уши вешаете, представляете из себя загорскую попрошайку!

— О тысячах сейчас разговора нет. Сейчас разговор о том, что за тридцать пять лет беспорочной службы мне вместо персонального благосостояния причитается персональная нищета. Вы поглядите, как я живу: диванчик, креслице, телевизор чуть ли не «КВН»! Дело доходит до того, что некуда приткнуться шестнадцать банок моченых яблок! Слава богу, что теперь пятнадцать, все-таки как-то легче...

— Ну, мне пора,— перебил его Митя, подхватывая посуду.— Вы тут еще посоветайтесь, а мне пора.

— И ведь я не туарег какой-нибудь,— продолжал Фондервякин, как бы исходя чувством оскорбленного самолюбия,— для туарега нищета — нормальное состояние, у него душа не болит, что он ночует в шатре и катается на верблюде, потому что такая его кочевая участь. А ведь я, граждане, европеец, и даже, может быть, более европеец, чем англичанин и француз, вместе взятые, а существую, как туарег! Вы понимаете: так сказать, европейского чувства, самосознания во мне под завязку, но реально я живу в условиях нищеты. И это, конечно, бесит! Одним словом, в такой ситуации только святой не нажрется с утра пораньше, а я, граждане, не святой...

Вот так и бывает в жизни: путано, длинно, некомпозиционно, со множеством посторонних составных, которые не терпит литература, но терпит жизнь, так как у нее почему-то каждое лыко в строку и всякий червячок для чего-то да существует. Следовательно, описание происшествий, выпавших на субботу, нужно начинать никак не жизненным спором, который разыгрался на кухне с утра пораньше, а сообразно природным требованиям искусства.

Именно так: какое-то время исчезновение Анны Сергеевны Пумпянской оставалось незамеченным, но ближе к обеду двенадцатая квартира была уже слегка заинтригована тем, отчего это старушка, обычно появлявшаяся в местах общего пользования раньше всех, целое утро не попадает на глаза. Еще этот вопрос не дозрел до той стадии, когда вопросы сами собой срываются с языка, еще Василий Чинариков как ни в чем не бывало скалывал лед в подворотне дома № 2, еще Белоцветов преспокойно лежал на диване, почи-

тывая кьеркегоровский «Страх и трепет», Юлия Голова с Петром ходили по магазинам, Фондервякин варил на кухне сливовый компот, Митя с Любой томились в школе, Валенчики смотрели телевизор, Анна Олеговна прибиралась у себя в комнате — но в квартире уже поселилось торжественное и почему-то отчасти приятное беспокойство.

Около трех часов пополудни, когда по случаю обеденных хлопот почти все жильцы скопились на кухне, об отсутствии Пумпянской заговорили.

Фондервякин вслух спросил самого себя, чего это, дескать, не показывается Пумпянская. Генрих Валенчик предположил, что она отправилась в магазин, но Юлия Голова отвергла это предположение, сказав, что нельзя же таскаться по магазинам четыре часа подряд. Тогда Белоцветов выдвинул следующую версию: Пумпянская внезапно уехала к кому-нибудь из родных. Однако и эта версия не выдержала проверки, так как Анна Олеговна заявила, что на ее памяти Пумпянская никогда не отсутствовала больше часа, а Фондервякин засвидетельствовал, что в последний раз старуха уезжала к каким-то родственникам на Арбат в сорок восьмом году.

— Ну, тогда она умерла,— сказала Люба Голова.— В лучшем случае заболела.

И сразу наступила нехорошая тишина.

Когда первое впечатление от этих слов испарилось, мужчины решили, что в комнату Александры Сергеевны следует постучать. Чинариков постучал, но ответа не было; Белоцветов постучал — и он ответа не получил. Фондервякин подошел к двери, прильнул к замочной скважине и сказал:

— Ничего не видать, должно быть, ключ с той стороны торчит.

— Если ключ торчит,— сообщил Валенчик,— значит, старуха дома. Ты вот что, Василий, понюхай скважину, может, уже того...

— Да я курю,— отозвался Чинариков,— у меня обоняние на нуле. А потом в течение первых суток трупы не разлагаются даже в сорокаградусную жару.

— А ты почему знаешь? — спросил его Фондервякин.

Василий ответил:

— Знаю...

И опять наступила нехорошая тишина, которая, впрочем, сквозила не потерей, а скорее приобретением.

— Да,— сказал чуть спустя Валенчик,— дело пахнет керосином! Нужно звонить в милицию.

Чинариков поспешил к телефону и начал звонить в жилищно-эксплуатационную контору, в «скорую помощь» и участковому инспектору Рыбкину, с которым он был знаком. Прочие жильцы начали расходиться по своим комнатам, косясь на дверь Александры Сергеевны, точно это уже было решено, что за ней совершилась смерть. На кухне задержались только Митя Началов и Любовь Голова.

Митя спросил:

— Ну что, кума, страшно тебе небось?

— Не-а,— сказала Люба.

— Бесчувственная ты; вот я мужской пол, а и то мне что-то не по себе.

— Ты мне, Митька, лучше вот что скажи: телефонный звонок имеет к этому отношение?

— Ась?

— У тебя что, бананы в ушах? Я говорю, телефонный звонок имеет к этому отношение?

— Не-а,— ответил Митя и засмеялся.— Вот Фондервякин сегодня с утра был пьян как сапожник — вот это да.

Без четверти пять в прихожей раздался звонок, и из всех дверей повысовывались жильцы. Явился участковый инспектор Рыбкин, мужчина видный и молчаливый, которому наверняка в очереди говорили «молодой человек», а отнюдь не «мужчина», как это у нас повелось из-за деградации обращений; из примечательных черт участкового Рыбкина нужно отметить небольшие пушистые усики, местами достигавшие нижней губы, то обстоятельство, что фуражку он постоянно носил несколько на затылке, и смиренно-усталое выражение глаз, которые, впрочем, временами смотрели и как стволы.

— Ну, что тут у вас стряслось? — спросил Рыбкин, сложив руки на животе.

— Да жиличка одна исчезла,— сказал Чинариков.— Пумпянская Александра Сергеевна. Вчера еще была здесь, а сегодня как корова ее языком слизнула!

— Ага! — молвил Рыбкин и пошел по коридору в сторону кухни.

В то время как он осматривал дверь в комнату Пумпянской, шупал дверную ручку, заглядывал в замочную скважину, Фондервякин поведал ему о том, что

старушка была одинока, в последний раз уезжала к родственникам на Арбат в сорок восьмом году и никогда не отлучалась из дома более чем на час. Затем, из желания прислужиться, он даже приналег на левую створку двери, чтобы показать, что это дверь старинная, фундаментальная, как ворота.

В эту минуту в прихожей позвонили опять: на этот раз явились техник-смотритель из жилищно-эксплуатационной конторы, разбитная девочка по фамилии Вострякова, и один из мрачных жэковских слесарей.

— Будем ломать? — спросила Вострякова у инспектора Рыбкина, на что инспектор как-то печально кивнул, но кивнул не сразу, а после того, как он снял с головы фуражку, протер внутренность тульи носовым платком и снова нацепил ее на затылок.

Мрачный слесарь приступил к двери с невероятно богатым набором ключей, среди которых проглядывали и отмычки, но подобрать ничего не мог и поэтому вынужден был прибегнуть к посредству фомки. Рыбкин смотрел на слесаря... во всяком случае, не побратски.

Наконец дверь издала неприятный треск и отворилась, обнажив темный-темный прямоугольник, пахнущий тяжелым духом. Присутствовавшие при вскрытии комнаты, а именно вся двенадцатая квартира, несколько отшатнулись, а Рыбкин, сказав: « Попрошу никого не входить », машинально тронул пальцами кобуру и ступил за порог, как в пропасть. Секунду о нем не было никаких вестей, но потом вспыхнул свет, и двенадцатая квартира прильнула к двери.

Комната Пумпянской была пуста; те, кому было видно, увидели большой буфет из карельской березы, старинный мраморный умывальник с зеркальцем и педалью, этакий мойдодыр, узкую металлическую кровать, столик, приспособленный под горшок с карликовой сосной, большой круглый стол о четырех ножках, накрытый, кажется, простыней, какой-то пейзаж не нашего времени, массу фотографий в причудливых рамках, разные милые мелочи вроде часов в стеклянном футляре, или подсвечника в виде выеденного яйца, или длинной и узкой вазочки с крашеным ковылем, — но главное, те, кому было видно, увидели, что комната Пумпянской была пуста.

— Зачем же, товарищи, наводить тень на ясный день? — сказал Рыбкин.

— Да,— согласился с ним Фондервякин,— вышло, конечно, нехорошо. Просто вломились в чужое помещение, и будто бы так и надо...

— А гражданка Пумпянская,— предположила Анна Олеговна,— наверное, едет сейчас в троллейбусе к троюродной тетке по женской линии и прекрасно себя чувствует, не то что мы.

— Да нет у нее никакой тетки,— заявил Генрих Валенчик,— у нее вообще никого нет, одинокая была старушка, как тополек в степи...

— А почему «была»? — спросил его Рыбкин.— Вам что, точно известно, что гражданки Пумпянской больше не существует?

Валенчик смешался и, смешавшись, проговорил:

— Нет, этого, конечно, я знать не могу; мне только известно, что родственников у нее не имеется, даже таких, которые называются нашему попу двоюродный священник. Я даже удивляюсь, к кому это она в свое время ездила на Арбат.

— И даже не в этом дело,— вступила Юлия Голова,— а дело в том, что она по большому счету лет двадцать из дома не выходила. Сиднем сидела дома наша старушка, ну разве что иногда сходит на бульвар воздухом подышать.

— Двадцать лет не выходила,— сказала Люба,— а на двадцать первом взяла и вышла!

Митя ей возразил:

— Ну как она могла выйти, если комната заперта изнутри на ключ?

— Господи! — воскликнула Вера Валенчик.— Неужели Александру Сергеевну похитили через окно?

— А ты, Вера, шла бы отсюда,— сказал ей супруг.— Тебе волноваться вредно.

Вера покорно направилась в свою комнату и заодно прихватила с собой Петра, который, засунув в рот указательный палец, так сосредоточенно внимал разговорам взрослых, как если бы он все решительно понимал.

— Это дело разъясняется очень просто,— сказал мрачный слесарь, и все почему-то удивились тому, что слесарь заговорил.— Замок в данной двери английский, причем еще нэпманской фабрикации: хлопнул дверью, она и закрылась, а ключ ваша старушка могла по забывчивости оставить с внутренней стороны.

— И все равно это как-то, знаете ли, подозрительно,

нереально,— сказал Фондервякин и взялся рукою за подбородок.

— Вы бы сначала прожевали... ну, я не знаю, чего вы там жуετε,— обратилась к нему техник-смотритель Вострякова,— а потом уже вступали бы в разговор.

— Ничего он не жует,— разъяснила Анна Олеговна,— это у него такое произношение.

Фондервякин побагровел, а Вострякова изобразила на лице что-то такое, что изображается на лице у женщин, когда они восклицают: «Господи боже мой!»

Митя заключил:

— Факт остается фактом: старуха исчезла, причем исчезла по-хичкоковски, при самых загадочных обстоятельствах.

— Это все домыслы,— сказал Рыбкин.— Для паники, товарищи, пока оснований нет. Вот выйдет положенный срок, тогда будем паниковать...

На слове «паниковать» Рыбкин запнулся, так как в прихожей пугающе зло зазвонил звонок. Василий Чинариков бросился открывать, послышалось лязганье замков, потом голоса, потом в коридоре по-хозяйски загремели шаги, и в кухню вторглись трое молодцов в белых халатах и коротких черных шинелях, накинутых по-грушницки.

— Где тело? — строго спросил передний из молодцов.

— Вот тела как раз и нет,— отозвался Чинариков и развел руками в подтверждение своих слов.

— Как это нет? — огорченно, почти разочарованно сказал передний из молодцов.— Зачем же тогда вы карету «скорой помощи» вызывали?

Фондервякин сердито ему сказал:

— Вы не переживайте, товарищ медицина, я вам гарантирую — тело будет!

## 2

Уже свечерело, и в двенадцатой квартире повсюду зажегся свет, когда Белоцветов, выведя инспектора Рыбкина на лестничную площадку, тронул его за рукав и поинтересовался:

— Ну и что вы намерены предпринять?

— А ничего,— простодушно ответил Рыбкин.— Состав преступления нет, даже происшествия и то нет. Вообще зря вы беспокоитесь, объявится ваша старушка,

куда ей деться. А если не объявится, то, значит, она в какой-нибудь Козельск уехала помирать. Ведь нет никаких доводов против того, что ей могла прийти в голову такая опрометчивая идея.

— Есть! — возразил ему Белоцветов. — Вовсе и не собиралась Пумпянская помирать. Она всегда вела себя так, словно в принципе не собирается помирать, — бывают у нас такие удивительные старушки.

— А вот некоторые ваши жильцы, — сказал Рыбкин, — придерживаются противоположной ориентации. Некоторые жильцы, например, показали, что накануне Пумпянская жалилась на здоровье.

— Вы им не верьте. Они все ждут не дождутся, чтобы комнатуха освободилась, и ради этой комнатухи что угодно наговорят. Дай им волю, они бы Пумпянскую живую похоронили. Словом, вы как хотите, а дело это нечисто; я голову даю на отсечение, что наши тут как-то подсуетились, я это чую, как ревматики непогоду!

— Вообще-то публика у нас непростая подобралась. Вот, например, один сегодня нам притащил жалобу на соседей. И не на кого-нибудь одного, а сразу на всех. И не просто жалобу, а маленькую поэму.

— Донос в стихах, что ли? — спросил Белоцветов. — Это ново, товарищ Рыбкин. Ну и что же доносчик пишет?

— Да всякую чепуху.

— Пожалуйста, вот вам еще одно доказательство того, что наши способны на что угодно! Как хотите, товарищ Рыбкин, а нужно что-то предпринимать.

— Ничего я не буду предпринимать, потому что еще ничего практически не случилось.

— Я, конечно, прошу прощения, но это, знаете, несерьезно. Ведь человек исчез, вы понимаете или нет? Тут надо немедленно объявлять всесоюзный розыск, а вы разводите саботаж!

— Если милиция по каждому случаю будет объявлять всесоюзный розыск, то ей некогда будет заниматься поддержанием общественного порядка, расследованием правонарушений, профилактикой преступности — то есть своими непосредственными делами. И так уже житья нет от неплательщиков алиментов, а вы еще хотите повесить на нас путешествующую старушку!..

С этими словами инспектор Рыбкин, подчеркнуто козырнув, засеменял вниз по лестнице, а Белоцветов

вернулся в квартиру и заглянул в комнату Чинарикова, но хозяина не застал, потому что Чинариков по-прежнему торчал в кухне; на пару с Фондервякиным он молча обозревал старушкину дверь, которая была уже опечатана техником-смотрителем Востряковой.

— Вернется наша пропащая с какого-нибудь утренняя,— говорил Фондервякин,— а комната опечатана. То-то потеха будет!

— Василий,— сказал Белоцветов,— загляни ко мне на минуточку.

Комната Белоцветова была похожа на закуток провинциальной библиотеки. Книги и разноцветные картонные папки помещались на стеллажах, на крохотном письменном столе, прямо на полу и даже на подоконнике. Только кожаный диван, несколько грязных стаканов да большой ломоть хлеба, лежавший на третьем томе Медицинской энциклопедии, указывали на то, что это помещение отнюдь не служебное, а жилое.

— Ну? — произнес Чинариков и устроился на диване.

— Я, собственно, только хотел сказать,— начал Белоцветов, разгуливая по комнате,— что Рыбкин наотрез отказался искать Пумпянскую.

— Этого и следовало ожидать.

— Да, но ведь идиоту ясно, что Пумпянская не ушла, не уехала, а исчезла! Даже Вера Валенчик, уж на что сама простота, и то сообразила, что без преступного умысла дело не обошлось.

— Тяжелый ты человек, Никита: в каждый горшок тебе надо плюнуть. Ну хорошо, а если преступление не совершено, если Пумпянская, скажем, взяла и легла в больницу?

— А если окажется, что ни в какой она не в больнице, а именно так оно и окажется, потому что я чую тут преступление, как ревматики непогоду, тогда позволь мне посмотреть в твои бессовестные глаза. Нет, Василий, ты как хочешь, а эта история непростая! Ты вспомни: какой-то странный ей был накануне телефонный звонок, потом появилось это дурацкое привидение...

— Вот только этого не надо, договорились?

— Хорошо, а почему Фондервякин был пьян на другое утро?

— Пьян он был потому, что ему захотелось выпить.

— У тебя на все найдется деструктивный ответ...



— А у тебя на все найдется идиотский вопрос! Так, брат, нельзя, надо держать себя в руках, я бы даже сказал: в ежовых рукавицах надо себя держать.

— Я только одного не могу понять: вот несколько миллионов мужчин и женщин в Советском Союзе бьются оттого, что их жизнь не имеет смысла; понимают люди, на свое несчастье, что он должен быть, и даже, наверное, ищут, но не находят. А смысл жизни — вот он, на ладони, да еще и прост, как мычание: воинствующее неприятие зла! Это, понятно, тяжело, даже мучительно тяжело — не сходя стоять на такой платформе, но для желающих, то есть для тех, которые бьются, это выход...

— Смысл жизни — выдумка чисто русская; мы его выдумали по той же самой причине, по какой азиаты выдумали буддизм, — надо полагать, от нехватки предметов первой необходимости. Вот одиннадцать двенадцатых населения земного шара ни о каком смысле жизни слыхом не слыхивали и, поверь мне, прекрасно себя чувствуют!

— Я даже на одну двенадцатую согласен. Так вот для нее воинствующее неприятие зла есть безусловный выход из положения, потому что каждый на своем месте будет в некотором роде Александром Македонским и ему покорится мир. Покорится же он по следующей причине: поскольку огромное большинство людей не делает зла, по крайней мере способно его не делать, поскольку какой-то части населения по силам воинствующее неприятие зла, да я еще разработаю медикаментозную методику лечения подлецов, то зло и неодушевленность в скором времени будут неизбежно истреблены!

— Идеалист ты, Никита, злостный идеалист!

— Ну хорошо, что идеалистического ты, например, видишь в медикаментозном лечении подлецов?

— О своих дурацких таблетках ты даже не заикайся! Мало того что это смешнее перпетуум-мобиле, ты еще себе таких неприятностей наживешь, что тебе будет ни до чего. Я же тебе, кажется, рассказывал историю про то, как одного гениального мужика сожрал один научно-исследовательский институт, сожрал, фигурально выражаясь, прямо с ботинками и даже не поперхнулся, а все потому, что тот мужик в одиночку выполнил всю их научно-исследовательскую пятилетку.

— Нет, эту историю ты мне не рассказывал.

— Ну так пожалуйста, расскажу...

В дверь постучали, потом она приоткрылась наполовину, и в проеме показалась Митина голова.

— Никита Иванович,— сказал Митя,— давайте держать совет.

— А что такое? — спросил Белоцветов.

— Да вот только что принесли телеграмму для нашей Пумпянской, я уже и бумажку почтовую подписал.

— И что в телеграмме? — в один голос воскликнули Чинариков с Белоцветовым.

— Откуда же я знаю! Я поэтому и предлагаю держать совет: что нам делать-то с телеграммой, то есть открывать ее или не открывать?

Белоцветов взял у Дмитрия телеграмму, надорвал бумажный обрезок, склеивавший бланк, развернул его и прочел: «Скорблю дорогой покойнице. Зинаида».

— Вот это да! — прошептал Чинариков.

— Час от часу не легче! — с чувством сказал Белоцветов.

— Стрёмный текст,— согласился Митя и помрачнел.

С полминуты все трое молчали, а затем Белоцветов предъявил кое-какие предположения.

— Я думаю,— сказал он,— что эту телеграмму можно трояким образом понимать. Либо убийца издевательски сообщает о свершившемся преступлении. Либо какой-то таинственный свидетель намекает на трагедию, которая произошла на его глазах. Либо некая простодушная родственница случайно узнала о смерти Пумпянской и не замедлила выразить свои чувства.

Митя добавил:

— Но, главное, интересно ужасно: кто такая эта самая Зинаида?

Чинариков ответил:

— Это покрыто мраком.

— Ну почему... — возразил ему Белоцветов.— Достаточно пойти на почту, выяснить адрес отправителя телеграммы, и мы, по крайней мере, выясним, кто такая эта самая Зинаида.

В общем, решили так: Митя с Чинариковым звонят в бюро несчастных случаев и в больницы, а Белоцветов отправляется на почту и выясняет адрес отправителя телеграммы.

Это решение было принято что-то часу в седьмом.

Если описывать дальнейшие события той субботы сообразно законам жизни, то нужно будет описать, как Белоцветов околачивался на почте, потом долго шел до станции метро «Площадь Ногина» и что за виды ему встретились по пути, какие попались ему на глаза одежды и физиономии, о чем он размышлял дорогой, притом что дорогой он размышлял, в частности, о таких легковесных вещах, как закономерности ценообразования, и, значит, в строгом смысле этого слова не размышлял; затем нужно описывать, как он менял пятиалтынный на пятаки, спускался на эскалаторе, опять же наблюдал одежды и физиономии, как потом он сел в голубой вагон, заметив про себя, что это бывший жандармский цвет, и кстати припомнил строки: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...» — как он ехал в вагоне до станции «Проспект Мира», с кем встречался глазами, сидел или стоял, а если стоял, то на проходе или же в уголке, и какие обрывки каких разговоров до него тем временем долетали...

Литература, как уже отмечалось, не любит этих подробностей. Она сразу, как говорится, берет быка за рога, предварительно просеивая реальность и отметая все то, что не соответствует какому-то ее основному строительному закону, либо сообразно ему превращает всякое действие, предмет и фразу; скажем, литература не может принять вполне жизненную фразу: *«Зачем вы стулья-то ломаете, не пойму?! Вот, тоже, народ: придет и сразу начинает стулья ломать, как будто их для того и поставили, чтобы все, кому не лень, ломали их на дрова. И ведь ни одной собаке в голову не придет, что стул-то казенный и, значит, ломая его на дрова, ты причиняешь убыток своей отчизне. Нет: придут и принимают ломать стулья, как будто больше заняться нечем...»* — а непременно выжмет ее до состояния образа: *«Да, зачем же стулья-то ломать, господа, казне ведь убыток! — весело закричал Порфирий Петрович. То есть налицо некий закон, который укрощает жизнь или, может быть, усложняет жизнь до степени литературы, как народное чувство истины укрощает философские учения или, может быть, усложняет философские учения до степени поговорок.*

Природа основного строительного закона литературы неизъяснима, так как в основе его лежит худо-

жественный талант, а он — глухая величина, которая, возможно, не будет разгадана никогда, но даже если нащупать какие-то отдельные ее силы, то это уже будет приобретение, маленькая победа. Первое, что приходит на ум: поскольку литература — это то, что как ей угодно кромсает и переиначивает бытие, исходя исключительно из каприза художественного таланта, то, следовательно, художественный талант есть, в частности, способность как угодно кромсать и переиначивать бытие. Для начала из этого вытекает, что всякий, кто пером замахивается на жизнь, — уже в той или иной степени художественный талант, даже притом, что это у него получается, как у совсем маленьких детей, которые замахиваются деланно и неловко. Во-вторых, вытекает то, что если жизнь в чистом виде настырно переносится на бумагу, если вообще возникают трудности с укрощением ее до состояния литературы, то просто-напросто нужно как можно больше подробностей сокращать.

Посему опускаем подробности белоцветовских походов и берем быка за рога уже в тот момент, когда Белоцветов вошел в комнату Василия Чинарикова и сказал...

Нет, сначала нужно комнату описать. Комната Чинарикова была замечательна тем, что тут находилось множество полезных и красивых вещей, подобранных на помойке, а именно: канапе с причудливой спинкой и подозрительными разводами по обивке, гипсовый бюст поэта Апухтина, несколько аккуратно склеенных фарфоровых чашек с портретами маршалов Бонапарта, бронзовый канделябр, изображавший три грации с факелами в руках, два кресла красного дерева, одно обитое кожей, другое — вытершимся штофом голубоватого цвета, какая-то деталь, вероятно иконостаса, резная, покрытая позолотой, которая была прилажена на стене, ломберный стол с наборной столешницей, ковер, когда-то, видимо, дорогой, но совершенно побитый молью. На стенах, кроме детали иконостаса, висело несколько книжных полок, сплошь заставленных энциклопедией Брокгауза и Ефрона, вышивка под стеклом и ростовой портрет Эрнеста Хемингуэя.

Итак, Белоцветов вошел в эту комнату и сказал:

— Слушай, Василий, ты, случайно, по отчеству не Петрович?

— Петрович, — сказал Василий.

— Так! Великолепно! Просто великолепно!

— Что великолепно-то?

— Ничего. Ты звонил в бюро несчастных случаев и в больницы?

— Звонил. За весь вчерашний день в Москве произошло всего четыре несчастных случая: один мужик сгорел от собственной сигареты, один ребенок попал под автомобиль и две девушки выбросились из окошка; никогда бы не подумал, что в таком громадном городе происходит так мало невыдуманных несчастий. В больницах нашей старухи нет.

— Значит, все-таки либо просто похищение, либо похищение и убийство.

— Похоже, что так и есть. Ну а тебя с чем можно поздравить?

Белоцветов внимательно-внимательно посмотрел Чинарикову в глаза и затем словно нехотя поведал ему о том, что на почте ему дали адрес некой Зинаиды Никитичны Кузнецовой, она оказалась крестной дочерью патриарха Сергея Владимировича Пумпянского, у которого как раз вчера была годовщина смерти, и по этому случаю Кузнецова послала его дочери телеграмму, что она вообще аккуратно делала последние сорок лет.

— Стало быть, пресловутая Зинаида,— сказал Чинариков,— положительно ни при чем. Это жаль.

— Почему жаль? — спросил Белоцветов немного зло.

— Потому что это была ниточка, а теперь мы попрежнему на бобах.

— Вместо этой ниточки нашлась целая веревочка.

— Например? — спросил Чинариков с каким-то нервным, во всяком случае повышенным интересом.

— Например...— заговорил Белоцветов и вдруг сделал недобрую паузу.— Например, я вышел на некоего Алексея Саранцева, внучатого племянника нашей Пумпянской, а он в высшей степени подозрительный мужичок. Почему? Во-первых, потому, что он единственный и, так сказать, на безрыбье прямой наследник...— В этом месте Белоцветов опять сделал паузу и вперился в чинариковское лицо, но оно ничего такого не показало.— Во-вторых, он нигде не работает, и поэтому наследство ему было бы очень кстати. В-третьих, он большой, по-моему, хитрован. В-четвертых, он когда-то интересовался генеалогией, а это тоже ни о чем хорошем не говорит. Между прочим... хотя нет, между прочим — это потом.

— А пресловутая Зинаида, значит, чиста,— свернул Чинариков на свое.

— Да, если не брать в расчет, что она почему-то слишком, то есть подозрительно хорошо, информирована о ценностях, которые имеются в комнате Пумпянской. Но то, что она сорок лет посылала Пумпянской телеграммы насчет покойника — это факт.

— Стало быть, кто у нас остается на подозрении?

— А все!

— Как это все?

— Так, все,— со скучающим видом сказал ему Белоцветов.— Потому что, кого ни возьми, всем было выгодно переселение Пумпянской, что называется, в мир иной.

— Например?

— Например, Фондервякину, Валенчику, Капитоновой вместе с Митькой это было выгодно потому, что им на руку всякая освобождающаяся жилплощадь. Я даже Петьку Голову взял бы на подозрение, поскольку, во-первых, в ту самую ночь, когда исчезла наша старуха, он зачем-то сидел на горшке посреди кухни и демонстративно читал газету, а во-вторых, потому, что он способен на осмысленное злодейство.

Чинариков возразил:

— Осмысленное злодейство — это когда злодеяние чем-то выгодно, по крайней мере, бесполезно. А какой Петьке прок оттого, что он вымазал тебе дверную ручку какой-то дрянью?

— Сейчас ему делать мне пакости проку нет, а послезавтра из них может сложиться какой-то желаемый результат, то есть Петька мне гадил как бы трансцендентально, но, возможно, с самой материалистической сверхзадачей. И даже пускай будет так: налицо бессмысленное злодейство, но ведь это еще хуже, ибо загадочней, непонятней. Хотя, наверное, всякое зло отчасти трансцендентально, потому что человек вышел из природы, а в природе зла и в заводе нет.

— Как это нет? — возмутился Чинариков.— А плотоядность, а закон джунглей, а вырождение видов?

— Так ведь это какое зло? Естественное, я бы даже сказал, механическое, как смерть. Такое зло в природе, конечно, есть, и его, конечно, унаследовал человек, но это как раз необходимое зло, которое через борьбу противоположностей обеспечивает вечное движение к идеалу. Но ведь мы знаем еще и противоестественное

зло, которого не знает природа, зло, если можно так выразиться, выдуманное человечеством, какое-то нажитое! Согласись, что ворон ворону глаз не выклюет, что бодливой корове бог рог не дает, что, наконец, царь зверей — лев никогда не задушит ягненка, если он сыт. А человек задушит! Смерть, голод, супружеские измены — это еще туда-сюда, это нормально, ибо неизбежно и необходимо, но доносы, национал-социализм, дело студента Иванова — это-то чему прикажете приписать? Словом, я хочу сказать, что люди как-то нажили себе на голову то самое искусственное, самодельное зло, которое бессмысленно до трансцендентальности. Поэтому изжить его возможно и необходимо, как бубонную чуму или единовластие.

— Логика твоя, профессор, разумеется, брэнная, и брэнность ее объясняется тем, что танцуешь ты не от печки. Первая твоя ошибка: в природе добра нет, а не зла, потому что добро в строительном смысле неконструктивно, а зла, наоборот, девать некуда, причем зла самого, так сказать, праздного, неприкладного, даже декоративного. Вот тебе примеры: киты ни с того ни с сего выбрасываются на сушу, генетический код может нести в себе раковую составную, хотя он так и так ориентирован на смерть, страшными болезнями болеют обыкновенные сизари, про которых даже таксисты говорят, что они недохнут, а умирают. Ну, раковая составная — это еще ладно, но сизари-то зачем болеют? Короче говоря, бессмысленного зла в природе предостаточно, а добра вообще никакого нет, в принципе нет, как в химической формуле воды нет китайского иероглифа... Между прочим, ты бы сел, чего стоишь как пень...

Белоцветов сел в кресло, обитое кожей; он сел и сказал:

— И все-таки ты не прав. Добро в природе есть, только диапазон его очень узок. Спенсер даже придумал понятие: этика животных, которая у высших млекопитающих выливается в то, что они, например, метят свою территорию, а самцу послабее достаточно всего-навсего дать понять, что он послабее, и он сразу уступит самку. Просто этика животных и добро в человеческом понимании этого слова соотносятся, как хорда и позвоночник.

— В том-то все и дело, что эта самая спенсеровская этика — антиэтика, потому что она просто-напросто обеспечивает исполнение закона джунглей; она есть

формальное добро, посредством которого отправляется совсем неформальное зло вроде того, как в свое время средневековое правосудие из лучших побуждений отправляло на костер всяких там ведьм, анатомов, чернокнижников и так далее. Теперь вторая твоя ошибка: не зло трансцендентально — оно-то как раз очень даже нацелено и понятно,— а именно что добро. Это следует, в частности, из того, что добро бессмысленно с точки зрения личности, поскольку в лучшем случае оно бесполезно, а в худшем себе во вред. Вот, предположим, если человек отрубит себе кисти рук, чтобы не иметь возможности дать пощечину,— это будет трансцендентально? Конечно, трансцендентально! Что, собственно, и требовалось доказать. А доказать, как ты понимаешь, требовалось то, что зло в природе вещей, а добро — это выдумка побродяжек из Иудеи.

— Это все в какой-то степени справедливо,— согласился Белоцветов,— но ты не берешь в расчет, что человек вышел из природы, как курица из яйца, точнее будет выразиться, ушел от природы, как курица от яйца. Отсюда такая аллегория: яйцо — это зло, а курица — то, что выдумали побродяжки из Иудеи.

— Я предлагаю другую аллегория: вот если бы среди волков завелся такой сумасшедший волк, который ел бы сено через «не могу», нарочито дружил с зайцами и шел бы с тоски под егерские стволы, то это и был бы так называемый хомо сапиенс. Человек есть особая, возвышенная форма сумасшествия природы и более ничего.

— Что-то запутались мы с тобой,— несколько смешавшись, сказал Белоцветов и прошелся по лбу ладонью.— Давай-ка сначала. Значит, так: человечество выросло из природы — это, кажется, не вопрос.

— Не вопрос,— согласился Чинариков, но как-то настороженно согласился.

— А теперь вопрос: человечество есть все-таки цель природы или оно такой же закономерно-случайный продукт эволюции, как все прочее живое и неживое?

— Спроси чего полегче,— с грустью ответил Чинариков и потянулся за папиросой.— С одной стороны, похоже, конечно, что человек был как-то запрограммирован изначально, то есть если он в конце концов родился, то, значит, он был запрограммирован изначально. Но с другой стороны, выходит, что человек — закономерно-случайный, а может быть, какой-то промежуточный результат, поскольку сомнительно, чтобы



природа специально запрограммировала такое бестолковое и даже враждебное существо, которое способно запросто уничтожить ее самое,— это, конечно, бред.

— Промежуточный результат я беру на заметку, а пока делаю следующее заявление: видимо, род человеческий развивался не только программно, но и, так сказать, запрограммно, исходя уже собственно из себя. Ведь, положим, у четы Шикльгрубер был запрограммирован обыкновенный немецкий Адольфик, а в конечном итоге реализовался исторический людоед. Словом, бестолковость и склонность к самоуничтожению — это еще не резон. Природа просто могла воспитывать человечество до определенного возраста, а потом с определенным багажом проводить его из гнезда. Другое дело, что если природа вывела человечество, то это зачем-то ей понадобилось — а зачем?!

Чинариков лениво пожал плечами.

— Скорее всего человек понадобился природе затем,— сам себе начал отвечать Белоцветов,— что природа не сознает собственное бытие, затем, что человек для нее есть единственная форма самосознания.

— Ну и что из этого вытекает?

— А черт его знает, что из этого вытекает! — признал Белоцветов самым добродушным образом, поднялся с кресла, несколько раз прошелся по комнате взад-вперед, потом уселся на канапе и положил ногу на ногу.— Просто природа в конце концов вылилась в человеческое сознание, вот и все. И если мы на вопрос, зачем она это сделала, найдем недвусмысленное «затем», мы вообще ответим на все вопросы. Хотя зачем, например, природе понадобилось великое оледенение? А затем! Понадобилось, и точка! Достаточно будет и того, что разуму очевидно: человек — это слишком стратегический результат, чтобы он мог вылиться из инфузории ни за чем.

— Ну хорошо,— сказал Чинариков, выпуская из ноздрей сизые струи дыма,— вот мы нашли, положим, недвусмысленное «затем» на твое «зачем», положим, мы решили, что человек, то есть совершенный человек, это конечная цель природы,— а где же ответы на все вопросы? Вообще какое отношение все это имеет к противоборству добра и зла?

— Самое прямое! — решительно сказал Белоцветов.— Если человек — закономерная случайность, то с него взятки гладки, а если он конечная цель природы,

то, спрашивается, на кой черт природе понадобилось столько лишних безобразий, злодеяния, неразберихи? И неужели две мировые войны, например, — это обязательное условие совершенства? Разве что человек действительно какой-то промежуточный результат, собственно, не человек еще, а околочеловек. Это очень может быть, что так называемый хомо сапиенс — не более как звено, или, если угодно, полуфабрикат, а конечный продукт, задуманный природой, — это какой-нибудь хомо хуманис, то есть человек человеческий, действительно что-то возвышенное, прямо-таки неземное. Словом, то бедовое обстоятельство, что человечество сейчас состоит главным образом из прохиндеев и дураков, вовсе не отрицает предположения, что человек был задуман как именно венец, как именно совершенство. Если, конечно, он был задуман. Ну так как мы с тобой решим: задуман он был или же не задуман?

— Ну, пускай будет задуман, — нехотя согласился Чинариков и вздохнул.

— И пускай даже не задуман, пускай даже человечество — тупиковая ветвь развития, это все решительно чепуха, потому что последние две тысячи лет человек эволюционирует не по законам природы, а по законам своего рода, исходя из идеи личности. Если же миллионы разумных существ неукоснительно действуют целесообразно какой-то идее, пускай самой искусственной и вздорной, то она становится действительностью, законом природы, источником эволюции.

— Что еще за идея личности? — недовольным тоном спросил Чинариков.

— Это очень туманная идея, вот гляди сам... Сначала зверь, или, лучше сказать, проточеловек был вооружен против мира только некоторым знанием, этикой животных и механическим злом, которые он аккуратнo передал по наследству наряду с волосатостью и клыками, потому что на первых порах только зло обеспечивало выживание, то есть еду, безопасность, самку. Но потом количество «знаю» как-то выросло в качество «соображаю», а этика животных как-то трансформировалась в добро. Что касается равенства «знаю — соображаю», то тут все более или менее ясно, и уже потому хотя бы, что «ежели зайца бить, то он спички может зажигать». Но вот каким образом этика животных стала добром — это большой секрет. Впрочем, может быть, что добром она стала именно через «соображаю». Ведь не так уж мудрено

было проточеловеку сообразить, что выживание ему обеспечивает не только механическое зло, которое представляет собой все-таки какое-то целенаправленное деление, но и добро, точнее будет сказать, преддобро, которое представляет собой выгодное неделение. Потому что ведь не убей, не изувечь, не укради у сородича последний кусок — это выгодное неделение, то есть нечто такое, что также обеспечивает выживание, но только без хлопот, совершенно даром. Вот примерно таким манером из абсолютного зла могло выделиться относительное добро.

— Это, профессор, уже какой-то оголтелый материализм,— сказал Чинариков,— а впрочем, вопрос не в том. Вопрос остается прежним: что же идея личности?

— Сейчас будет идея личности,— ответил Белоцветов и сделал предупредительный знак рукой.— Итак, похоже на то, что зло первично как материя, добро же вторично как сознание, а вовсе не наоборот. Именно что сначала было никакое не слово, а простейшее зло, которое лило воду на мельницу эволюции, прости за идольский оборот. Именно что не ангел опустился до дьявола, а дьявол ангелизировался, так сказать. Именно, что, вкусив от древа познания, Адам с Евой возвысились, а не пали, хотя это возвышение дорого стоило их потомкам. Именно что не Каин был первоубийцей, но Авель первым альтруистом, причем альтруистом из самых простецких соображений, поскольку для того, чтобы предупредить покушение Каина, нужно было искать дубину. Но сейчас не об этом речь; сейчас речь о том, что много тысяч лет тому назад из зла как-то вылупилось добро. Но вот тут начинается самое темное место: зверь полюбил добро. Наверное, он полюбил его потому, что изредка становился его объектом. А полюбив добро, наш зверь полюбил себя, ибо, будучи объектом неукротимого зла, себя можно только ненавидеть и презирать, в то время как, будучи объектом добра, не полюбить себя попросту невозможно. Вот тут-то в звере и проклюнулся человек, даже, точнее сказать, личность, поскольку любящее себя осознает себя во времени и в пространстве, чем мы, собственно, и отличаемся от прочих дыханий мира. Стало быть, человек — это дитя добра. Отсюда и та сама идея личности, которой руководствуется эволюция человека: идея личности есть добро...

Ближе к финалу этого монолога, то есть в течение

последних полутора-двух минут Чинариков что-то пристально разглядывал правую белоцветовскую туфлю, и поэтому Белоцветов вынужден был прерваться; он прервался, немного помолчал, а затем спросил:

— Ты чего это, Вась, разглядываешь мою обувь?

Чинариков ответил:

— У тебя на правом ботинке дырка.

— Где? — до забавного живо заинтересовался Белоцветов и тоже начал разглядывать свою туфлю.

— Да не здесь, а на подошве,— подсказал ему Чинариков,— у носка!

— Действительно дырка,— произнес Белоцветов, слегка поковырял ее пальцем и стал продолжать.— Ну так вот, дело кончилось тем, что из природы вышло, так сказать, двоякое существо; с одной стороны, это существо было носителем рационального зла, которое досталось ему в наследство от зверя, а с другой стороны — добра, качества еще неслыханного, надприродного, которое вылупилось из зла только по той причине, что человек прямоходящий начал соображать. Тут-то все и началось! Поскольку образовалось противостояние качеств совершенно нового уровня, то и дальнейшее развитие пошло уже на уровне совершенно ином, на уровне человеческой жизни и истории человечества, то есть тут-то все и началось: индугенция, самопожертвования, войны, толстовство, национал-социализм, супружеские измены. Но это по крайней мере понятно, потому что в человеке и человечестве заложено все, потому что сегодня я могу подобрать на улице бродячую кошку, а завтра украду у соседа веник, потому что огромное большинство людей суть люди не добрые и не злые, а одновременно и недобрые и незлые.

— Слушай, профессор,— перебил его Чинариков,— а не пора ли нам спать?..

— Погоди ты со своим спаньем! Ты лучше посмотри, какая получается ерунда: если человек есть носитель рационального зла, то что же заставляет его мазать дверные ручки какой-то дрянью?

— Опять двадцать пять! — лениво возмутился Чинариков.

— Нет, наверное, трансцендентальный злодей все же попросту сумасшедший, и его следует лечить как заурядного психопата.

На этих словах в чинариковскую комнату постучали. Чинариков с Белоцветовым переглянулись, как бы

спрашивая друг друга, кого это несет в такой поздний час, затем Василий сказал «войдите», дверь открылась, и на пороге показался участковый инспектор Рыбкин. Почему-то на Чинарикова его появление произвело такое сильное действие, что он резко поднялся из-за стола и при этом свалил на пол металлическую вазу с водой и совершенно высохшей веточкой иван-чая.

— Ну что, товарищи,— сказал Рыбкин,— теперь вы убедились, что торопиться нужно только при ловле блох?

— Не понял,— с мрачным выражением сказал Белоцветов.

— А чего тут особенно понимать — нашлась ваша старушка, вы тут мне истерики закатывали, а она нашлась.

— Вот это да! — воскликнул Чинариков.— А мы уже не знали, что и подумать. Спасибо вам, товарищ Рыбкин, за приятную информацию...

— Погодите, погодите,— остановил его Рыбкин.— Разве вы сами гражданку Пумпянскую не видели?

— Не видели...— сказал Белоцветов.— И вообще, с чего вы взяли, что наша старушенция объявилась?

— Вот это да,— проговорил теперь уже Рыбкин.— А я иду сегодня по черной лестнице часов так около десяти — это я ходил в двадцать вторую квартиру, потому что там у них опять приключилась драка,— и вдруг гляжу: у Пумпянской в комнате горит свет!.. Ну я и подумал, что старушка нашлась и зря некоторые товарищи закатывали истерики.

— А что мы, в самом деле, гадаем: нашлась старушка, не нашлась старушка...— сказал Чинариков.— Пойдемте поглядим!

Все трое вышли в коридор, наполнив засыпающую квартиру тревожным гулом шагов, и, явившись на кухню, остановились напротив комнаты Пумпянской, которую давеча опечатала разбитная девочка Вострякова; бумажка с печатью была на месте.

— Гм...— задумчиво промычал Рыбкин.

Затем он отколупнул бумажку и толкнул створку двери: увиделся черный квадрат воздуха, от которого пахло уже чем-то мертвенным, во всяком случае нежилым.

— Чудные дела твои, господи,— заметил Чинариков.— Не иначе как опять нас привидение посетило.

— Насчет привидений это вы бросьте,— назидательно

тельно сказал Рыбкин.— Какой, понимаете, субъективный идеализм!..

С этими словами он вступил в комнату Пумпянской, зажег свет и внимательно огляделся: все здесь было по-прежнему и вроде бы ничего не указывало на противозаконного посетителя; вообще такое складывалось впечатление, что комната Пумпянской пустовала не один год.

— Послушайте, лейтенант,— сказал Белоцветов,— а вы, случаем, не ошиблись?

— Ошибаться на ровном месте я права не имею,— ответил Рыбкин.— Иначе медный грош мне цена.

— Глядите-ка, товарищи! — воскликнул вдруг Чинариков и ткнул пальцем в пол.— Какой-то следок!..

Действительно, сантиметрах в двадцати — тридцати от порога неясственно отпечатались след ботинка.

— Может быть, в прошлый раз кто-нибудь натоптал,— несмело предположил Рыбкин.

— Очень может быть,— согласился Чинариков и остро посмотрел в глаза Белоцветову, как смотрят в тех случаях, когда собираются уличить.

— Честно говоря, не нравится мне все это,— с каким-то недобрым выражением сказал Рыбкин.

— Да уж чего хорошего,— подтвердил Белоцветов.— Ни с того ни с сего исчезает пожилая женщина, причем исчезает при достаточно загадочных обстоятельствах...

— Например? — спросил Рыбкин.

— Например, накануне исчезновения Пумпянской ей кто-то позвонил, но разговаривать отказался. Например, Петька Голова той ночью сидел в темной кухне на горшке и демонстративно читал газету. Например, наш сосед Фондервякин наутро после исчезновения Пумпянской был пьян как сапожник, а потом сказал ребятам из «скорой помощи», что без трупа не обойдется. В общем, скверная вырисовывается картина.

Все трое замолчали как бы в раздумье.

— Привет, ребята! — раздался вдруг голос у них за спиной, и все обернулись.

Посреди кухни стоял Лев Борисович Фондервякин, закутанный в полосатую простыню.

— Вы чего тут скопились-то на ночь глядя? — При этих словах Фондервякин игриво приклонил голову, и его лысина заблестала, как свежееотчеканенный пятак.

Никто ему не ответил.

— Я вот что думаю,— заговорил Фондервякин.— Это все не так просто, как может показаться с первого взгляда. Тут скорее всего какая-нибудь давняя история: положим, сотрудничество с нацистами или же связь с иностранной разведкой, которая решила аннулировать агентуру...

— Стыдитесь, поручик,— отозвался Чинариков.— Что вы несете-то, это уму непостижимо! Вы еще скажите, что у Пумпянской была связь с потусторонним миром!

— И скажу! Недаром Юлька Голова вчера видела привидение!

У кого-то в комнате радио пропикало полночь — это грянуло воскресенье.

### Часть третья ВОСКРЕСЕНЬЕ

#### 1

В шесть часов утра на кухню заглянул Фондервякин; заглянул он, имея в виду с кем-то поговорить о втором пришествии привидения, но кухня была пуста, и он отправился досыпать.

Около восьми, когда на дворе только-только начало развидняться и двенадцатая квартира еще видела легкие воскресные сны, Василий Чинариков зашел в комнату Белоцветова, присел на край дивана, толкнул хозяина кулаком в бок и сказал:

— Давай потолкуем начистоту.

Белоцветов открыл давно проснувшиеся глаза.

Чинариков раскурил свою вечную грубую папиросу, напустил пропасть дыма, который в полумраке белел, как пар, и спросил с ленцой, отдававшей в неприятное электричество:

— Ты зачем вчера был в комнате Пумпянской?

— А ты откуда знаешь, что я там был?

— Ладно, не придуривайся...

— Нет, а все-таки?

Чинариков самодовольно вздохнул.

— Самым пошлым образом я узнал, что ты тайно побывал в комнате у Пумпянской. Помнишь, когда вчера сюда пришел Рыбкин, я нечаянно опрокинул вазочку с иван-чаем?

— Ну, помню.

— Так вот на полу образовалась лужица, и ты в нее наступил.

— Что же дальше?

— А дальше вот что: твой мокрый след и тот подсохший след, который мы нашли в комнате у Пумпянской,— это следы одной и той же ноги. Дырка на правом ботинке в обоих случаях отпечаталась, то есть не отпечаталась, это тебя и разоблачило. А теперь говори: что тебе понадобилось в комнате старухи?

— Что бы мне у нее ни понадобилось, я чист, как младенец,— с достоинством сказал Белоцветов.— А вот за тебя, Василий, я бы не поручился.

— Это еще почему?

— Да потому, что ты Петрович!

— Ну, полный вперед!.. Ты, профессор, наверное, еще не проснулся.

Белоцветов сел, свесил голые ноги на пол, нащупал ими шлепанцы, поднялся, прошел к окну, поправляя сатиновые трусы, одним словом, нарочно повел себя так, чтобы убедить Чинарикова в том, что он-то как раз проснулся. Затем он сказал:

— Если бы я тебя не знал как облупленного, то есть если бы я не знал, что ты вполне здоровый и порядочный человек, я с тобой и разговаривать бы не стал. Но поскольку я это знаю, то даю тебе шанс либо покаяться, либо как-нибудь оправдаться. А теперь крепись...

Чинариков насторожился, даже, можно сказать, стухнул.

— Вчера мне стало известно, что ты, Василий, косвенный наследник нашей старухи. Ты ей дальний родственник, гражданин Чинариков, и только попробуй сказать, что это для тебя новости!

— Новости! — сказал Чинариков и слегка поперхнулся на последнем слоге.— И даже не то что новость, а просто ты меня, Никита, оглушил!

Две-три секунды Белоцветов смотрел Чинарикову в глаза таким сверхпристальным образом, точно выискивал в них хрусталик.

— Я правда не знал.

— Поклянись! — тяжело сказал Белоцветов.

— Поклянусь...

— Нет, ты чем-нибудь поклянись!

— Хорошо,— согласился Чинариков и несколько спал с лица.— Клянусь кровью, пролитой в окрестностях Кандагара.



Белоцветов потупился и сказал:

— Верю.

Некоторое время прошло в неловком молчании, и, чтобы снять излишнее напряжение, Белоцветов принялся одеваться. Приведя себя, как говорится, в божеский вид, он сделал следующее заявление:

— В свою очередь должен тебе сказать, что в комнату Пумпянской я проник для того, чтобы выяснить, точно ли Кузнецова сорок лет посылала нашей старухе скорбные телеграммы. И дернул черт Рыбкина попасть на наш этаж именно в это время!

— Это ладно,— отозвался Чинариков,— ты мне лучше расскажи, каким образом ты узнал, что мы родственники с Пумпянской.

— Помнишь, я тебе давеча говорил про Алексея Саранцева, который занимается изучением своего родового древа? Так вот он мне поведал: от его прапрабабки Вержбицкой и какого-то потомка военного министра Милютина пошла ветвь, которую Саранцев потерял на Петре Васильевиче Чинарикове, надо думать, твоим отце.

— Мать честная! — воскликнул Чинариков.— Так я еще, значит, и дворянин!

— Это еще что! — сказал Белоцветов.— Самое интересное, что, похоже, мы все кровные родственники, и даже не по одному разу. Идея, правда, старинная, даже, можно сказать, обмусоленная идея, но все-таки в другой раз чудно: положим, сидит в магазине за кассой какая-нибудь мегера, а на самом деле она никакая не мегера, а твоя четвероюродная сестра!

— Нехорошо, Никита, ох нехорошо! — сказал Чинариков, поматывая головой.

— Ты это о чем?

— Я о том, что Александра Сергеевна мне, может быть, пятиюродная тетка, а я ей за всю дорогу слова приветного не сказал...

— И правда нехорошо,— согласился с ним Белоцветов.

— Если старуху действительно ухаживали, то я пить-есть не буду, а найду преступника и своими руками ему голову оторву!

— Только сначала нужно его найти,— сказал Белоцветов, выкатывая глаза.— А у нас пока ни одной зацепки.

— Ну почему? Тайнственный телефонный звонок

был? Был. Фондервякин обещал покойника? Обещал. Кто-то побывал у нас накануне исчезновения Александры Сергеевны? Побывал! А ты говоришь, ни одной зацепки...

— Могу добавить еще одну, хотя это опять же весьма двусмысленная зацепка. Я когда проник в комнату Пумпянской, то сначала нашел в буфетном ящике сорок телеграмм насчет дорогого покойника, а потом заметил одну странную вещь: справа от буфета, в том месте, где стена у Пумпянской увешана фотографиями, зияло пустое место; оно именно зияло, то есть среди фотографий бросался в глаза квадратик свежих, невыгоревших обоев. О чем это говорит? Это говорит о том, что одну фотографию увели.

— Гм! — промычал Чинариков и схватился рукой за челюсть.

— Что это была за фотография, кому она могла понадобиться, увели ее до или после исчезновения Пумпянской — это, разумеется, неизвестно.

— А заманчиво было бы выяснить, по крайней мере, что на этой фотографии было изображено.

Белоцветов сказал:

— Согласен.

— Ты как хочешь, а интуиция мне подсказывает, что в этой фотографии все и дело.

— Во всяком случае, ее нужно держать в виду. Только вот какая получается петрушка: все наши зацепки не цепляются друг за друга. Вот давай припомним, как события развивались: утром в пятницу Пумпянская жаловалась на здоровье; потом ей кто-то позвонил, но разговаривать отказался; потом Юлия Голова увидела это дурацкое привидение и взбудоражила всю квартиру...

— Причем Александра Сергеевна, — вставил Чинариков, — через некоторое время появилась в коридоре и спросила, что случилось, на что Митька ответил: «Привидение завелось».

— А минут за десять до этого, — продолжал Белоцветов, — я побывал на кухне и застал там Петьку Голову, который сидел на горшке и как бы читал газету.

— Кстати, нет ли какой-то связи между появлением призрака и Петькиным сидением на горшке?

— Это вряд ли. А впрочем, с Петькой нужно будет поговорить. Так... А что было дальше? Значит, Юлия увидела привидение...

— С ней тоже нужно будет поговорить,— вставил Чинариков.

— Обязательно. Увидела привидение, закричала, и весь наш муравейник высыпал в коридор.

— В заключение Александра Сергеевна ходила выключать свет — это я слышал собственными ушами.

— Все?

— Все...

Белоцветов в раздумье два раза прошелся от окна к двери, потом остановился посреди комнаты, взялся за переносицу и сказал:

— Ничего не понятно! Просто Пумпянская как в воздухе растворилась! Не знаю, как у тебя, Василий,— у меня версий нет.

— А что, если дело было так: кто-то из наших уколошил Александру Сергеевну, посреди ночи вывез потихоньку тело и где-нибудь закопал?.. Тогда остается только выяснить, кто из наших на такое способен, и дело в шляпе.

— А телефонный звонок? Ведь яснее ясного, что кто-то проверял, дома Пумпянская или нет.

— Хорошо, кто-то из чужих проник в квартиру посреди ночи, уколошил Александру Сергеевну, вывез тело и где-нибудь закопал.

— А привидение? Привидение-то к чему прикажете приобщить?

— Ну, привидение тут, может, и ни при чем. Ведь оно же Юльке одной явилось, да и явилось ли, или Юлька попросту полоумная — это еще вопрос. Короче говоря, профессор, у нас с тобой остается единственный ход, а именно: выясняем, кто из наших, а также известных нам не наших способен на кровавое преступление, и выжимаем из него явку с повинной.

— Это невозможно по двум причинам. Первая: из не наших мы знаем только Саранцева и Кузнецову, а может быть, есть какой-нибудь Иван Иванович Душкин, который нашу старуху и уколошил. Вторая: на кровавое преступление, по идее, способен каждый. Уж на что, кажется, я безвредное существо, а и то чувствую за собой, так сказать, убийственную потенцию. А какие в другой раз мысли приходят в голову!.. Если бы ты, Василий, знал, какие мне другой раз мысли приходят в голову, то бы со мной здраваться перестал.

— Мысли — это одно, а дело — совсем другое,—

произнес Чинариков и застеснялся обиходности своих слов.

— А дело-то как раз в том, что сидит в нас зверь, ох сидит!

— Ну, не знаю,— сказал Чинариков.— Я, после того как побывал «за речкой» и посмотрел на войну, какие они бывают, муху и ту прибить не могу. Потому что, Никита, я такое видел, что в добрые времена человеку видеть не полагается.

— Нет, конечно, в ком-то зверь сидит, в ком-то посживает, а в ком-то от него только дух остался. Но за редчайшими исключениями звериный дух присутствует во всяком здоровом теле, а иначе и быть не может, потому что родила нас фауна, даже флора, и два миллиона лет — это не срок, чтобы из инфузории-туфельки развилось богоподобное существо. Со временем звериный дух из нас выветрится, конечно, но нынешнее поколение советских людей до этого праздника много не доживет.

— Счастливый ты человек, Никита,— сказал Чинариков и протяжно вздохнул.— Тут в двух шагах от тебя злодейски убивают безвинных старушек, в трех шагах от Кремля можно встретить избитую женщину в разных ботинках, за стеной живет юный неандерталец в лице Митьки Началова, а ты развиваешь оптимистические теории...

— Да с чего ты взял, что Митька неандерталец? Ты с ним хоть раз по душам-то поговорил?

— Не о чем мне с ним говорить,— пробурчал Чинариков,— у него одни глупости на уме.

— Откуда мы с тобой знаем, что у него на уме; может быть, у него как раз марксистско-ленинская философия на уме?

Чинариков нехорошо улыбнулся и предложил:

— Это можно легко проверить. Давай пойдем к нему и спросим: «А скажи-ка, братец, что у тебя на уме?»

На лице у Белоцветова проскочила легкая нерешительность, но в следующее мгновение он согласно кивнул Чинарикову, и они вышли из комнаты в коридор.

Поскольку в двенадцатой квартире Пумпянская испокон веков отвечала за электричество, никто из жильцов не удосужился зажечь свет, и в коридоре было темно, как зимним утром, часу в девятом. Возле входной двери, ближе к старинному зеркалу, стояла тень, достаточно приметная в полумраке, потому что она была намного его темней.

Увидев тень, Чинариков с Белоцветовым оторопели, и оба застыли в неловких позах. Прошло, может быть, с полминуты, прежде чем Чинариков взял себя в руки и спросил — не то чтобы своим голосом:

— Вы кто будете-то, товарищ?..

— Я? — переспросила тень вполне по-земному.— Ну, положим, Душкин Иван Иванович. Еще вопросы есть?

Чинариков сказал:

— Есть.

## 2

Примерно в то время, как Белоцветов с Чинариковым договорились до идеи всечеловеческого родства, двенадцатая квартира мало-помалу начала просыпаться. Зашумела вода в ванной комнате и туалете, бодро загремела на кухне посуда, слышались шаги, кашель, поскрипывание дверей. Когда в стороне Солянки над кособокими крышами взошло солнце и ударило в окна светом нежно-розового оттенка, какой бывает на шляпках у сыроежек, в кухне уже присутствовали Лев Борисович Фондервякин, который, пристроившись у окна, пил молоко из синей кружки с золотым ободком, почему-то прозванной им бокалом, Генрих Валенчик, который лепил какие-то особенные пельмени, Вера Валенчик, которая за ним наблюдала, Анна Олеговна Капитонова, которая жарила яичницу у плиты, Митя Началов, который не делал решительно ничего, и Юлия Голова, которая курила, сидя на табурете.

Фондервякин ни с того ни с сего сказал:

— А чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов — филателист.

— Ну и что? — спросила его Юлия Голова.

— Ничего. Просто филателист.

— Я буду искренне говорить,— вступил в разговор Валенчик,— по мне, что филателия, что шахматы — все едино. Я что имею в виду? Я имею в виду, что чемпион мира по шахматам с гуманистической точки зрения — это то же самое, что чемпион мира по стоянию на башке. А с ним носятся как я не знаю с чем, как французы с Наполеоном. Вот, скажем, петух — тоже интересная игра, но вы представляете себе чемпиона мира по петуху, с которым все носились бы, как французы с Наполеоном?

— Все-таки, Генрих, дикий ты человек! — провозгласил Фондервякин. — Ведь шахматы — это не просто игра, это, так сказать, умственное искусство.

— Искусство я попрошу не трогать, — нервно сказал Валенчик.

— Ты, Генрих, только, ради бога, не волнуйся, — сказала Вера. — А то на тебе лица нет.

— Ну почему? — вступил Митя. — Очень даже есть, и не просто лицо, а лик. Вы, Генрих Иванович, когда сердитесь, то у вас делается прямо царственное лицо.

Генрих Валенчик расслабился и сказал:

— Ты знаешь, Дмитрий, мне тоже иногда кажется, что лицо у меня необычное, какое-то не такое. Особенно если сравнивать со старорежимными физиономиями, так сказать, царской еще чеканки. Вот видел я вчера у Петьки фотокарточку какого-то допотопного мужика — ну, олигофрен по сравнению со мною, полный олигофрен!

— Погодите, Генрих Иванович, — заинтересованно сказал Митя, — о какой это фотокарточке вы говорите?

— Повторяю: обыкновенная фотокарточка, на ней — мужик в форме, а физиономия, как говорится, кирпича просит. Она еще была порвана на четыре части и скотчем склеена кое-как...

Как раз в эту минуту Чинариков с Белоцветовым увидели в темной прихожей тень.

Чинариков спросил странного посетителя:

— А как ты, Ваня, сюда попал?

— Так я же первостатейный слесарь, — лукаво ответил тот, — передо мной все двери открыты, как перед псней.

Глаз уже приноровился несколько к темноте, и Белоцветов узнал давешнего слесаря, который взламывал дверь Пумпянской.

— Я вам звонил, звонил, ни одна собака не отпирает! — добавил слесарь. — Пришлось употребить свое редкостное искусство...

— А сколько ты раз звонил? — спросил его Чинариков и выразительно кивнул Белоцветову.

— Двадцать четыре раза по три звонка.

— Тогда понятно. Три звонка — это Пумпянской, у прочих на три звонка ухо не реагирует, как, скажем, на ультразвук.

— Будем иметь в виду. Ну, я пошел смотреть освободившуюся жилплощадь.

— А на каких это основаниях? — остановил его Белоцветов.

— Официально оснований нет никаких, но если комната мне понравится, я с вами, товарищи, проживу. Еще вопросы есть?

Белоцветов с Чинариковым промолчали, а слесарь равнодушно прошел между ними и скрылся за поворотом.

— Фантастика какая-то, честное слово! — прошептал на одном выдохе Белоцветов.— И как только я этого слесаря вычислил, не пойму. Ведь я с полчаса тому назад так, помнится, и сказал: «...а может быть, есть какой-нибудь Иван Иванович Душкин, который нашу старуху и укукошил!» Ты тоже хорош, ну почему ты мне не открыл, что у вас в ЖЭКе имеется такой слесарь?

— А я и не знал, что он Душкин Иван Иванович! Его у нас все попросту называют: слесарь Ваня и слесарь Ваня...

— Нет, ну я-то каков провидец! — сказал Белоцветов, блестя глазами.— Прямо в самое яблочко угодил! И ты знаешь, что я тебе скажу: он нашу старушку и укукошил. Отпер отмычкой входную дверь, проник в комнату Александры Сергеевны, ткнул ее по темечку чем-нибудь и через черную лестницу уволок...

— Только в тот вечер он приходил дважды,— поправил Чинариков.— Сначала он столкнулся с Юлькой и дал, наверное, стрекача, а чуть позже явился снова.

— В общем, если Юлия его разглядела и ее описание совпадет с приметам Душкина, то, значит, он Пумпянскую и убил!..

Чинариков постучал указательным пальцем в дверь Юлии Головы. Приглашения не последовало, но они вошли.

В комнате, убранной на современную ногу, то есть украшенной очень большим ковром, занимавшим почти всю торцовую стену, напольной лампой под шелковым абажуром, двумя низкими креслами на колесиках и того рода твердой мебелью, в которой есть что-то антигуманное, канцелярское, во всяком случае слишком геометрическое, хозяйки они не застали, а застали всю квартирную молодежь. Петр Голова был привязан бумажным кордом к ножке стола и смотрел исподлобья, на шее у него почему-то висело легкое махровое полотенце. Напротив Петра спиной к двери сидели на стульях Любовь и Митя.

— Краснознаменное воспитание,— говорил Митя.

— И откуда что берется,— поддакивала Любовь.— Ну ты, давай отвечай, когда старшие тебя спрашивают! Петр одухотворенно молчал.

— Чего это вы тут делаете, ребята? — спросил компанию Белоцветов.

Митя с Любовью обернулись на голос и одинаково улыбнулись.

— Они меня пытаются,— сердито объяснил Петр.

Чинариков попросил показать, как именно это делается, и Митя с готовностью показал: затянул рот Петру полотенцем, и у мальчишки сразу выкатились глаза.

— Это называется «воздух по карточкам»,— прокомментировала Любовь.

— Ничего себе у вас игры! — проговорил Чинариков и помотал задумчиво головой.

— Послушай, Василий,— сказал ему Белоцветов,— а ведь мы с тобой собирались о чем-то Дмитрия расспросить.

— Мы собирались спросить, что у него на уме.

— Вот именно. А скажи-ка, брат Дмитрий, что у тебя на уме?

Этот вопрос произвел на Митю Началова неприятное впечатление — лицо его как-то осунулось, губы сжались, глаза загорелись было, но сразу начали затухать.

Чинариков попытался ответить вместо него:

— Судя по забавам, марксистско-ленинской философией тут не пахнет.

— Ну почему же,— возразил Митя,— я нашу теорию разделяю. Теоретически я совершенно согласен с тем, что наживаться на чужом труде — это безобразие, что бытие определяет сознание, что построение коммунистического общества — вопрос времени, что мир познаваем, а бога нет.

Белоцветов сказал:

— С теорией все в порядке. А с практикой как нам быть?

— На практике дело обстоит так,— ответил Митя, растягивая слова,— жизнь — это одно, а философия — это совсем другое.

— А ты, Митька, циник! — с чувством сказал Чинариков.

— Я не циник, я просто трезво смотрю на вещи.

— Погоди, Дмитрий,— заговорил Белоцветов.— А что же великая русская литература? Неужели и она тоже — это... совсем другое?



— Великая русская литература, Никита Иванович,— это просто-напросто вредное чтение, особенно в начале жизненного пути.

— Ну ты даешь! — воскликнул в изумлении Белоцветов.

— Понимаете, какое дело,— задумчиво сказал Митя,— великая русская литература — это великая обманщица молодежи, потому что она настраивает и мобилизует на такую жизнь, которой просто не может быть. В результате получается, что если я буду жить по примеру, скажем, Пьера Безухова, то мне в скором времени нечего будет есть.

— Да...— выговорил Белоцветов.— Невысокого ты, Дмитрий, мнения о нашей жизни.

— Ну почему,— как-то нехотя сказал Митя,— жизнь как жизнь, нормальная жизнь...

— Ты в нее еще попросту не врубился,— заметил Чинариков,— вот в чем дело.

— Вот именно,— подтвердил Белоцветов.— Нет, то прискорбное обстоятельство, что честь и совесть на Руси вот-вот изведут, как стеллерову корову,— это, как говорится, факт. И тем не менее, милый Митя, у нас такая удивительная страна, что в другой раз шагу нельзя ступить, чтобы с Пьером Безуховым не столкнуться. Я не знаю, почему у нас так сложилось, но это тоже факт, факт тонизирующий, бодрящий. Может быть, величайшая загадка нашей жизни состоит как раз в том, что она — прекрасная гадость, или, если угодно, мучительное наслаждение. То есть, с одной стороны, вроде бы жизни нет от случайных несчастий, мерзавцев и дураков, а глядь — за стенкой выдумывают теорию всеобщего благоденствия, кто-то последние штаны высылает в район стихийного бедствия, кто-то над стихами сидит и плачет, а то просто подойдет к тебе прекрасная женщина и скажет: «Милый, родной, ну чего ты хочешь? Хочешь, я повешусь, если тебе будет от этого хорошо?»

— Я не знаю, Никита Иванович, где вы сталкиваетесь с Пьерами Безуховыми,— сказал Митя,— мне все больше попадаются иудушки головлевы. Но я вам честное слово даю: покажите мне одного святого, покажите мне один благородный поступок — и я перейду в вашу блажную веру. Только ничего вы мне не покажете, потому что нечего показать. Да чего там далеко ходить: вот стоит Васька Чинариков, который интересен тем, что он не пропустит ни одной юбки. Ведь ты, Вась, ни одной

юбки не пропустишь, ты даже беременными не брезгуешь, ты даже к Любке подбираешься, скажешь, нет?

Любовь сжала губки и отвернулась, впрочем, показывая всем своим видом, что это так, а Чинариков, нахохлившись, произнес:

— Молод ты еще на меня критику наводить...

Петр по-прежнему ковырял в ухе, но это для отвода глаз, на самом деле он алчно вслушивался в разговор.

— Ладно, Митя, договорились,— сказал Белоцветов,— насчет святого не знаю, а поступок я тебе гарантирую. Мне, Митя, больно, что ты не веруешь в нашу литературу и холодно относишься к нашей жизни. Ради того, чтобы вернуть тебя в истинное лоно, я, если хочешь знать, последнего здоровья лишусь, но душу твою спасу. Ты только пойми одну элементарную вещь: ты потому недружественно настроен по отношению к нашей жизни, что ты ее просто не понимаешь. А не понимаешь ты ее, в частности, потому, что не веришь в великую русскую литературу. Ты думаешь, это сказки, но это, милый Митя, отнюдь не сказки, а самая русская жизнь в истинном ее виде, просто она у нас действительно сказочная немного... Вот тебе доказательство: в настоящей жизни и в настоящей литературе все держится на правде, совести и любви.

Митя снисходительно улыбнулся и незаметно подмигнул Любе.

Люба сказала:

— А вот моя мама говорит, что главное в жизни — это знать, где что лежит.

— Кстати,— сказал Чинариков,— где твоя богоспаемая мамаша?

— Она в ЖЭКе,— ответил за сестру Петр.— У них там какой-то кружок. Кройки и шитья, что ли...

Чинариков с Белоцветовым переглянулись и вышли вон. В прихожей Белоцветов сказал, взяв Чинарикова за рукав:

— Знаешь, что мне сейчас пришло в голову? Что, может быть, впервые за всю историю русского народа у нас явилось поколение людей, у которых нет никаких нравственных ориентиров, которые просто не знают, что хорошо, а что плохо, что нужно, а чего нельзя.

Чинариков промолчал.

— В общем, такое чувство, как будто со временем что-то произошло и они впервые на земле. Библия,

Христос, римское право, Спиноза, энциклопедисты, «свобода, равенство, братство» — это все впереди...

— Я же тебе говорил, что Митька Началов — неандерталец.

— Ты тоже хорош; как я погляжу! Неужели это правда, что ты, старый кобель, нацелился на Любовь?

— А что я могу с собой поделывать? Что я могу поделывать, если у меня не кровь, а жидкое электричество?

3

Жилищно-эксплуатационная контора занимала несколько соединенных квартир первого этажа. В отличие от санкт-петербургского варианта, где «лестница была узенькая, крутая и вся в помоях, все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на лестницу и стояли так почти целый день», лестница была очень пристойная, а кухонь не имелось, разумеется, никаких. Но зато именно что «духота была чрезвычайная и, кроме того, до тошноты било в нос свежую, еще не настоявшуюся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат».

Белоцветов толкнулся в одну дверь, в другую и наконец нашел то, что искал: в небольшой комнате с голыми стенами за столиками, похожими на школьные парты, заседала компания женщин, на лицах у которых застыли одинаковые томные выражения. Сначала Белоцветов наткнулся взглядом на старуху в очках, потом на юницу в вельветовых джинсах, потом на какое-то кроличье манто и только после этого углядел Юлию Голову. Он кивнул ей, и она испуганно улыбнулась.

— Наконец-то хоть один мужчина к нам пожаловал,— сказала Белоцветову незнакомая дама в сером жакете, тонкая и бледная, как стеариновая свеча.— Присаживайтесь, товарищ!

Белоцветов смутился и присел на свободный стул.

— Таким образом, друзья,— продолжала дама, обращаясь уже ко всем,— треугольник Мережковский — Гиппиус — Философов — это треугольник необычный, поскольку его соединяла не только чувственная страсть, поприхнувшая, к слову сказать, в эпоху реакции девятьсот седьмого — девятьсот девятого годов и наступившего затем экономического бума, но и общие эстетические взгляды, общественно-политические концепции. На сегодня все. В следующий раз мы обратимся к треугольнику Блок — Менделеева — Андрей Белый.

Загремели стулья, и в одну минуту комната опустела. В коридоре Юлия Голова подошла к Белоцветову и спросила:

— Случилось чего-нибудь?

— Да нет,— сказал Белоцветов.— Ничего, кажется, не случилось. Я просто хотел с вами поговорить относительно привидения.

— А-а,— то ли разочарованно, то ли с облегчением протянула Юлия Голова.

— А странный, между прочим, у вас кружок,— заметил ей Белоцветов.

— Ничего в нем нет странного, кружок как кружок.

— Нет, просто я не понял, что вы в нем изучаете.

— Великие любовные треугольники. Самый интересный был треугольник Чернышевский — Ольга Соколатовна — весь Саратов.

Белоцветов на это было весело улыбнулся, но тут же попытался спрятать свою улыбку, потому что Юлия Голова говорила более чем серьезно.

— Собственно, я хотел поговорить с вами насчет вчерашнего привидения. Скажите вы мне, Христа ради, как оно выглядело-то, это самое привидение?

— Да я, честно говоря, его толком не разглядела. Напугалась я очень, выхожу из кухни, а он стоит...

— Мужчина?

— Мужчина, но только старый, точнее будет, если я скажу: дед.

— А где именно он стоял?

— В прихожей перед зеркалом, но он в зеркало не смотрелся, а стоял к нему спиной и глядел на меня, как памятник.

Юлия Голова грациозно вздохнула. В ту самую секунду, как она грациозно вздохнула, с Белоцветовым произошла странная перемена: он засмотрелся куда-то вдаль, причем на лице у него обозначились сразу боязнь, негодование и брезгливость. Какое-то время он, видимо, находился во внутреннем борении, которое ёрники иллюстрируют присказкой: и хочется, и колется, и мама не велит,— но потом глаза его как-то решительно потемнели.

— Извините, Юлия, я оставляю вас на минуту,— нехорошим голосом сказал он и бросился на противоположную сторону улицы.

На противоположной стороне улицы возле винного магазина совершалась неприятная сцена: двое парней в

черных ватниках, надетых поверх черных сатиновых халатов, отнимали у престарелого идиота авоську пустых бутылок — скорее всего парням было не на что опохмелиться, и они с горя нацелились на бутылки. Идиот что-то лепетал, свирепо гримасничая, и размахивал свободной рукой, но, несмотря на такое резвое сопротивление, было очевидно, что он вот-вот лишится своей авоськи.

Белоцветов подоспел на помощь идиоту, как говорится, в самый кульминационный момент, когда тот удерживал авоську последними двумя пальцами, и неприятная сцена немедленно разрослась в целое уличное происшествие. Впрочем, исчерпано оно было в считанные секунды: идиот ни с того ни с сего упал, и его бутылки раскололись об асфальт тротуара, а парни в ватниках и халатах согласно набросились на заступника, точно они только его и ждали, точно побить его было для них важнее, чем даже опохмелиться; они с молниеносной быстротой отлупили Белоцветова и бросились наутек.

Минуты две-три Белоцветов стоял еще возле винного магазина под неодобрительными взглядами прохожих, поскольку у нас если кому при любых обстоятельствах не сострадают, так это битым, а затем медленно, точно из последних сил вернулся к поджидавшей его Юлии Голове.

— Так на чем мы остановились? — нарочито серьезно сказал Белоцветов и, морщась от боли, потрогал бровь.

Юлия неприязненно пожала плечами.

— Мы с вами остановились на том, — ответил за нее Белоцветов, — что привидение стояло спиной к зеркалу и смотрело на вас, как памятник. Кстати, вы не разглядели, как оно было одето?

— Одет он был странно, — не сразу ответила Юлия Голова, — это я помню точно.

— Что значит странно? Не по моде, что ли?

— Да нет, не то чтобы не по моде. Просто странно, то есть не по-современному. Вообще, по-моему, он был в форме, потому что я отлично помню светлые металлические пуговицы и еще то ли орден, то ли медаль...

— Чудные дела твои, господи! — проговорил Белоцветов и на некоторое время замолк.

На этих словах они тронулись в обратном направлении, так как за разговором пропустили свой поворот.

— А знаете, на кого смахивает нарисованный вами

портрет? — спросил Белоцветов некоторое время спустя. — На прапорщика Остроумова, который застрелился у нас в квартире!..

Юлия от неожиданности даже сбавила шаг, а затем немного подумала и сказала:

— Послушайте, Никита, неужели вы серьезно верите в привидения?

— Да я бы рад в них не верить, но ведь вы-то видели что-то в этом роде, да еще в мундире старинного образца!..

— Это могло быть и не привидение вовсе, а просто чужой человек, который забрался в нашу квартиру. Даже это могло быть не привидение и не чужой человек, а обморок на ногах.

— Прежде чем забраться в квартиру, чужому человеку совсем необязательно было облачаться в старинный мундир. Что же касается обморока на ногах, то, думаю, видение ваше было слишком живописно для обморока на ногах.

— Что да, то да: я его прямо как сейчас вижу — стоит в надменной позе, смотрит, как памятник, и молчит.

— Вот этот момент я совсем выпустил из виду: он так ни одного слова и не сказал?

— Нет, — ответила Юлия и вздохнула. — Тишина в тот момент, когда я его увидела, была исключительная, но зато в этот самый момент я почувствовала какой-то противный запах...

— Час от часу не легче! А какой именно это был запах, вы, случайно, не разобрали?

— Вот если жарить яичницу из несвежих яиц, то будет очень похоже.

— Ну, конечно, как и следовало ожидать, это была жженная сера!

— Жженная сера, это к чему?

— Жженная сера к нечистой силе. Или вы, Юля, меня морочите, или привидения — это такая же горькая реальность, как пьяные наглецы.

— Кстати, зачем вы с ними полезли драться? Вам что, приключений недостает?

— Приключений как раз хватает, — сказал Белоцветов и снова потрогал бровь. — Чего действительно не хватает, так это дела. Я клоню к тому, что между убеждением и поступком у нас почему-то образовалась целая государственная граница.

— К чему вы все это говорите? — перебила его Юлия Голова.

— К тому, что я решил порвать все промежуточные связи между словом и делом и наладить прямую связь по принципу: слово — дело. Вот я решил третьего дня, что буду вгрызаться в любое зло, в каком бы виде оно мне ни встретилось,— и вгрызаюсь!..

К тому времени, когда были сказаны эти слова, они уже стояли возле своего дома. Юлия взялась за ручку двери, холодно посмотрела в глаза Белоцветову и сказала:

— Теперь я понимаю, почему вы живете холостяком.

Воротившись в двенадцатую квартиру, Белоцветов только на минуту заглянул к себе в комнату, чтобы скинуть пальто, и сразу направился к Чинарикову.

Чинариков лежал на своем канapé и читал «Феноменологию духа». Белоцветов несколько раз прошелся от окна к двери, то трогая разбитую бровь, то ероша волосы, то потирая руки. Василий сел, отложил книгу в сторону и спросил:

— Ну и с чем тебя можно поздравить?

— Можешь поздравить с тем, что меня избили возле нашего винного магазина. Двое пьяных наглецов обижали какого-то дурачка, я за него вступился, и мне надавали по физиономии, чего, конечно, и следовало ожидать.

— Завтра ты мне покажешь этих гадов — я им головы оторву!

— Ну вот еще! Нам только вендетты не доставало! Ты вот лучше послушай, что мне удалось узнать...

И Белоцветов коротко пересказал Василию то, что он вызнал о привидении, явившемся в пятницу Юлии Голове.

— Значит, это был все же не Ваня-слесарь...— с разочарованным видом сказал Чинариков в заключение белоцветовского рассказа.

— Во всяком случае, не похоже, чтобы это был он.

— Вообще-то любой дурак мог переодеться в прапорщика Остроумова, чтобы народу нервы пощекотать. Например, Митька Началов, который способен на что угодно...

— Нет, с прапорщиком я дал маху. Ведь в революцию он, по-моему, был совсем молодой человек, а Юлия видела старика. Стало быть, Василий, ей кто-то другой явился...

— Ты, Никита, не взыщи, но версию с привидением я решительно отмечаю. Ты что, осатанел?! Ну какие под занавес двадцатого века могут быть привидения?! Просто вечером в пятницу Юлька натолкнулась в прихожей на мужика, который проник в квартиру, чтобы нашу старушку кокнуть и уволочь. Я вот такую версию выдвигаю: кто-то, кому было угодно, чтобы Пумпянская исчезла с лица земли, сначала выяснил по телефону, что она дома, потом как-нибудь устрашающе приделся, чтобы сразу вогнать ее в нервный шок, потом проник в квартиру, отперев дверь ключом, который не так уж мудро подобрать, но тут натолкнулся на Юльку и был таков... А час спустя он явился снова.

— А запах жженой серы? — спросил Белоцветов.

— Да иди ты со своей серой! Ты, в конце концов, материалист или деревенская бабка?

— Я-то материалист. Но главное убеждение, которое я вынес из этой жизни, заключается в том, что возможно все. Боюсь, в нашей жизни нет ничего такого, что было бы в принципе невозможно...

— Значит, ты деревенская бабка, а не материалист, — твердо сказал Чинариков и закурил свою грубую папиросу. — Впрочем, это сейчас не важно; сейчас важно как-то выйти на зловещего старика, а с твоей мировоззренческой ориентацией мы позже как-нибудь разберемся. Стало быть, похоже на то, что злоумышленник — человек преклонного возраста, можно сказать, старик.

— Или человек среднего возраста, который загримировался под старика.

— Или человек среднего возраста, который загримировался под старика... Да нет! Ну с какой стати убийца будет разыгрывать оперетту, если он идет на кровавое преступление? Это был именно что старик, а стариков у нас на всю квартиру, между прочим, один Лев Борисович Фондервякин!.. Он на другой день и вел себя как-то странно: нажрался с утра пораньше, тело ребятам из «скорой помощи» обещал...

— Я вот только сомневаюсь относительно кровавого преступления, — сказал Белоцветов и сел рядом с Чинариковым на диван. — Если бы убийство точно совершилось в комнате у Пумпянской, то должны были остаться следы борьбы, по крайней мере какой-нибудь беспорядок. А у старушки, если ты помнишь, было прибрано, как накануне Октябрьских праздников. Разве что на стенке



зияло пустое место да валялась на буфете початая коробочка седуксена...

— Во-первых, преступник мог Александру Сергеевну сначала чем-нибудь оглушить или выманить из квартиры и убить, скажем, на черной лестнице. Во-вторых, у него было достаточно времени для того, чтобы прибраться, вообще замести следы. В-третьих, ты мне про седуксен раньше не говорил.

— Да я на него и внимания-то сначала не обратил. Я только сегодня вспомнил, что на буфете лежала початая коробочка седуксена.

— Это детали! Это деталь, которая говорит о том, что Александра Сергеевна сильно разволновалась. Или ее разволновало само появление зловещего старика, или он ей что-то такое сообщил, что ее сильно разволновало.

— Я, знаешь, что думаю,— сказал Белоцветов и вытер лицо ладонью,— как это вообще милиция обнаруживает преступников! Тут вроде бы и зацепки есть, и мотивы прощупываются, а кто, что, когда — это покрыто мраком. И немудрено: все-таки восемь миллионов москвичей плюс гости столицы...

— Надо с Петькой поговорить,— предложил Чинариков.— Может быть, он, когда на горшке сидел, что-нибудь интересное заметил.

С этими словами он поднялся с канапе и отправился за Петром. Не прошло и минуты, как он ввел его в комнату, усадил в кресло, обитое штофом, и полез в джинсы за папиросой.

— Послушай, Петр,— сказал Белоцветов.— Ты когда в пятницу вечером на горшке в кухне сидел, случайно, ничего интересного не заметил?

— А это кто, дядя Вась? — спросил Петр, указывая пальцем на бюст поэта Апухтина.

— Вопросы задавать будешь потом,— строго сказал Чинариков.

— Ничего я интересного не заметил. Сидел себе и сидел. И кто был в ванной, я тоже не видел.

— А разве кто-то в это время был в ванной комнате? — изумился Белоцветов и посмотрел на Чинарикова, который от неожиданности даже сломал приготовленную папиросу.

— Не знаю,— лениво ответил Петр.— Просто Митька меня спрашивал, видел я, кто был в ванной, или не видел.

— Он когда тебе «воздух по карточкам» устраивал,

именно этим интересовался? — спросил Чинариков и политично присел на карточки.

— Нет. Это он хотел, чтобы я ему одну фотографию показал.

— Какую еще фотографию? — спросил Белоцветов.

— Которую я вчера нашел во дворе. Только она порванная была. Я ее подобрал и склеил.

— А ну покажи,— потребовал Чинариков, и голос его дрогнул от нетерпения.

Петр было призадумался над тем, следует ли ему безропотно выполнить чинариковское требование, и даже по этому поводу сунул в рот указательный палец, но тут Белоцветов сказал:

— Я тебе разрешаю поджечь мою дверь, скормить собакам новые сапоги, разрисовать акварельными красками мою куртку, но фотокарточку ты, пожалуйста, покажи...

И Петр уступил, видимо всерьез загоревшись такой занимательной перспективой: он снял левую тапочку и вытащил из нее вчетверо сложенную фотокарточку.

На ней был запечатлен серьезного вида старец в штатском мундире, на котором виднелся крестик — вроде бы Станислав.

Чинариков сказал:

— Ну и какие будут соображения?

— Соображения на первых порах будут такие,— откликнулся Белоцветов.— Это та самая фотокарточка, которая висела в комнате у Пумпянской, а затем при загадочных обстоятельствах испарилась.

— Например,— добавил Чинариков,— Александра Сергеевна могла ее взять с собой, когда она в пятницу вечером навсегда покидала нашу квартиру. Пришел зловещий старик, велел ей собираться — тут-то она карточку и взяла. Между прочим, из этого следует, что Александра Сергеевна знала, что она покидает нашу квартиру именно навсегда.

— Хорошо, а зачем она тогда эту фотокарточку порвала?

— Да, это, конечно, нонсенс... Тогда, наверное, зловещий старик решил эту фотокарточку уничтожить, потому что она могла привести на след.

— Самое интересное то,— как-то проникновенно сказал Белоцветов,— что скорее всего этот старик в мундире и явился в пятницу Юлии Голове. Погоди, я сейчас...

И Белоцветов вышел из чинариковской комнаты, спрятав фотокарточку в нагрудный карман рубашки.

Петр попросил:

— Дядя Вась, расскажи что-нибудь про войну.

— Не.

— Ну расскажи, чего тебе стоит!..

— Ну ее! Лучше я тебе спою военную песню...

Петр весело кивнул в знак согласия, а Чинариков опечалился, подпер кулаком голову и запел:

Только эхо разнесется в горах,  
И душа моя домой полетит,  
У него за каждым камнем аллах,  
А меня кто, сироту, защитит...

— Так я и знал! — сказал по возвращении Белоцветов. — Она, бедняга, даже побледнела, когда я ей фотокарточку показал...

— Прекрасно! — воскликнул Чинариков. — Значит, мы, по сути дела, вышли на преступника, которого остается только найти и взять!..

— Интересно, как ты его возьмешь, когда он по меньшей мере лет сорок лежит в могиле?..

— Но ведь не с того же света он появился?

— В том-то все и дело...

Чинариков рассеянно замолчал, и на лице у него образовалось то огорченно-нелепое выражение, какое можно наблюдать у детей, нечаянно проникших в некоторые тайны взрослого бытия.

— А с чего ты, собственно, взял, что этот старик — покойник? — несмело возразил он.

— Давай посчитаем, — предложил Белоцветов. — Самое позднее эта фотокарточка была сделана в восемнадцатом году, потому что в девятнадцатом такие мундиры, да еще со Станиславом, уже не носили; в это время старику как минимум стукнуло пятьдесят, хотя он выглядит много старше; значит, к сегодняшнему дню ему было бы сто восемнадцать лет.

— Ну и что? Разве невозможно прожить сто восемнадцать лет?

— Прожить-то, конечно, можно, но на мокрое дело человек в таком возрасте не пойдет.

— Это еще бабушка надвое сказала.

— Послушай, Василий, ну ведь глупый получается разговор!

Чинариков посмурил, но по всему было видно, что с этим определением он согласен.

— Тем не менее,— сказал он,— хорошо бы навести справки обо всех стариках, которым перевалило за сто двадцать лет,— это все-таки ниточка, как ты хочешь.

— По крайней мере, нужно показать фотокарточку Кузнецовой и Алеше Саранцеву — вдруг они знают этого старика...

Чинариков уже собрался как-то откликнуться на предложение Белоцветова, но тут дверь комнаты приоткрылась и в проем просунулась Митина голова.

— Чего тебе? — недовольно спросил Чинариков.

— У меня чрезвычайное сообщение,— сказал Митя и не по-доброму скосил глаза на Петра.— Только я его не могу сделать в присутствии малолетних.

Чинариков бесцеремонно выпроводил Петра и с нетерпением в голосе произнес:

— Ну?

— Дело в том, что в нашем почтовом ящике я только что обнаружил письмо, адресованное Пумпянской. И Митя протянул Чинарикову конверт.

Конверт был обычный: с четырехкопеечной маркой, портретом академика Вернадского и адресом, написанным почтовыми фиолетовыми чернилами.

Чинариков повертел конверт в пальцах и посмотрел на Белоцветова глазами, которые, кажется, говорили, что-де хотя и не пристало воспитанному человеку читать чужие письма, а делать нечего, надо конверт вскрывать, на что Белоцветов пожал плечами, как бы отвечая, что, дескать, спору нет, этика вещь хорошая, но в сложившихся обстоятельствах, конечно, не до нее. Тогда Чинариков вскрыл конверт.

Внутри его оказалась узкая полоска бумаги, вырезанная из школьной тетради в клетку. На ней были наклеены довольно крупные буквы, которые составляли следующую надпись: «Вернешь документы в среду. Иначе — смерть».

Чинариков передал записку Белоцветову и спросил:

— Ну и какие будут соображения?

Белоцветов передал записку Мите Началову и ответил:

— Я при таких крутых поворотах вообще теряю способность соображать.

— А ты, Дмитрий, что скажешь?

— По-моему, тут дело нечисто,— сказал Митя в раздумье.— Наверное, все-таки наша старуха была замешана в каких-нибудь махинациях. Или она ни в чем

не была замешана, но хранила документы, изобличающие какое-то преступление.

— А по-моему,— сказал Чинариков,— для начала нужно хорошенько исследовать письмецо. Берем конверт: так... штемпель с датой отправления смазан, но больше всего похоже на то, что письмо было отправлено в прошлый вторник; в нашем почтовом отделении письмо было получено сегодня — штемпель с датой получения четкий; и последнее относительно конверта: поскольку адрес написан обыкновенным металлическим пером и фиолетовыми чернилами, писали его на почте.

— Почерк тебе о чем-нибудь говорит? — рассеяно спросил Белоцветов.

— Почерк скорее всего, как ни странно, женский. Что же касается записки, то вот что интересно: буквы, по-моему, вырезаны из какой-нибудь детской книжки. Больно они крупные, и уж больно тут насыщенная печать.

— А это о чем тебе говорит?

— Это говорит только о том, что буквы были вырезаны из какой-нибудь детской книжки.

Наступило молчание, Митя теребил в пальцах записку, Белоцветов невидящими глазами разглядывал чашки с портретами наполеоновских маршалов, Чинариков размышлял.

— А знаете, кто убил Александру Сергеевну? — заявил Чинариков примерно через минуту.

— Кто? — испуганно выдохнул Белоцветов, а Митя Началов изобразил ушки на макушке глазами и особенным склонением головы.

— Почта! Точнее, какое-то почтовое отделение! Ведь, отправляя письмо по почте во вторник, убийца резонно предполагал, что Александра Сергеевна получит его в среду утром, потому что отправлял-то он его, возможно, даже с соседней улицы. Получи Александра Сергеевна письмо действительно в среду утром, она, наверное, со страху отдала бы таинственные документы убийце, но из-за наших почтовых безобразий письмо пришло не в среду, а в воскресенье, точно оно не из Москвы в Москву было писано, а из Лос-Анджелеса в Москву. Значит, почта и есть настоящий преступник, по крайней мере соучастник кровавого преступления!..

— Не до шуток сейчас, Василий! — перебил его Белоцветов.— Ох не до шуток! Потому что с этим

письмом дело приобретает слишком значительный оборот. Тут уже такие открываются криминальные глубины и перспективы, что пора Рыбкина подключать.

— Ни в коем случае! — с жаром сказал Чинариков. — Мы это дело начали, мы его и закончим. А то — здравствуйте, я ваша тетя! Мы уже без малого на преступника вышли, несколько версий отработали, сто человек опросили — и все это Рыбкину подарить? Нет, ты как хочешь, а я своими руками ему строить карьеру не собираюсь...

— Ну что ты мелешь? Когда это мы на преступника выходили?

— Привет, а разве мы с тобой только что не пришли к заключению, что преступник — стовосемнадцатилетний старик, который состоял с Александрой Сергеевной в каких-то продолжительных отношениях?..

Белоцветов ничего не ответил и только посмотрел на Чинарикова, что называется, свысока.

— Разве мы с тобой не разработали оптимальную версию этого преступления? — продолжил Чинариков. — Стовосемнадцатилетний старик, на которого у нашей Александры Сергеевны имелся какой-то компрометирующий материал, пишет ей во вторник письмо с требованием отдать ему материал и угрожает смертельной карой; из-за тихого саботажа на почте ответа он не получает и поэтому в пятницу вечером сначала узнает по телефону, дома ли его жертва, а потом заявляется к нам в квартиру и натывается на Юлию Голову; некоторое время спустя он приходит вновь, пугает Александру Сергеевну до такой степени, что она вынуждена принять седуксен, затем отбирает какие-то документы, снимает со стены собственную фотокарточку, чтобы обрезать след, выводит несчастную женщину на улицу, убивает и прячет труп.

— А что? — сказал Митя Началов. — Очень похоже, что именно так и было.

— Для того чтобы это было именно так, — настаивательно сказал Белоцветов, — в Москве должен завалиться хоть один стовосемнадцатилетний старец.

— Откуда такая географическая узость? — с деланной улыбкой спросил Чинариков. — Он мог завалиться и в Московской области, и в Сызрани, и даже в какой-нибудь Кзыл-Орте.

— Хорошо, а почему адрес на конверте написан женской рукой?

— Господи, да попросил первую попавшуюся старушку на почте, она адрес и написала!..

— Хорошо, а зачем исходящий штемпель преступник смазал?

— Чтобы скрыть собственный ареал.

— Хорошо, с какой стати он пошел на мокрое дело в мундире, да еще при крестике — к чему такой причудливый маскарад?

Чинариков грустно развел руками.

Тут раздался стук в дверь, и вошел Валенчик.

— Попрошу всех на кухню,— торжественно сказал он.

Было уже что-то около семи часов вечера.

4

В то время как Чинариков с Белоцветовым самозабвенно разгадывали тайну исчезновения Александры Сергеевны Пумпянской, жизнь двенадцатой квартиры, как говорится, шла своим чередом. Фондервякин несколько часов подряд играл с Душкиным в шахматы; сначала они немного поцапались, поскольку Душкин и Фондервякину объявил о своих претензиях на освободившуюся жилплощадь, но, слово за слово, они договорились до пешки, которая метит в ферзи, и немедленно выяснилось, что оба завзятые шахматисты. Анна Олеговна Капитонова после обеда легла соснуть. Митя Началов, прежде чем явиться к Чинарикову с письмом от убийцы, ходил на улицу прогуляться, а по возвращении прочел несколько страниц из «Войны и мира», именно сцену знакомства Пьера Безухова с Каратаевым. Юлия Голова, накормив свой выводок, принялась за выкройку из «Бурды» и в ту минуту, когда Белоцветов явился к ней с фотографией привидения, как раз перерисовывала в специальную тетрадошку вечерние туалеты. Любовь тем временем делала уроки на понедельник. Петр сначала слонялся по коридору, потом ходил гулять, потом опять слонялся по коридору. Генрих Валенчик что-то писал, Вера Валенчик просто сидела сиднем.

В седьмом часу вечера Фондервякин с Душкиным, оба несколько очумевшие от игры, вывалились в коридор.

— Послушай, Лева,— задумчиво сказал Душкин,— ты не знаешь, зачем я здесь?

— То есть? — переспросил его Фондервякин.

— То есть ты можешь сказать, зачем я забрел в вашу квартиру?

— Ты вроде хотел присмотреться к освободившейся комнате. Но это дудки, комнатки тебе не видать как своих ушей.

— Эх, Лева, Лева, плохо же ты меня знаешь! Я человек простой, даже прямолинейный: если я чего решил, то будет по-моему, хоть ты тресни.

Вышла из своей комнаты в коридор Анна Олеговна Капитонова, в ситцевом халате, со свалывшимися фиолетовыми колечками на голове, и, наткнувшись взглядом на Душкина, удивленно округлила заспанные глаза.

— Вот полюбуйте, Анна Олеговна,— сказал Фондервякин и отрекомендовал ей слесаря известным положением рук.— Еще один претендент на освободившуюся жилплощадь!

— Это возмутительно,— сказала Анна Олеговна, впрочем, без особого возмущения.— Только через мой труп! Постороннее лицо вселится в нашу квартиру только через мой труп! Одну старушку вы уже, товарищи, ухаживали, придется вам еще одну ухаживать...

— Помилосердствуйте,— взмолился сахарно Фондервякин,— ну какая же вы старушка?

Капитонова на его замечание довольно строго отозвалась.

— Спасибо, конечно, за комплимент,— сказала она,— но комнату я не отдам ни за какие благополучия!

— Вы так о ней говорите, как будто она уже ваша,— заметил пасмурно Фондервякин.

— Будет моя, никуда не денется!

— На каких это основаниях она будет ваша?

— Да на том хотя бы основании, что комната Пумпянской смежная с нашей комнатой. Остается только дверь прорубить, и получатся апартаменты в апартаментах...

— Не спорьте, ребята,— перебил Душкин.— Не тратьте понапрасну слова и нервы, потому что все равно в эту комнату въеду я.

— Только через мой труп! — подтвердила Анна Олеговна.

На шум в коридор высунулся Валенчик.

— Опять что-нибудь стряслось? — испуганно спросил он.



— Стряслось,— ответил ему Фондервякин и отвернулся.— Как коршуны все слетелись на освободившуюся жилплощадь!

— А меня, конечно, побоку?

— Это само собой.

— В таком случае я вижу только один выход из положения: собраться всем миром, как в восьмидесятом году, и решить жилищный вопрос на демократических основах. Пусть народ решит, кому оставаться на своих местах, а кому в двух комнатах жировать. Пора, товарищи, осваивать демократию — все-таки на носу семьдесят вторая годовщина советской власти!

— Так ведь народ — это мы,— возразил ему Фондервякин.— Вот каждый из нас и решит, что именно ему полагается в двух комнатах жировать.

— А мы по-хитрому обделаем это дело... Мы выберем комитет и вменим ему в обязанность, всесторонне рассмотрев вопрос, принять соответствующее решение.

— Из ЖЭКа надо кого-нибудь пригласить,— предложил Фондервякин,— а то у нас своя демократия, а у них своя.

— Ничего не имею против. Вы, Лев Борисович, давайте звоните Востряковой, а я жильцов наших оповещу.

— Оповещай, оповещай...— согласился с ехидцей Душкин.— У вас своя демократия, у ЖЭКа своя, а я, ребята, буду действовать по-простому, на основе поговорки: против лома нет приема.

— Что вы имеете в виду? — строго спросил Валенчик.

— Это пока секрет.

Минут через десять на кухне сошлось все население двенадцатой квартиры за исключением Белоцветова, который что-то подзадержался, и включая слесаря Душкина, бодро облокотившегося о газовую плиту. Вера Валенчик пришла со своим стулом, Генрих ради такого случая даже надел свежую рубашку в крупную коричневую клетку и причесался, Фондервякин стоял у кухонного стола и нервно стучал по стеклу ногтями, Анна Олеговна также нервничала и то разглаживала платье на животе, то поправляла свои фиолетовые колечки, Митя Началов был задумчив и тих, Чинариков, явившийся в вечных джинсах и в майке с короткими рукавами, скрывавшими воздушно-десантную татуировку,

занял позицию возле двери на черную лестницу, Юлия Голова листала свою тетрадочку мод, Любовь пришла с учебником латинского языка, Петр сидел на табурете и мелко болтал ногами.

— Товарищи соседи! — начал было Генрих Валенчик, но тут в прихожей раздался длинный звонок, и он вынужден был прерваться.

Послышался звук отпираемой двери, затем шаги, а затем в кухне появилась техник-смотритель Вострякова в белоснежной нейлоновой курточке и взвопила:

— Есть у вас совесть, граждане, или нет? Даже в воскресенье человеку расслабиться не дадите!..

— Расслабляться будем в могиле,— мрачно сказал Фондервякин, и это замечание почему-то утихомирило Вострякову.

Последним явился Белоцветов, на лице которого значилось что-то беспокойно-грустное, болевое.

— Ну хорошо,— спросила примирительно Вострякова,— что тут у вас стряслось?

— Сейчас все узнаете,— сказал ей Валенчик и, поскольку дальнейшие его слова были обращены ко всему собранию, резко преобразился: выпрямился, посерьезнел, упер руку в бок и вроде бы даже с лица несколько похудел.— Товарищи соседи! — заговорил он.— Мы собрались здесь затем, чтобы избрать комитет жильцов. Прошли дремучие времена — это я искренне говорю,— сейчас на дворе такая эпоха, когда демократия и гласность решают все. Так вот и давайте демократическим путем выберем комитет, скажем, из трех человек, и пускай он решит в условиях гласности, кому въезжать в освободившуюся жилплощадь. Начнем с выдвижения кандидатур...

Но никто выдвигать кандидатуры не собирался. Все молчали; все так глубоко молчали, что было слышно, как капает вода из крана.

Наконец Анна Олеговна заявила:

— Легко сказать — выдвигайте кандидатуры!.. А кого выдвигать-то — вот в чем вопрос! Ведь кого ни возьми, у всех на комнатку Пумпянской имеется интерес.

И опять молчание.

— Ну что же вы, товарищи? — взмолился Валенчик.— Активнее, активнее!

— Я предлагаю свою кандидатуру,— набычившись, сказал Фондервякин, так как он предвкушал энергичные возражения.

— Ну уж это дудки! — вскричала Юлия Голова.— Каждому дураку известно, что вы стремитесь захватить комнату Пумпянской под кладовую!..

— Вообще это какая-то несоветская постановка вопроса,— заметил Валенчик, и Вера по супружеству согласилась с ним неким преданным движением головы.— От такого самовыпячивания за версту несет буржуазным парламентаризмом...

И Генрих начал добросовестно разъяснять, почему от предложения Фондервякина несет буржуазным парламентаризмом.

— Ты чего задержался-то? — спросил Чинариков полушепотом Белоцветова, который все это время пристально смотрел в пол.

Белоцветов сказал:

— Да вот, понимаешь, пришло вдруг на мысль книжки Петькины пролистать...

— Пролистал?

— Пролистал... В «Серебряном копытце» вырезано тридцать три буквы, две точки, одно тире. Следовательно, как это ни дико, письмо со смертной угрозой исходит из семьи Юлии Головы...

Чинариков взметнул брови, но тут на глаза ему попала большая эмалированная кастрюля, стоявшая на подоконнике, и он невольно сглотнул слюну, поскольку от кастрюли прохладно припахивало борщом.

— Послушай, профессор, а ведь мы с тобой за этой криминалистикой даже не завтракали сегодня!

Белоцветов рассеянно кивнул и опять засмотрелся в пол.

— ...И мы этим чуждым тенденциям потворствовать не желаем,— тем временем заканчивал свою речь Валенчик.— Так что, Лев Борисович, давайте своей кандидатуре самоотвод!

— Самоотвод,— громко повторил Петр, которому, видимо, понравилось это слово.

— Нет, товарищи соседи,— сказала Капитонова,— так мы далеко не уедем. С этой демократией получается ерунда, потому что Лев Борисович желает захватить комнату под кладовую, у Юлии двое разнополых детей, Генриху подавай кабинет, у меня, честно скажу, Дмитрий. Ну какая тут может быть демократия? Давайте уж решим это дело старинным народным способом — кинем жребий.

— Ну конечно! — сказала Люба.— Мы будем кидать

жребий, а комната достанется, например, Никите Ивановичу, которому на фиг эта комната не нужна!

— А давайте поступим так,— предложил Фондервякин,— давайте, товарищи, безо всяких глупостей предоставим жилплощадь мне. Ведь я почти старик, едрена корень, я прошел через огонь, воду и борьбу с космополитизмом — так неужели же я у родины кладовки не заслужил?!

Генрих Валенчик оставил это предложение без внимания.

— Итак,— сказал он,— какие будут предложения в смысле кандидатур?

Против всякого ожидания слово взяла генриховская Вера.

— Я предлагаю выбрать в комитет таких людей,— сказала она,— которые не заинтересованы в расширении метража. То есть я выдвигаю кандидатуры Василия и Никиты.

— А третьего кого? — спросил ее Генрих.

— А третий кандидат пускай будет Вера,— предложил Фондервякин.— Она хоть и ожидает прибавления семейства, но на расширение метража ей, по-моему, наплевать.

— Ваша правда,— печально сказала Вера.

— Только пускай кандидаты вникнут в наше критическое положение,— пожелала Юлия Голова.

Фондервякин ответил:

— Это само собой.

— Так, еще у кого-нибудь имеются соображения по кандидатурам? — спросил Генрих Валенчик и после очень короткой паузы сам ответил на свой вопрос: — Соображений нет. Тогда приступаем к тайному голосованию. Вот спичечный коробок...

Вострякова его перебила:

— Погодите, граждане, это вы серьезно?

— Что «серьезно»? — спросил Валенчик.

— Вы серьезно собираетесь таким путем жилплощадь распределять?

Все, кроме Душкина, ответили утвердительно.

— Тогда я вам, граждане, официально заявляю: никаких жребиев! Как ЖЭК решит судьбу этой комнатки, так и будет!

— Ну уж нет, товарищ Вострякова! — сказал Фондервякин.— Это вам все-таки не тридцать седьмой год, и мы не потерпим никакого ведомственного диктата.

Валенчик примирительно сказал:

— Так, только давайте, товарищи, без этого... без личностей и угроз. Тем более что все равно наши коммунальщики против демократии и гласности не попрут. Побоятся они противопоставить себя народной стихии, потому что это уже будет деятельность самой враждебной пробы...

Вострякова призадумалась и, призадумавшись, потемнела.

— Итак,— продолжал Валенчик,— приступаем к тайному голосованию... Вот спичечный коробок — в нем ровным счетом семь спичек по числу избирателей, имеющих право голоса; кто голосует за выдвинутые кандидатуры, тот возвращает спичку в коробок в первоизданном виде; кто против Никиты, обламывает головку; кто против Васьки, тот кладет в коробок полспички; кто против Веры, тот оставляет огрызок с ноготок.

— Какая-то это невразумительная избирательная система,— сказала Анна Олеговна, туповато оглядывая собрание.— А если я, положим, захочу проголосовать против Веры, но за Никиту?

— Тогда головку вы оставляете, а от противоположного конца отгрызаете огрызок с ноготок.

— А если за Веру и Никиту, но против Василия?

— Тогда просто переламаываете спичку на две равные части.

— Нет,— сердито произнес Фондервякин,— я таким причудливым путем голосовать не согласен! Запутаемся, к чертовой матери, или, чего доброго, начнутся всякие махинации.

— А ну их к дьяволу, эти выборы...— предложил Чинариков.— Давайте вообще сделаем из комнаты Александры Сергеевны Пумпянской мемориал. И не в обиду никому, и голову с этими дурацкими выборами не ломать...

— Меня другое интересует,— вставила Любовь Голова,— почему это вы все будете голосовать, а мы с Дмитрием не будем голосовать? Это, по-вашему, называется демократия?

— Цыц! — урезала ее мать.

Фондервякин подбоченился, люто посмотрел на Чинарикова и сказал:

— Я, Василий, даю твоему возмутительному предложению самую решительную отставку! Это же надо додуматься до такого: Вера на сносях, Юлия ютится

с двумя детьми, заслуженному человеку некуда при-  
ткнуть шестнадцать банок...

— Уже пятнадцать,— поправил Митя.

— ...пятнадцать банок консервированного компота, а этот тип предлагает отдать вполне жилое помещение под какой-то мемориал!

— Не под какой-то мемориал,— пояснил Василий,— а под мемориал коммунальной жизни, вообще быта маленького советского человека. Чудаки, ведь еще лет пятнадцать пройдет и подрастающее поколение понятия не будет иметь о том, как бедовали отцы и деды! Ведь Дмитрий с Любовью — это последние советские люди, которые будут помнить о тяжелом наследии «военного коммунизма»!..

— Век бы о нем не помнить,— вставила Юлия Глова.

— Ну, не скажи,— возразил Валенчик.— Как хотите, товарищи, а все же это были университеты конструктивно новых человеческих отношений. Спору нет, горькие это были университеты, но ведь от них остались не только кухонные драки и керосин в шах, но и та, я бы ее даже назвал, семейственность, которая покамест еще теплится в наших людях. Скажете, не так?..

— Так,— сказал Фондервякин.— Всякое было: и хорошее и плохое. Только как вспомню, что мне довелось пережить хотя бы через банду Сизовых или оперуполномоченного Кулакова, прямо мороз по коже дерет!

— Но с другой стороны,— вступила Анна Олеговна,— вспомните, как мы дружили в Олимпиаду! То есть я хочу сказать, что в нашей богоспасаемой двенадцатой квартире не только не было добра без худа, но и худа не было без добра. Вот вам конкретный пример: вроде бы Петя с Любовью чужие дети, а вроде и как свои. Кстати, Любовь, ты бы открыла дверь на черную лестницу, а то уже прямо не продохнуть...

Любовь недовольно стронулась со своего места и отперла дверь черного входа, из которого сразу потянуло сырой прохладой.

— Я вообще полагаю,— сказал Белоцветов,— что коммунальный строй быта сыграл в развитии национального характера настолько большую роль, что историкам в этом деле предстоит еще разбираться и разбираться. Нет, кроме шуток, некоторым образом семейственный стиль нашей жизни — это, как говорится,

факт, и если он хотя бы отчасти следствие коммунальности, то мы должны ей сказать большое спасибо, не смотря на керосин в шах, драки и прочие безобразия.

— А по-моему, это все просто пещерный социализм,— сказала Юлия Голова.— И чему вы все умиляетесь, я, признаться, не понимаю...

— Я лично тому умиляюсь,— ответил ей Фондервякин,— что в коммунальной квартире все на людях, все на виду: тут уж невестку до самоубийства не доведешь, вообще не позволишь вести себя абы как, а все более или менее соответственно коллективному интересу. Отсюда, между прочим, и судьбы, так сказать, под копирку. А ну-ка, Петро, как там про Киську поется в высококой песне?

Петр пригладил русый хохолок, который выскочил у него на затылке, и с сосредоточенным певческим выражением затянул:

Вы тоже пострадавшие,  
А значит, обрусевшие,  
Мои без вести павшие,  
Твои безвинно севшие...

На последнем слове в прихожей раздался звонок, и Митя Началов бросился открывать. Вернулся он в сопровождении странной пары, появление которой удивило всех, кроме Белоцветова, потому что это были Саранцев и Кузнецова.

— Это, товарищи, родственники нашей Пумпянской,— объяснил собранию Белоцветов.

— Чем, как говорится, обязаны? — на официальной ноте спросил Валенчик.

— Как это чем? — переспросила с легким возмущением Кузнецова.— Мы все-таки вашей соседке не что-нибудь, а родня, и кое-какое имущество после нее осталось, и в комнате, наверное, задним числом можно кого-нибудь прописать...

— Двенадцать человек на сундук мертвеца! — вставил Митя и саркастически улыбнулся.

— Имущество у старушки, положим, плачевное,— заявил Валенчик,— это я искренне говорю...

— Ну, не скажите,— остановила его Кузнецова.— Там одно японское деревце стоит, как «Жигули».

— Что же касается комнаты,— сказала Юлия Голова,— то и без вас на нее достаточно претендентов.

— Иисусе Христе! — воскликнула Капитонова.—

Это что же делается: пол-Москвы слетелось на десять квадратных метров!

— Не беспокойтесь, Анна Олеговна,— успокоил ее Фондервякин,— комнатку мы посторонним лицам не отдадим, и плачевное имущество они получают не иначе как через суд.

— Ну к чему все эти бюрократические рогадки? — сказал Алеша Саранцев.— Неужели нельзя решить этот вопрос на каких-то гуманистических основах?..

— Действительно, товарищи,— поддержал его Чинариков и ласково улыбнулся.— Все-таки они не что-нибудь, а родня...

Анна Олеговна сказала:

— Шут их знает, какая они родня!

— И главное, что за выдающаяся наглость! — добавила Юлия Голова.— Это же надо додуматься: в совершенно чужой комнате задним числом кого-нибудь прописать!

— Кстати, ребята,— напомнил Душкин,— может быть, вы все-таки займетесь распределением освободившегося жилья?

— Да мы-то что,— сказал Генрих Валенчик и толкнул Душкина в бок локтем.— Мы с открытой душой; это просто являются всякие темные родственники и не дают заниматься делом. Значит, так, вот спичечный коробок...

— Погоди-ка, Генрих,— остановила его супруга.— Сначала давайте решим: принимаем мы претензию родственников Александры Сергеевны на освободившуюся комнатку или не принимаем?

Алеша Саранцев предупредил слишком очевидную реакцию на этот вопрос.

— Лично мне эта комнатка не нужна,— сказал он и приложил правую кисть к груди.— Но что касается имущества моей тетки, то я бы попросил предоставить его в наше распоряжение безо всяких бюрократических проволочек.

— Все, мое терпение лопнуло! — вмешался в спор Душкин.— Если вам, ребята, недосуг разбираться с освободившейся комнаткой, то я решу конкретный жилищный вопрос по собственному усмотрению.— Тут он повернулся к Востряковой, выдержал злую паузу и продолжил: — Так что, товарищ Вострякова, придется тебе предоставить эту комнатку мне! Я ее требую не потому, что она мне нужна, а из принципа, чтобы



этой интеллигенции досадить! Иначе я подаю заявление по собственному желанию!

Видимо, это была основательная угроза, так как лицо Востряковой сразу приняло покорное, беззащитное выражение.

— Ну мерзавец! — прошипела Юлия Голова.

— Это и есть, товарищи, мой сюрприз. Хоть вы в ООН пишите жалобу на наш ЖЭК, а все равно в старушкину комнату въеду я!

— Это что же такое, товарищи, происходит? — с оскорбленным испугом заговорил Фондервякин. — Ведь это же чистой воды разбой!

— Ты отвечаешь за свои слова? — вкрадчиво спросил Душкин.

— Я за свои слова полностью отвечаю: жулик ты с подрывным уклоном! То-то я гляжу, товарищи, что у него давеча пешка с В4 сразу перепрыгнула на В6! Жулик ты, вот и все!

— А что, если я тебе сейчас за «жулика» в рог дам?

— Что-о! — взвопил Фондервякин, и его лысина страшно побагровела. — Ты еще угрожать?! Да я тебе, контра, вот этой гусятницей голову проломлю! — И Фондервякин действительно схватил со стола капитоновскую гусятницу.

Вслед за этим опасным жестом случилось то, что в драматургии зовется немой сценой: в отпертую накануне дверь черного хода неожиданно вошел участковый инспектор Рыбкин, и кухня сразу окаменела; Фондервякин так и остался стоять с гусятницей в правой руке, на лице у Душкина застыл боевой оскал, Чинариков замер в некой примирительной позе, поскольку он уже было собрался Фондервякина с Душкиным разнимать, и даже Петр, которому еще рано было побаиваться милиции, одну ножку опасно задержал под табуретом, а другую опасно же вытянул вперед как бы для маленького батмана.

Рыбкин вышел на середину кухни, притронулся к фуражке, по обыкновению сдвинутой на затылок, бесстрастно оглядел присутствующих и сказал:

— Явился я к вам, товарищи, с информацией невеселой. Сегодня утром тело вашей старушки обнаружили на скамейке в самом начале Покровского бульвара — так она, бедняга, сидя и умерла.

— Она сама умерла или ее убили? — не своим голосом спросил Белоцветов.

— Именно что сама. Экспертиза показала острую сердечную недостаточность вследствие переохлаждения организма.

Чинариков сказал:

— И что же, так она двое суток на скамеечке и сидела?

— Смерть наступила в ночь с пятницы на субботу. Стало быть, в мертвом виде старушка просидела на скамейке часов так тридцать. Еще вопросы есть?

— Вопросов нет,— откликнулся Фондервякин,— но есть одно горькое примечание: это что же делается, куда мы с вами идем? Мертвая старуха сидит тридцать часов подряд в самом центре Москвы — и будто бы так и надо! То есть за тридцать часов ни одна зараза не подошла и не поинтересовалась: дескать, ты чего, старая, тут расселась?..

Рыбкин строго посмотрел на Фондервякина и сказал:

— Раз вопросов нет, то давайте, товарищи, расходиться.

И все начали расходиться.

Белоцветов пристроился к Кузнецовой и, сделав из вежливости одно-другое праздное замечание, представил ей фотокарточку, которую давеча выклянчил у Петра.

— Вы, часом, не знаете этого человека? — с деланной ленцой в голосе спросил он.

Кузнецова печально посмотрела на фотокарточку и сказала:

— Как не знать, это покойный Сашин отец и есть! Собственной персоной Сергей Владимирович Пумпянский, коллежский советник и кавалер.

#### Часть четвертая ПОНЕДЕЛЬНИК

##### 1

Что представляется особенно интересным: как явствует из характера событий, развернувшихся в двенадцатой квартире большого углового дома по Петрове-ригскому переулку, настоящая история будет попроще и пожиже санкт-петербургского варианта. Вроде бы и народ все тот же, великорусский, и обстоятельства

сходны, и между интригами много общего — все-таки тут и там в некотором роде горе от ума, вымученная драма, а вот поди ж ты, совсем другой накал жизни! Уже нет того надрыва в характерах и разгула личного чувства, той скрупулезности бытия и саднящей углубленности мысли, из которой рождаются величественные безобразия,— все как-то квело, несмело, обыкновенно. Но главное, характеры измельчали. Положим, Лев Борисович Фондервякин и баламут, и, как говорится, не дурак выпить, а все же не Мармеладов, участковый инспектор Рыбкин тоже блюститель порядка, не обделенный способностями к индуктивному образу мышления, но до Порфирия Петровича ему далеко, а Любовь Голова не только не Соня, но до такой степени в этой истории неприметна, то есть до полной бесплотности неприметна, точно ее и нет.

Конечно, многое зависит от проникаемости взгляда и градуса впечатлительности. Однако дело тут не только в том, что глубоко различны природные возможности повествователей, а еще и в том, что санкт-петербургский вариант драмы был исполнен в сугубом соответствии с законами искусства, а настоящая хроника есть попытка воспроизведения жизни в соответствии с законами самой жизни, еще предпринятая и затем, чтобы, буде можно, определиться: отчего это в живописи красное чаще всего отображается красным, а в литературе серо-буро-малиновым, и выходит самое то, как выражается народ в своей пленительной простоте. Но поскольку попытки такого рода отягощаются тем, что жизнь изреченная все равно есть отчасти литература, только неосновательная, то в результате выходит ни то ни се, ни богу свечка ни черту кочерга, а именно нечто бескровное, так сказать, нежилое. И это неудивительно, потому что художественное есть правило, а жизненное — частные случаи из него, каковые только художник способен выстроить в осмысленное единство, чреватое высшей целью. В частном же случае этой идеи нет. Стало быть, суть художественного таланта заключается в темной способности такого преобразования частного в целое, какое в состоянии разразиться великой правдой, может быть, даже в способности созидания этой правды из материала, напрочь лишенного ее духа, вроде обожженной глины, из которой строятся прекрасные города.

С другой стороны, все же не исключено, что в наше

время произошла заметная демократизация мысли, страдания и поступка. Произойти она могла и по причине благообразных условий жизни, с которыми дух состоит в обратно пропорциональных отношениях, или по причине всеобщего среднего образования, или по той причине, что человек попросту обмелел. Оттого-то у нашей жизни совершенно иной накал, и наполеоновские идеи уже не являются никому, и чиновник допытется разве что до дворника, но никак не до самоубийцы, и человек с незаконченным университетским образованием не пойдет по старушку, вооружившись украденным топором, и «в Америку» никто не отправится посредством дамского револьвера только из-за того, что просто-напросто — скукота.

Тем более странно, что в самых общих чертах классическая история повторилась в наши бесстрастные времена, как, бывает, повторяются в общих чертах судьбы, исторические события, катастрофы, точно есть в этой истории некая бытийная инвариантность. И вот даже до такой степени повторилась, что утром в понедельник как с неба свалился Лужин, и не просто Лужин, а именно Петр Петрович Лужин, который оказался старинным знакомым Юлии Головы по городу Ярославлю, где Юлия очень давно проходила практику на химическом комбинате; по законам литературы появление Лужина должно было бы иметь какую-нибудь драматическую нагрузку, что-то из этого обязано было последовать, а так — появился и появился.

Произошло это следующим образом: около восьми часов утра, когда Генрих и Вера уже уехали на работу, Анна Олеговна готовила Мите завтрак, Юлия Голова рисовала себе лицо, Чинариков собирался идти колоть лед возле дома № 8, Белоцветов, проснувшийся ни свет ни заря, лежал на своем диване и задумчиво рассматривал потолок, молодежь еще спала, а Фондервякин без дела отирался на кухне, в дверь позвонили весело-беспокойно, и через минуту в прихожей появился Петр Петрович Лужин, который первым делом провозгласил, что он пару дней поживет у Юлии Головы. Он оказался человеком шумным, простым и открытым до неприличия, например, через четверть часа после своего появления он уже рассказывал на кухне о том, что только-только развелся с женой по причине чисто физиологического порядка, что он приехал в Москву присмотреть невесту, что ему сильно приглянулась Любовь Голова

и что, дождавшись совершеннолетия избранницы, он непременно добьется ее руки.

— Ну, это мы еще посмотрим,— неодобрительно сказал Митя.

В девятом часу утра квартира притихла, так как учащаяся и трудящаяся часть жильцов разошлась по своим делам, Петр отправился на прогулку, Лужин прилег соснуть, Анна Олеговна принялась за «Донские рассказы», которые она мусолила третий месяц, а Чинариков с Белоцветовым в это время приближались к дому № 8; поскольку многое нужно было договорить и поскольку так называемый библиотечный день у Белоцветова падал на понедельник, он вызвался помочь Чинарикову расчистить тротуар возле дома № 8.

Дойдя до места в сосредоточенном молчании, если не считать пары никчемных реплик, Чинариков вооружился ломом, к концу которого было приварено лезвие топора, а Белоцветов алюминиевой лопатой, и они принялись за работу. Как только они принялись за работу, сразу завязался давно предвкушаемый разговор.

— Ну и что ты обо всем этом думаешь? — спросил Белоцветов, примериваясь к лопате.

— То же самое, что и позавчера,— ответил Чинариков, сделав энергичный выдох на слове «позавчера». — Была старушка, да вся вышла.

Белоцветов сказал на печальной ноте:

— Завидую я тебе, Василий, хладнокровный ты человек.

— Я не хладнокровный, я психически приспособленный. Бери пример с меня: когда мне не хочется плакать, я стоик, когда хочется, дзэн-буддист. Вообще очень прав был тот азиатский умник, который сказал: спокойно сиди у порога своего дома, и твоего врага пронесут мимо тебя.

— Вот я и говорю: хладнокровный ты человек.

Несколько минут они работали молча; Чинариков откалывал своим причудливым инструментом куски грязного льда, а Белоцветов выбрасывал их лопатой на мостовую. Затем Белоцветов продолжил начатый разговор:

— А я вот что обо всем этом думаю: невероятная, мефистофельская какая-то вышла история, не нынешнего пошиба. Такие истории мыслимы в эпоху великого переселения народов или в булгаковское двадцатилетие, но в наши дни они невозможны, даже неуместны, как

война Алой и Белой розы. Между тем налицо следующая картина: в пятницу вечером в самом центре Москвы является привидение коллежского советника Пумпянского, которое уводит собственную дочь на Покровский бульвар, и она там помирает от переохлаждения организма; предварительно возникает разорванная фотокарточка давно умершего старика, Фондервякин сулит труп ребятам из «скорой помощи», и в квартире раздается телефонный звонок — может быть, с того света. Вот такая, Василий, вырисовывается картина.

Чинариков сказал, преодолевая одышку:

— При таком романтическом взгляде на вещи чудо даже то, что у фармакологов бывают библиотечные дни.

Белоцветов поехал, но не от чинариковских слов, а оттого, что несколько капель талой воды ему попали за воротник. Вообще погода в тот понедельник выдалась волнующе неприятная: было пасмурно, зябко, даже попросту холодно, но при этом в воздухе стоял явственный привкус весны и так согласно капало с крыш, как будто дождичек начинался.

— Понимаешь, Никита, какое дело,— продолжил Чинариков, по-прежнему орудуя гибридом из лома и топора,— ты хоть и постарше меня, но все-таки ты помладше. То есть я что хочу сказать: я такого за свою жизнь насмотрелся, что тебе не приснится в кошмарных снах, и поэтому романтизма во мне осталось на две копейки. Мы вот с тобой думаем, например, что человек есть непререкаемая и высшая ценность — по крайней мере нас так учили,— а я видел собственными глазами, как эта самая высшая ценность валяется без головы и с оголенной грудной клеткой, сквозь которую просматривается высохшее сердце, похожее на старушечий кошелек. И то, что я после этого муху не в состоянии прибить,— это тоже, конечно, чудо.

— Я что-то не понимаю, к чему ты клонишь.

— Я, Никита, в конечном итоге клоню к тому, что вечером в прошлую пятницу Юлия Голова просто-напросто перепила крепкого чаю, и ей померещился незнакомец, а старушка Пумпянская вышла на ночь глядя подышать свежим воздухом, присела на скамейку и померла.

— Может быть, ты и прав,— сказал Белоцветов,— но только я при своем мнении остаюсь: произошла трагедия новейшего образца. То есть я хочу сказать, что

история с Пумпянской показательна в смысле новейшего тура противоборства добра и зла. Какая-то стоит за ней свежая темная сила, еще неизвестная человеку.

Чинариков сказал:

— Выдумываешь, профессор.

— Может быть, и выдумываю,— ответил с покорностью Белоцветов.— Но что меня толкает на эти выдумки? Глубочайшая уверенность в том, что с некоторых пор у нас и зло не как у людей, и добро не как у людей, превращенные они какие-то, пропущенные через семьдесят один год социалистического строительства. Отсюда одна идея...

Чинариков вздохнул и набросился на лед с такой страстью, как если бы он его издавна ненавидел.

— Так вот, идея заключается в том, что историческая задача нашей информации есть обеспечение нравственного строительства, обеспечение перехода от хомо сапиенс к человеческому человеку. И социализм будет этим заниматься вовсе не потому, что так ему хочется, а потому, что у него и выхода-то другого нет: во-первых, мы отказались от права сильного и прочих законов джунглей как регуляторов общественного порядка, во-вторых, у нас слишком многое держится на вере в лучшие возможности человека, точнее будет сказать, пока рассыпается, а не держится, поскольку наше общество скроено на вырост, с некоторым запасом, как детское пальтецо.

— В этом-то вся и штука,— на злобной ноте сказал Чинариков,— то-то истораживает, что по прекраснуюдушью своему не учла система реального человека!

— Да нет в этом ничего страшного, как ты не понимаешь! Разрыв между возможностями общества и возможностями личности — это не трагедия, грозящая катастрофой, а стимулятор особой силы, который обеспечивает бурный рост! Вот в Америке социальные возможности совершенно в пору возможностям человека, и поэтому Толстого там считают большевиком... Одним словом, это когда ботинки малы, ногу натираешь, а когда они велики, нужно только стелечку подложить. Отсюда, между прочим, и первоочередная тактическая задача — частичная ликвидация этого разрыва через уничтожение примитивного зла, того самого зла, которое имеет животное происхождение, которое мы унаследовали вместе с волосатостью и клыками. Причем

сейчас наступает такой момент, когда этот разрыв необходимо ударными темпами ликвидировать, иначе мы рискуем как минимум вечно импортировать соленые огурцы. Причем я полагаю, что уничтожение простейшего зла — это не эпопея. Просто за всю историю человечества им никогда вплотную не занимались. Косвенно, через созидание нового зла и на словах — это, конечно, было, но непосредственно и вплотную — этого не было никогда. Какие соображения удерживают меня на той позиции, что ликвидация простейшего зла — это не эпопея?.. А вот какие: во-первых, не все зло — зло, то есть мы часто заблуждаемся относительно качества некоторых поступков и ошибочно принимаем за зло некоторые санитарные процедуры.

— Например?

— Например, вредить человеку нехорошо, но вывести негодяя на чистую воду — святое дело. Во-вторых, многого можно достичь, если просто-напросто объяснить людям, что гадить ближнему — занятие трудоемкое и частенько себе дороже, а не гадить выгодно, весело и легко. В-третьих, ты забыл про таблетки от подлецов...

На этих словах Белоцветов вдруг замолчал, так как он приметил на противоположной стороне переулка двух прохожих и одну бездомную собачонку, которые разглядывали приятелей с опасливым любопытством. Впрочем, эту троицу можно было понять: волей-неволей остановишься, повстречав мужиков, вооруженных дворничьим инструментом, которые, вместо того чтобы очищать ото льда панель, как сумасшедшие размахивают руками и в голос толкуют про таблетки от подлецов.

Еще минут пять после того, как прохожие удалились и собачонка меланхолично затрусилась в сторону Исторической библиотеки, Белоцветов с Чинариковым работали молча, а затем разговор продолжился своим чередом.

— Но, конечно, самый главный пункт,— сказал Белоцветов, облакачиваясь на лопату,— заключается в том, что я не призываю злодеев и незлодеев творить добро, а призываю их просто не делать зла на том основании, что это очень удобно — просто не делать зла. Допустим, гипотетическому мерзавцу не приглянулся мой образ мыслей и он настроил на меня донос; спрашивается: зачем? Человек корчился в муках творчества, бумагу марал, потратился на конверт с маркой — к чему все это, если мне плохо и без того?..



— Господи, какой же ты все-таки наивняк! — воскликнул Чинариков и, опершись на инструмент, принял позу как бы алебардиста.— Христос не тебе чета, а и то потерпел фиаско.

— Это и вправду странно: человеку обещают, даже гарантируют вечное бытие только за то, чтобы он не убивал, не крал и не совращал, то есть предлагают абсолютную выгоду и решение всех вопросов, а он все равно убивает, крадет и совращает — вот откуда такая стойкость?

— Да все оттуда же, профессор! — с чувством сказал Чинариков.— Зло, как материя,ечно и бесконечно.

— Если бы это было так, то жизнь никогда не продвинулась бы дальше дезоксирибонуклеиновой кислоты. Наверное, дело в том, что ад ведь тоже вечная жизнь, а между хорошей вечной жизнью и плохой вечной жизнью разница небольшая. Я хочу сказать, что расправиться с простейшим злом — сумасшедших я пока в расчет не беру — значит совершенно доказать обыкновенному слабому человеку: неделание зла сулит ему выгоду неизбежную и прямую. А как это доказать, если даже Христос потерпел фиаско?.. Единственное, что как-то успокаивает: возможно, добро воцарится само собой. Ведь жизнь человека — это модель истории человечества. Младенчество соответствует стадии дикости, недаром младенцы, например, так добродушны и непосредственно-агрессивны. Детство соответствует эпохе античности, в эту пору у человека рождается душа, а у человечества — сознание того, что оно человечество; между прочим, это очень показательно, что наш Петька Голова обожает петь и ему ничего не стоит подсыпать в чай марганцовки или какой-нибудь дрянью намазать дверную ручку. Далее: средневековье — это отрочество, которому свойственны нелепые предрассудки, тупая жестокость, вероспособность, нетерпимость и острая чувствительность, которая идет от любви к самому себе. Соответственно юность — это новое время со всеми его порывами... Ну и так далее.

— Пусть так, но что из этого следует?

— Из этого много чего следует. Первое: что в преклонные годы человек становится безобидным, и, следовательно, мы никуда не денемся от царствия божьего на земле, оно неизбежно, как старение организма. Второе: что злодей — это просто-напросто человек, не вы-

росший из подростков, и он так же нелеп и, в сущности, обречен, как, скажем, нацизм, который ни при какой погоде не мог вписаться в новейшие времена. Третье: что на сегодняшний день добро — безусловно норма, а зло — патология, и человека, способного ударить другого человека по лицу, необходимо изолировать от общества как опасного душевнобольного... Но главное, что из всего этого следует, — нашему обществу выпала миссия дальнейшего нравственного строительства. Вот такая, понимаешь, новая московская философия...

— А старая московская философия — это как?

— Старая — это чаадаевщина, в том смысле, что от России толку не было и не будет.

— Из всего сказанного тобой, — вставил Чинариков, — не следует самого главного, а именно ответа на вопрос, как сделать так, чтобы всем стало яснее ясного: добро — это выгодно и легко?

— Чудной ты, ей-богу! — сказал Белоцветов и свободной рукой что-то чудное изобразил. — Если бы это было так просто, то давно и духу не осталось бы от злодеев. Да чего там далеко ходить: вон Адам и Христос — родные братья, а какая разница! И самое страшное, что исходный материал один и тот же — плоть и закодированные в ней божественные возможности. Нет, дело, наверно, вот в чем: если становление человека — это процесс реализации родового кода через соприкосновение с внешним миром, то, возможно, недочеловечность есть следствие недополучения какой-то очень важной информации, из-за чего код реализуется не вполне; как не весь металл выхолащивается из руды, если в печь недоложить катализатора или занижить температуру, так и не вся человечность вырабатывается в человеке, если жизнь ему что-то недодала. И я даже подозреваю, что она именно человеку недодала — несвободы, зависимости, ярма. Потому что, возможно, в идеале человек есть глубоко несвободное существо, существо, строго ограниченное правилами добра. Вот мы с тобой не свободны от форм своей оболочки, называемой телом; точно так же человек будущего будет не свободен от своей сути...

— Послушай, профессор! — сердито сказал Чинариков. — Ты мне помогать пришел? Вот, едрен корень, и помогай!

Белоцветов послушно начал орудовать алюминиевой лопатой, но от своего монолога не отступил.

— Вообще это крупное недоразумение, что сегодня свобода имеет такую цену,— в другой раз хлеба не надо, а свободу подай сюда. Потому что на самом деле она прямой признак этапности, несовершенства и даже она в некоторой степени пережиток. Когда-то свобода действительно была единственным путем самостроительства человека, единственным выходом из зоологического состояния, но в наше время она помеха. Вот тебе доказательство: все жизнеспособное, то естьобразное назначению, стремящееся воплотиться в своем идеале, соответствующим образом нацелено и, стало быть, несвободно.

— Ну, напустил туману! — сказал Чинариков.

— Хорошо, раз ты такой недотепа, то приведу тебе конкретный пример: если я как жизнеспособное и разумное существо поставил перед собой цель жениться, то я обязательно помоюсь, оденусь попритягательнее и буду всячески обхаживать свою избранницу, виться вокруг нее мелким бесом, в то время как, будучи просто свободным существом, я на пути к этой цели могу еще поспорить с милиционером, украсть у соседа двадцать рублей, напиться, съездить в Архангельск и броситься из окошка. Теперь понятно? То есть тебе понятно, что свобода выбора изживает свою насущность и становится довеском из гвоздей к порции колбасы, как только человечество исчерпывает возможности выбора на основе здравого смысла, как только человечество подходит к вещам, которые не выбирают,— к единичному вследствие большего совершенства. В современных условиях это единичное есть такой образ жизни, который исключает злодеяние против личности. Стало быть, остается только подсказать человеку, что выбора у него нет, что быть действительно человеком — значит не вредить ближнему, что действительно жить — значит не делать зла. И, в частности, потому, что действительная жизнь есть наслаждение возможностью личного бытия, а оно доступно лишь чистым душам.

— Ты вот чего не хочешь принять в расчет,— сказал Чинариков,— ты преподобные особенности российской жизни не хочешь принять в расчет. Вот я завтра решу жениться и на пути к этой цели как раз напьюсь, украду у соседа деньги, поспорю с милиционером, уеду в Архангельск — и там женюсь.

Тем временем жизнь в двенадцатой квартире шла своим чередом. До обеденного времени ее ход был малоприметен, потому что ярославец Лужин спал на диване Юлии Головы, Петр сидел на кухне и пиялился в окошко, прилипнув к нему лицом, Анна Олеговна «Донские рассказы» одолевала. Но во втором часу дня пришла из школы Любовь, и жизнь квартиры несколько оживилась.

Первым делом Любовь накормила Петра ненавистными ему кушаньями, потом выпроводила брата гулять, потом уселась напротив спящего Лужина и сказала как бы сама себе:

— А спать здесь нечего, у нас не богадельня для престарелых.

Скрипнула, отворяясь, дверь, и в комнату просунулась Митина голова. Несколько секунд Митя с неприязнью смотрел на Лужина, потом пристально — на Любовь и, точно припомнив что-то, поманил ее пальцем, приглашая выглянуть в коридор.

— Скажи, кума, похож я на подлеца? — убитым голосом спросил Митя, как только за Любовью закрылась дверь.

— По-моему, не похож.

— А вот выходит, что я подлец. Как это ни печально, а нужно признать, что я полный мерзавец и сукин сын!

— Почему?

— Этого я тебе пока сказать не могу. Пока поверь на слово: мерзавец и сукин сын. Самое интересное, что это, оказывается, ужасно — понимать, что ты гад паршивый. Такое чувство, точно все кончилось, точно уже ничего не будет... как будто тебе ноги отрезало электричкой!

— Ну, полный вперед! — с испугом сказала Любовь и приложила к щеке ладонь. — Да что случилось-то? Из школы за что-нибудь исключили?

— А? Нет...

— Тогда, может быть, ты заболел? Вон ты какой — бледный как полотно.

Митя посмотрел на Любовь таким образом, как смотрят на людей, которых силятся узнать, но узнать не могут.

— Может, и заболел,— проговорил он,— это даже очень возможно, что заболел. То-то я сегодня на химии сижу — думаю, на истории сижу — думаю, на английском сижу — опять думаю!..

— И про что же ты думал?

— Про то, что я мерзавец и сукин сын.

— Если бы ты знал, какой мерзавец этот... ну, который приехал из Ярославля, ты перед ним святой. Ты представляешь, он мне такие пошлости говорил!..

Митино лицо из наивно-печального сделалось злым и озарилось нехорошей улыбкой.

Хлопнула входная дверь, и в прихожую ввалились Чинариков с Белоцветовым. Чинариков говорил:

— ...Между тем Жером Лежен давно доказал, что законы разума как-то соответствуют законам мироздания, а вот законы нравственности — никак. Стало быть, разум развивался согласно природе, а нравственность — вопреки.

— С чего ты, собственно, взял, что нравственность — это одно, а разум — совсем другое? — спрашивал Белоцветов, вводя Чинарикова в свою комнату.

— Кое-какие основания для этого у меня есть. Положим, зло имеет массу причин самого эмпирического происхождения, от желания личной выгоды до желания выглядеть в глазах ближнего лучше, чем ты того заслужил; добро же, то есть нравственность, всегда исходит из одного: из того, что зло душа не принимает...

С этими словами Чинариков сел на диван и полез в карман джинсов за папиросой.

— Да нет же, Василий, в том-то все и дело, что нравственность и разум нерасторжимы. Недаром, только вкусив от древа познания, Ева с Адамом увидели, что они наги. Недаром с нашим миром не гармонирует только лучшая, именно мыслящая часть человечества... Одним словом, все разумное нравственно, а все нравственное разумно.

— Я не понимаю, к чему ты клонишь,— сказал Чинариков и выпустил из ноздрей неестественно много дыма.

— Я клоню к тому, что в программу природы наверняка входила задача ограждения человека — существа нежного и, в общем-то, беспомощного в первые полтора миллиона лет его истории,— задача ограждения человека некой охранной грамотой, некой иммун-

ной системой от сонмища внешних бед, от жестоких законов диалектики, способных загубить его на корню. Этой охранной грамотой и стала нравственность личного порядка. На практике она могла так работать, хотя это, конечно, в порядке бреда: разумно-нравственная моя суть никогда не занесет меня в компанию убийц, которые могут запросто проиграть меня в три листа.

Раздался властный стук в дверь, и Белоцветов сказал:

— Войдите!

Вошел участковый инспектор Рыбкин, он снял фуражку, протер внутренность тульи носовым платком, снова надел ее на затылок и сказал голосом крайне усталого человека:

— Я из-за вашей квартиры, наверное, скоро подам в отставку...

— Одну минуту, товарищ Рыбкин,— остановил его Белоцветов,— еще пару слов, и мы к вашим услугам. Так что, Василий, добродетель — это спасение. Быть нравственным человеком — значит, возможно, даже прежде всего быть человеком настолько разумным, чтобы соображать: добро или по крайней мере неделание зла — это то, что хранит тебя от несчастий. Если тебе плевать на охранную грамоту, выданную природой, то ты живешь под законами диалектики — тебе и в морду походя дадут, и свинкой ты заболеешь на старости лет, и кирпич упадет тебе на голову с пятого этажа. А если ты нравствен хотя бы пассивно, то природа в этом случае освобождает тебя ото всех излишних, незаслуженных, праздных бед. И от некоторых заслуженных тоже.

— А по шее ни за что ни про что кто вчера получил? — ядовито спросил Чинариков и с чувством раздавил окурок в голубом блюде, на котором лежал сахарный огрызок и ломтик высохшего лимона.

— Так что там у вас, товарищ Рыбкин? — сказал Белоцветов, состроив на лице нечто канцелярское, деловое.

— Да вот опять от вашего жилья поступил сигнал. И опять в стихах...

— Не берите в голову,— сказал Чинариков.— Тем более что имеется гораздо более серьезная тема для разговора. Как насчет дела Пумпянской, товарищ Рыбкин?

— Дело темное,— сказал Рыбкин.

— Да уж, темнее некуда,— печально согласился с ним Белоцветов.— И это вы еще не все знаете. Например, вы не знаете, что примерно через сутки после исчезновения Пумпянской на ее имя пришло загадочное письмо, буквами, вырезанными из книжки «Серебряное копытце», в нем была выклеена смертельная угроза и требование вернуть какие-то документы. Изрезанную книжку я обнаружил в комнате Юлии Головы. Как вам это нравится?

— Мне это совсем не нравится,— сказал Рыбкин.

— Мне тоже,— признался Белоцветов и заходил, что называется, из угла в угол.— Таким образом, у нас складывается в высшей степени диковинная картина: в день смерти коллежского советника Пумпянского в нашей квартире появляется его привидение, которое вогнало в ужас Юлию Голову...

— Вы дождетесь,— перебил его Рыбкин,— вы дождетесь, что в конце концов поступит сигнал и на ваше идеалистическое мировоззрение.

— Ну так вот,— переждав, продолжал Белоцветов,— значит, появилось привидение, которое вогнало в ужас Юлию Голову; вслед за этим Пумпянская приняла таблетку седуксена, прихватила с собой фотокарточку отца — или привидение прихватило собственную фотокарточку, которую оно потом зачем-то изорвало,— и отправилась на Покровский бульвар, где в скором времени и скончалась от переохлаждения организма; а на другой день является письмо, вырезанное из «Серебряного копытца».

— Если отменить гипотезу с привидением, то так оно все и было,— подтвердил Чинариков.

— К сожалению, это не гипотеза,— возразил Белоцветов,— а почти медицинский факт. Мало того что Юлия учуяла жженую серу, вчера еще и Кузнецова узнала по фотокарточке старика. Какие будут выводы? У меня как нарочно вывод один: мерещится мне за всем этим некая свежая темная сила, зло, так сказать, новейшего образца... Я его чувствую, как ревматики непогоду.

Рыбкин помрачнел и сравнительно надолго вперил ся в стену странно налившимися глазами. Затем он сказал:

— Главное, что нет состава преступления, проис-

шествия и то нет. Есть просто-напросто смерть старушки, окруженная некоторыми загадочными обстоятельствами.

— Вам бы, ментам, только б ничего не делаты! — со злобой сказал Чинариков.

— Слушай, ты возьми себя в руки, — отозвался инспектор Рыбкин, — ты не забывайся — я все-таки при исполнении!

Белоцветов заметил:

— Мне, как это ни странно, вот еще что не дает покоя: зачем Петька-то той ночью на горшке сидел и делал вид, что просматривает газету?

— Гораздо интереснее было бы узнать, — сказал Рыбкин, — похож Фондервякин на Пумпянского или же не похож.

У Чинарикова с Белоцветовым сразу сделались какие-то внимательные обоюдные физиономии.

— Ну как похож... — проговорил Чинариков, шаря глазами по потолку. — Похож, конечно, как все лысые похожи меж собой...

— Ну почему? — сказал Белоцветов. — Они и ростом примерно одинаковые, и в сложении общее что-то есть. Вообще эта версия мне близка; очень может быть, что именно Фондервякина увидела Юлия в коридоре и с испугу потом узнала его в фотокарточке старика. То есть очень может быть, что именно Фондервякин как-то подвел нашу старушку под переохлаждение организма.

Чинариков предложил:

— Может быть, мы на него нажмем?

Белоцветов поинтересовался:

— А как ты на него собираешься нажимать?

— Очень просто! Сейчас вот заявимся к нему всей компанией и потребуем: давай сознавайся, гад, а то хуже будет!

— Можно попробовать, — сказал Рыбкин.

— Я вас, ребята, предупреждаю, — заявил Белоцветов, — что из этой затеи получится одна глупость. Тем более что угрозливое письмо исходит не от Льва Борисовича, а от семейства Юлии Головы.

— Ну, положим, кто угодно мог у Петьки книжку украсть, — сказал Чинариков. — А на привидение похож один Лев Борисович Фондервякин!

Внезапно дверь в комнату отворилась, и Фондервякин, выросший на пороге, жалобно произнес:



— Ну где же я похож на привидение, что ты мелешь?

Белоцветов, Чинариков, Рыбкин — все трое были неприятно удивлены.

— И никакой я старушки не убивал, вот честное слово, не убивал! Верьте слову, братцы, ну какой из меня убийца! Давайте я лучше в другом преступлении признаюсь: что хотите со мной делайте, граждане, а никакой я не Фондервякин!..

— Гм! — промычал Рыбкин.— А кто же вы, интересно?

— Фон дер Баккены мы испокон веков. От самой императрицы Елизаветы наша фамилия — фон дер Баккен. В сорок первом году, когда уже началась война, папаша сунул кому-то в загсе, и мы из фон дер Баккенов сделали Фондервякиными. Но вы тоже, граждане, согласитесь: немец прет на Москву, а в Петроверигском переулке существует семья, у которой фамилия никак не соответствует историческому моменту...

На этих словах опять отворилась дверь, и, как это ни удивительно, в комнату заглянул Алексей Саранцев.

— А, вот вы где! — сказал он.— Прошу пожаловать на поминки...

Все не сразу сообразили, что имеет в виду Саранцев, но, подчиняясь пригласительному выражению его лица, вышли в коридор и проследовали за ним в кухню.

### 3

Как и нужно было ожидать, Саранцев со старухой Кузнецовой только что возвратились с Введенского кладбища, где в тот понедельник состоялось погребение Александры Сергеевны Пумпянской, и по этому случаю задают импровизированные поминки. Народу на кухню натолклось множество: тут была вся двенадцатая квартира плюс Душкин, техник-смотритель Вострякова, Петр Петрович Лужин, который присоединился по простоте душевной, и даже двое каких-то вовсе незнакомых мужчин в темных одеждах, притупившихся у окна.

Поминки вышли именно бестолковые, как сказано о таковых же в санкт-петербургском варианте этой истории. Но как там, так и тут «все было приготовлено на славу: стол был накрыт даже довольно чисто.

посуда, вилки, ножи, рюмки, стаканы, чашки, все это, конечно, было сборное, разнофасонное и разнокалиберное, от разных жильцов, но все было к известному часу на своем месте», ну разве что столы были кухонные, хотя и покрытые разномастными скатертями. На столах помещалось множество демократической снеди, закупленной Саранцевым с Кузнецовой где-то в кулинарии; жильцы со своей стороны прибавили сюда некоторые домашние кушанья, например, Капитонова пожертвовала целое блюдо студня. Из вин, впрочем, был один православный кагор, только чуть позже, когда поминки, так сказать, разогрелись и даже несколько разошлись, Фондервякин притащил две банки своих пьяно-моченых яблок.

Но в остальном сходство тех и этих поминок было разительное, во всяком случае необыкновенное; и Кузнецова Зинаида Петровна нервничала и задиралась — главным образом потому, что Пумпянская была похоронена за государственный счет и, так сказать, в одночасье, — и прорывались время от времени несусветные речи, и даже приключился настоящий скандал: Петр Петрович Лужин попытался было стянуть бутылку кагора, которую он засунул в пистолетный карман своих брюк, но был уличен Душкиным и опозорен словесно при всем народе. Однако с Лужина эта неприятность как с гуся вода, он тут же подцепил пирожок с капустой и начал уплетать его как ни в чем не бывало.

Такое сходство житейских сцен, разделенных полуторавековым интервалом, опять же наводит на размышления. А что, если Екклесиаст был прав и действительно нет ничего нового под луной, а все только суета сует и всяческая суета, что жизнь покоится, крепится на каком-то едином и неизменном каркасе, который допускает лишь малозначительные отклонения в строении ее черт, а так она проистекает по раз заведенному и во веки веков нерушимому образцу? Что, если за этой неизменностью кроется разгадка каббалы:  $\sqrt{\text{жизнь}} \times \text{талант} = \text{литература}$ ? Ведь не исключено, что литература родилась и существует единственно потому, что миллиарды жизней суть списки с первоисточника, что всякая жизнь выливается в определенные формы, во всяком случае событийная ее часть строится по извечным формулам и течет по руслам, заданным искони, недаром же истинное художественное

слово — это слово, прежде всего очищенное от своего времени...

Чем чревато это предположение?.. Во-первых, вот чем: возможно, литература изначально и органически сопричастна идее жизни, и если искать начало всему в истории человека, то еще неизвестно, что было вначале; не исключено, что слово-то и было вначале, что все впоследствии по писаному-то и пошло. Во-вторых, не исключено, что словесность — это далеко не просто такое отражение действительности, которое себе на уме, а запечатленная идея самой жизни со всем тем, что ей так или иначе принадлежит,— недаром вся мировая литература посвящена единственному положению: человек есть чудо; иными словами, жизнь в своей основе и литература в своей основе — это одно и то же. Тогда получается, что Фрэнсис Бэкон нисколько не лукавил, утверждая, будто его способности соответствуют истине, тогда получается, что художественный талант есть сопричастность души основному закону жизни,— возможно, даже более единоутробие, нежели сопричастность. В таком случае понятия «жизнь», «талант», «литература» составляют троицу, триединство, а вовсе не каббалу.

С этой позиции мыслящего человека не собьет даже то обстоятельство, что поминки в двенадцатой квартире начались не со слов: «Во всем эта кукушка виновата. Вы понимаете, о ком я говорю: об ней, об ней! — и Катерина Ивановна закивала ему на хозяйку...» — а с того, что Зинаида Петровна Кузнецова сделала несколько шагов по направлению к центру кухни и плаксиво провозгласила:

— Давайте, товарищи, помянем по русскому обычаю новопреставленную рабу божью Александру...

Все подняли свои рюмки, застыли, перевели дух, выпили и снова перевели дух. Единственно Рыбкин только подержал рюмку в руках и поставил ее на место.

— А вы что же, товарищ инспектор? — с фальшивым участием спросил его Фондервякин.

— Станный вопрос...— сказал Рыбкин.— Я же при исполнении...

— Добротный у вас характер,— одобрил его Белозветов,— характер, так сказать, резко континентальный.

— Подумаешь, при исполнении! — вступила техник-смотритель Вострякова.— Я вот тоже практически при

исполнении, а все-таки компанию поддержала. Как говорится, служба службой, а народные обычаи — это свято.

— Если я правильно понимаю,— сердито сказал Алексей Саранцев,— поминки придуманы для того, чтобы покойников поминать. Хотя, если честно, я покойницу вообще не помню.

— Нет, хорошая была старушка, чего там говорить,— сообщила Юлия Голова.— Интеллигентная, добродушная, хозяйственная да еще и титанического здоровья. Если бы не коммунальные условия, она бы нас с вами точно пережила.

— А при чем тут, собственно, коммунальные условия? — возразила Анна Олеговна Капитонова.— Мы в нашей квартире всегда душа в душу жили. И до войны, и в войну, и после войны, вплоть до разоблачения культа личности, когда все пошло сикось-накось.

Белоцветов сказал:

— Тем не менее Александру Сергеевну мы все-таки уходили. И за что уходили-то — за какую-то комнатушку!

Инспектор Рыбкин нахмурил брови и заявил:

— Это еще нужно, граждане, доказать.

— И, возможно, даже вообще придется с этой версией распрощаться,— сказал Белоцветов, задумчиво глядя в пол.— Сначала мы действительно думали, что Александру Сергеевну исключительно из-за ее комнатки уходили, но вчера мы получили одно любопытное письмоце...

— Вот это уже интересно! — сказал Генрих Валенчик и поблелел.

— Интересно — это не то слово,— продолжал Белоцветов.— Если хотите, я оглашу вчерашнее письмоце; вдруг при таком скоплении заинтересованных лиц его смысл хоть как-нибудь прояснится. Василий, сходи, пожалуйста, за письмом, я его в твоей комнате под бюст Апухтина положил.

Чинариков отправился за письмом, а Душкин воспользовался паузой и предложил пропустить еще по одной; Саранцев разлил остатки вина, Кузнецова провозгласила вечную память, и все прильнули губами к рюмкам.

Через минуту вернулся Чинариков, он вплотную приблизился к Белоцветову и вполголоса произнес:

— Знаешь, какая странная вещь: кто-то украл у

меня портрет Хемингуэя. Я сейчас случайно поглядел на стену, как будто меня под локоть толкнули, а вместо портрета пустое место!..

Белоцветов с оторопью посмотрел на Чинарикова, пожал плечами, потом прокашлялся и громко зачитал текст.

— Вот такие, товарищи, пироги,— в заключение сказал он.— Какие будут соображения?

В кухне установился тот род молчания, который у нас называется гробовым. Наконец Алексей Саранцев сказал:

— Что касается меня, то я, как говорится, ни сном ни духом!

— Я тоже ничего не поняла,— призналась Анна Олеговна и поправила свои фиолетовые колечки.

Фондервякин сделал шаг вперед и торжественно заявил:

— Я еще когда предупреждал, что это дело нечисто! Я еще когда говорил, что тут пахнет связью с вражеской агентурой!

— Успокойтесь, Лев Борисович,— сказал Белоцветов.— Вражеская агентура здесь ни при чем. История с письмом скорее пахнет наветом. Честно говоря, мне это только сейчас пришло в голову: кому-то понадобилось, наверное, нашу старушку ошельмовать. Дело в том, что текст письма составляют буквы, вырезанные из книжки «Серебряное копытце», и как раз такую книжку, искромсанную вдоль и поперек, я обнаружил в комнате Юлии Головы...

С этими словами Белоцветов вопросительно посмотрел на Юлию Голову, но она встретила его взгляд не только спокойно, но даже и с наглостью.

Митя Началов насупился и сказал:

— Так, значит, Никита Иванович, вы рылись в чужих вещах? Это что, тот самый поступок, который вы обещали?..

— То есть? — не понял его Белоцветов.

— Помните, вы мне недавно обещали поступок, доказывающий, что не все взрослые подлецы?

— Да, действительно обещал...— проговорил Белоцветов, смешался и замолчал.

Тем временем явились две банки моченых яблок, которые пожертвовал Фондервякин, Рыбкин почему-то отнесся к их появлению снисходительно, и разговор сделался куда сумбурнее, горячей.

Чинариков, обращаясь к Генриху Валенчику, говорил:

— Слушай, писатель, а это, случайно, не ты сочинил подметное письмо? Как стало известно, ты у нас большой специалист по доношению с уклоном в литературу.

— Вера, уйди отсюда,— распорядился Генрих и, повернувшись к Чинарикову, сказал: — Ты, Василий, говори, да не заговаривайся! Я не подметные сочинения пишу, а разоблачаю жизнь средствами художественного слова. Если ты не понимаешь ни хрена в этом деле, то и не лезь свои рылом в калашный ряд!

— Вот именно! — сказала Вера из коридора.

— Я, конечно, могу что-то недопонимать,— признался Чинариков,— но ты все-таки аккуратнее подыскивай выражения.

— Вы еще подеритесь! — посоветовала Юлия Глова.— Как раз есть кому без проволочек посадить вас на хлеб и воду.

Душкин сказал:

— Да хоть вы, ребята, обпишитесь, все равно в старушкину комнату въеду я.

— А вот это ты видел? — воскликнул Фондервякин и сделал кукиш.

— Ты мне фигуры не показывай,— молвил Душкин,— ты лучше спроси у Востряковой, кого она предполагает сюда вселить.

— Я только одно могу сказать,— откликнулась Вострякова,— кадрами в наше время разбрасываться не приходится...

Белоцветов толкнул Чинарикова в бок и приглушенным голосом произнес:

— Ты не находишь, что вон тот тип,— тут он кивнул головой в сторону одного из незнакомцев в темных одеждах, притулившегося у окна,— поразительно похож на наше преподобное привидение?

— Ты знаешь, действительно что-то есть,— шепотом ответил ему Чинариков.— Только на вид этому мужику не сто восемнадцать лет, а максимум шестьдесят.

— Понимаешь, какое дело: совсем не обязательно, чтобы под видом старика Пумпянского к нам заявился старик Пумпянский; это мог быть, например, его сын Георгий Сергеевич, который якобы погиб в сражении под Москвой...

— Гм...— промычал Чинариков.— Это мысль...

Тем временем распря между Душкиным и Фондервякиным дошла уже до того критического градуса, когда впору было вооружиться первыми подвернувшимися под руку предметами и переходить непосредственно к потасовке. Надо полагать, потасовка вышла бы непременно, если бы не участковый инспектор Рыбкин.

— Вы, граждане, давайте это...— сказал он,— держите себя в руках. Не надо распоясываться, вы все-таки не в пивной...

— Совсем уже очертенели! — добавила Анна Олеговна и возмущенно тряхнула своими фиолетовыми колечками.— Из-за какой-то паршивой пешки готовы друг другу головы проломить!

— Если бы из-за пешки! — поправил ее Фондервякин.— А то ведь речь идет о жизни и смерти, можно сказать, то есть о расширении метража!

— Это другое дело,— согласилась Анна Олеговна то ли серьезно, то ли шутя.— Ради расширения метража можно и голову проломить.

Генрих взмолился:

— Давайте же наконец решим этот вопрос по-человечески, на демократических основах. Ведь четвертые сутки не можем поделить между собой несчастные десять квадратных метров! И главное, откровенно саботируются все мирные инициативы!.. Прямо не квартира, а сборище отщепенцев, это я искренне говорю!

— Товарищ Рыбкин,— пожаловался Фондервякин,— вы уж как-нибудь приструните этого наглеца...

Рыбкин смолчал; он снял с головы фуражку, протер внутренность тульи носовым платком, снова нацепил ее на затылок и показал было глазами, что он сейчас скажет нечто интересное, но — смолчал.

— А то я за себя не отвечаю,— продолжил Фондервякин.— А то я возьму сейчас эту гусятницу,— тут он движением головы указал на капитоновскую гусятницу,— и этого змея попросту замочу!

Белоцветов протер руками лицо, потом обвел глазами собравшихся и сказал:

— Слушаю я вас, дорогие соотечественники, и волосы встают дыбом. Все мы с вами и каждый из нас в отдельности, между прочим, имеем честь принадлежать к народу, которому в силу кое-каких особенностей

его исторического пути выпала миссия нравственного строительства; вы, разлюбезные мои современники, вы, единокровные мои братья и сестры, между прочим, отвечаете перед миром и историей за дальнейшую духовную эволюцию человека, а послушаешь ваши речи — и хочется удавиться...

— Это что еще за буддизм? — с некоторым возмущением спросил ярославец Лужин.

Никто ему не ответил.

Вообще поскучнел народ, поскучнел и начал потихоньку расходиться. Когда уже в кухне не осталось почти никого, Белоцветов подошел к Алексею Саранцеву и спросил:

— Послушайте, что это с вами были за мужики?

— Какие мужики? — удивился Саранцев.

— Ну, эти двое в темных костюмах, с панихидными рожами — случаем, не родня?

— Да что вы, батенька, какая родня! — отвечал Саранцев. — Один похоронный агент, а другой — водитель этого самого... катафалка.

— Гм... — промычал Белоцветов. — Интересно, а с какой стати они пожаловали на поминки?

— А я почему знаю? Может быть, им скучно стало от их скорбных дел, а может быть, просто захотелось перекусить...

Чинариков заметил:

— Удивительно, что вы еще могильщиков не позвали.

После того как и Саранцев ушел, в кухне остались только Чинариков с Белоцветовым да еще Петр Голова, который по обыкновению болтал ногами, сидя на табурете. На лице у него светилась какая-то радостно-пакостная гримаса.

— Ну что скажешь, Петро? — обратился к нему Чинариков с праздным вопросом и задумчиво подмигнул.

— Я вот что могу сказать, — отозвался Петр, — вы ничего не знаете, а я знаю...

Чинариков с Белоцветовым насторожились и с нервным вниманием уставились на Петра. Петр молчал и издевательски улыбался.

— И что же ты, интересно, знаешь? — спросил Белоцветов. — Ну давай говори, не тяни резину!

Петр из вредности еще немного помедлил и сообщил:



— Я знаю, кто тогда сидел в ванной.

— Кто? — вскричали Чинариков с Белоцветовым.

— Да Митька Началов, кто же еще!

— Что же ты раньше-то молчал? — с досадой спросил Чинариков.

— Просто не хотел говорить, и все.

— А сейчас захотел?

— А сейчас захотел.

Белоцветов сказал:

— Ну тип!..

— Еще я знаю, кто испортил книжку про серебряное копытце. Любка, дурында такая, испортила мою книжку.

— Во дает подрастающее поколение! — возмутился Чинариков. — Родную сестру заложить — раз плюнуть!

— Слушай, Василий, — сказал Белоцветов. — Нужно идти разбираться с нашей золотой молодежью. Уж если мы с тобой взялись за это дело, нужно его довести до победной точки.

Чинариков сказал:

— Ну!

В кухне появился Петр Петрович Лужин.

— Кто меня звал? — спросил с неприязнью он. — Кому я понадобился на ночь глядя?

В ответ Белоцветов пожал плечами и молча увлек Чинарикова в коридор. Но только они миновали колесо, соединявшее кухню с жилым пространством, как им открылось жуткое зрелище: неподалеку от входной двери матово светилось привидение Эрнеста Хемингуэя.

#### 4

В коридоре чувствительно припахивало паленым. С полминуты приятели стояли, пошевеливая ноздрями, и хранили трепетное молчание. Первым пришел в себя Чинариков, как и положено записному материалисту: деланно твердым шагом он двинулся в сторону привидения, дошел почти до самой двери на лестничную площадку, взял вправо, приблизился к старинному зеркалу, зачем-то пощупал его ладонью и весело закричал:

— Иди сюда, не будь чем щи наливают!

Белоцветов явился на зов и нарочито засунул руки в карманы брюк.

— Смотри, идеалист несчастный! Никакое это не привидение, а просто-напросто спроецированная фотокарточка Эрнеста Хемингуэя, которой кто-то сегодня приделал ноги.

Действительно, при ближайшем рассмотрении призрак Хемингуэя вовсе призраком не казался: изображение было плоским, а кроме того, передавало несколько мелких царапин на заднем плане и один отпечаток пальца.

— А Митька-то опять в ванной сидит,— вдруг раздалось у них за спиной, и Чинариков с Белоцветовым обернулись: посреди прихожей стоял Петр Голова, зловредно покусывавший ноготь большого пальца, а из наддверного окошка ванной комнаты струился ослепительный белый свет.

— Теперь все понятно! — с горькой усмешкой сказал Чинариков и направился в сторону ванной комнаты. Он постучал в дверь кулаком и прислушался — тишина.— Дмитрий, это ты там засел? — крикнул Чинариков в щель между дверью и косяком.

— Ну я...— неохотно откликнулся Митя, и в ту же секунду наддверное окошко перестало струить ослепительный белый свет.

— Ты что же, поганец, нам цирк здесь устраиваешь, а?

— А чего этот ярославский гудок охотится за Любовью? Ему, что ли, не хватает своих ярославских телок?..

— Так ты хотел приезжего попугать?

— Ну конечно! — донеслось из-за двери.— А то приезжают тут всякие с периферии и ради московской прописки начинают окучивать зеленую молодежь!..

Чинариков сказал, люто напрягши ноздри:

— А знаешь ли ты, сукин сын ламанчский, что ты через свои дурацкие привидения Александру Сергеевну ухаживал? Она, наверное, как увидела покойного-то отца, так сразу поди черной лестницей вон из дома. Да на ту самую скамеечку, где она потом скончалась от переохлаждения организма! Понимаешь ты это, я тебя спрашиваю, или нет?!

— Понимаю...— тихо ответил Митя.

Белоцветов его спросил:

— Это, значит, и фотокарточку старика Пумпянского ты украл?

— И фотокарточку украл я, и выбросил ее я, чтобы уничтожить единственную улику, и письмо про документы для отвода глаз написал я, и аппарат для показывания привидений тоже изобрел я. Я еще хотел старухе что-нибудь по-латыни страшное сказать, но потом подумал, что это слишком.

Чинариков предложил:

— Слушай! Ты бы вылез из ванной, а то идиотский какой-то получается разговор.

— Ни за что! — на нервно-высокой ноте ответил Митя.

Между тем сцена у двери в ванную комнату уже начала привлекать нежелательное внимание. Ярославец Лужин было попытался вклиниться в разговор, Фондервякин высунулся из своей комнаты, Вера Валенчик выглянула на шум. Однако Чинариков всех их успокоил и удалил.

— Я только одного не могу понять, — сказал Белоцветов. — Ведь спроецировать изображение на зеркальной поверхности невозможно, а ты, Дмитрий, проецируешь, черт такой!

— Это совсем не сложно, — сообщил Митя. — Система компактных линз, особо мощный источник света, плюс я еще намазал зеркало желатином — и получается настоящее привидение, если смотреть, конечно, издалека.

— И при этом немного пованивает, не так ли?

— Это немного есть. Да... еще я звонил из автомата по телефону, чтобы выманить старушку из комнаты и выкрасть у нее фотокарточку старика.

— Не надо врать! — раздался вдруг голос Любови, и Чинариков с Белоцветовым обернулись. — Не надо врать; по телефону звонила я...

— Если честно, — сказал из-за двери Митя, — то я на нашей старухе просто хотел испытать свой аппарат для показывания привидений. Я же не знал, что она со страху уйдет из дома и ни с того ни с сего помрет...

— Так... — произнес Чинариков, опустил подбородок на грудь и печально посмотрел в пол. — Ну и как вы собираетесь дальше жить? Как вы, спрашивается, собираетесь жить после того, что вы, паскудники, натворили?!

— Не знаю... — откровенно ответил Митя и добавил, несколько помолчав: — Хотите — верьте, хотите — нет,

а я сам весь измучился, второй день себе места не нахожу. Как до меня доперло, что старушка по моей милости померла, так себе места не нахожу. Нет, пускай уж лучше меня посадят!

— И посадят! — заверил его Чинариков.— Обязательно посадят, можешь не сомневаться!

— Мить, а Мить! — сказала Любовь, прильнув лицом к двери в ванную комнату.— Ты не переживай, что тебя посадят. Я все равно за тобой пойду. Поселюсь рядом с тюрьмой в хибарке и буду там жить, чтобы ты только знал, что ты в своем горе не одинок.

— А как же учеба? — по-взрослому спросил Митя.

— Ну, наверное, там тоже школы есть, куда тюремщиков посылают. Ты будешь работать на рудниках, а я утром буду в школу ходить, а по вечерам стану носить тебе передачи.

— И даже если меня не посадят,— задумчиво сказал Митя,— то я все равно завербуюсь на Крайний Север и буду жить так, чтобы это было вроде законное наказание. Тем более что я его не боюсь. Я его не только не боюсь, а даже я его требую, потому что я имею право на наказание, вот как больные на лечение и уход.

Белоцветов сказал:

— В этом смысле можешь не беспокоиться: так и так тебя ожидает не жизнь, а сплошное законное наказание. Или незаконное, я не знаю.

Чинариков прильнул к двери и сказал Мите:

— Ну ладно, хорош дурочку валять! Давай вылезай! А то ты там чего-нибудь натворишь, а нам с Никитой всю жизнь казнить.

— Не вылезу я, Вась,— отозвался Дмитрий,— ты об этом даже не заикайся. Считаю, что пока то да се, я себя приговорил к одиночному тюремному заключению.

— Ну и черт с тобой! — сказал Чинариков.— Сиди себе на здоровье, а мы пошли.

С этими словами Чинариков направился на кухню, Петр поплелся следом за ним, Белоцветов пошел к себе, а Любовь присела на корточки подле двери в ванную комнату и подперла голову кулачком.

Было около одиннадцати часов вечера. Анна Олговна давно уже спала у себя за ширмой, Юлия Голова, уложив Лужина на полу, сидела перед зеркалом, соорудив

жая ночную маску, Фондервякину не спалось, и он ворочался с боку на бок, Вера Валенчик что-то вязала, а Генрих с пером в руке уже битый час как смотрел сквозь стену.

Белоцветов некоторое время ходил у себя в комнате от двери к окну и пытался размышлять об особенностях нынешней нравственности в свете Митинового поступка. Что-то не думалось, не гадалось. Белоцветов вышел из комнаты в коридор, приблизился к старинному зеркалу и потрогал его рукой. Потом он направился в кухню и по пути, наклонившись, потрепал Любу по голове.

Света в кухне не было, однако луна, стоявшая высоко, давала достаточное освещение, и Белоцветов сразу увидел Василия Чинарикова, сидевшего у окна, а также Петра, который примостился у него на коленях. Оба смотрели на луну, слегка задрав головы, и вполголоса напевали:

У него за каждым камнем аллах,  
А меня кто, сироту, защитит,—

причем Петр сильно фальшивил по малолетству.

Белоцветов возвратился к ванной комнате, постучал в дверь и сказал:

— Поимей совесть, Дмитрий! Ночь на дворе, а Любовь из-за тебя сидит возле двери, как собачонка!

— Пускай идет спать,— отозвался Митя,— я ее не держу.

— Нахал ты, вот что я тебе скажу! Люба себя ведет прямо как Соня Мармеладова, а ты над ней изгиляешься, сукин сын!

— Что это еще за Соня Мармеладова? — в злом недоумении спросил Митя.

— Ну ты даешь! — сказал Белоцветов.— Ты что, «Преступление и наказание» не читал?

— Ну не читал... что мне теперь — повеситься?

— Вешаться не надо, а вот «Преступление и наказание» надо бы прочитать.

Митя ничего не ответил. Белоцветов в раздумье еще немного постоял напротив двери в ванную комнату и траурно-медленным шагом пошел к себе. Войдя в свою комнату, он сел за стол, отодвинул локтем горбушку ржаного хлеба и яичную скорлупу, взял в руки перо, отыскал какой-то клочок бумаги и стал заносить наблюдения, навеянные ему Митей, чтобы не забыть их

завтра с Чинариковым обсудить. Мысли эти сводились к тому, что в процессе нравственного развития человечества литературе отведено даже в некотором роде генетическое значение, потому что литература — это духовный опыт человечества в концентрированном виде и, стало быть, она существеннейшая присадка к генетическому коду разумного существа, что помимо литературы человек не может вполне сделаться человеком — что-то передается из поколения в поколение с кровью предков, а что-то только посредством книг; из этого вытекало, что люди обязаны жить с оглядкой на литературу, как христиане на «Отче наш»...

1987

---

## СОДЕРЖАНИЕ

- \* Вячеслав Пьецух. «Я — родился 18 ноября 1946 года в Москве...» ..... 3

### ЦИКЛЫ

#### Я и прочее

- \* Я и море ..... 6  
\* Я и потустороннее ..... 15  
  Я и дуэлянты ..... 23  
\* Я и перестройка ..... 31

#### Чехов с нами

- Наш человек в футляре ..... 34  
Дядя Сеня ..... 38  
Д. Б. С. .... 42

#### Рассказы о писателях

- Последний гений ..... 46  
Бог среди людей, или Зеркало русской контрреволюции ..... 56  
Страдания по России ..... 71

### РАССКАЗЫ

- Угон ..... 80  
Сухов, осквернитель могил ..... 89  
\* Дорогая редакция... ..... 94  
  Ушедшее ..... 96  
  Как я ездил за границу ..... 101  
\* Смерть французским оккупантам! ..... 105  
\* Чаепитие в Моссовете ..... 111

Разговор .....	114
Русская мечта .....	117
Эмигрант .....	121
* Анамнез и Эпикриз .....	125

#### ПОВЕСТИ

* День .....	152
* Чистая сила .....	187
<b>НОВАЯ МОСКОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. Роман .....</b>	<b>218</b>



**П96 Пьецух В. А.**  
**Я и прочее: Циклы; Рассказы; Повести; Роман/**  
**Ил. на обложке худож. Е. Трофимовой.— М.: Ху-**  
**дож. лит., 1990.—335 с.**

**ISBN 5-280-01830-9**

В книгу Вячеслава Пьецуха вошли роман «Новая московская философия», повести «День», «Чистая сила» и рассказы. Писатель ставит перед собой традиционную задачу — исследование русского национального характера средствами художественного слова.

П 4702010206-377  
028(01)-90 без объявл.

**ББК 84Р7**

**Вячеслав Алексеевич**  
**Пьецух**  
**Я И ПРОЧЕЕ**

*Редактор Т. Халилова*

*Художественный редактор И. Сальникова*

*Технический редактор Л. Витушкина*

*Корректор Л. Лобанова*

**ИБ № 6479**

Сдано в набор 09.02.90. Подписано в печать 29.05.90. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага типографская № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л.  
17,64. Усл. кр.-отт. 18,06. Уч.-изд. л. 18,32. Тираж 150 000 экз. Изд. № III-3871.  
Заказ № 3784. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО  
«Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.  
113054, Москва, Валуевая, 28

